



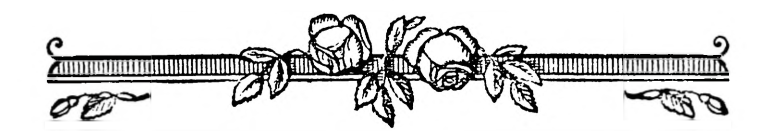

СОЧИНЕНИЯ






К. Н. БАТЮШКОВ

Автопортрет



К. Н. БАТЮШКОВ



СОЧИНЕНИЯ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА
1955

Вступительная статья
Л. А. ОЗЕРОВА

Подготовка текста и примечания
Н. В. ФРИДМАНА

Константин Николаевич

БАТЮШКОВ

Сочинения Батюшкова относятся к числу больших и неоспоримых ценностей русской поэтической культуры. Старший современник Пушкина и поэтов его поры, их предтеча и спутник, Батюшков находится в одном ряду с лучшими мастерами отечественной поэзии.

В стихах, прозе, письмах поэта запечатлена его богатая событиями и исполненная духовных терзаний жизнь. До тяжелой болезни, постигшей Батюшкова, жизнь его была бурной, кипучей, деятельной. Это частые переезды (Вологда, Москва, Петербург, Париж, Нижний-Новгород, Дрезден, Веймар, Стокгольм, Каменец-Подольск, Варшава, Вена, Рим, Неаполь, Симферополь). Это участие в боях и походах. Это служба — военная, гражданская, дипломатическая. Это знакомство и сотрудничество с видными писателями, художниками, общественными деятелями. Это работа над стихами, прозой, переводами из античных, французских, итальянских, немецких, английских авторов.

Тридцать три года жизни Батюшкова отняты болезнью. Впрочем, и прежде у Батюшкова молодое кипение сил перемежалось борьбой с физическими и душевными недугами, которые в конце концов победили поэта и определили нетворческий характер последних десятилетий его жизни, оборвавшейся сто лет назад.

1

Константин Николаевич Батюшков родился в Вологде 18 (29) мая 1787 года. Раннее детство он проводит в родовом имении отца в Даниловском, вблизи г. Бежецка, бывшей Тверской губернии. Мать поэта вскоре после его рождения сошла с ума (умерла в 1795 году).

Десятилетнего Батюшкова отдают в петербургский пансион француза Жакино, а затем в пансион итальянца Триполи. Здесь будущий поэт изучает европейские языки, с упоением читает классиков XVII и XVIII веков, начинает писать. В эту пору большое влияние на

Батюшкова оказал его дальний родственник и друг отца, известный тогда писатель М. Н. Муравьев. Первое литературное произведение четырнадцатилетнего Батюшкова было напечатано отдельной брошюрой (перевод на французский язык Слова митрополита Платона по случаю коронации Александра I).

В 1802 году Батюшков зачисляется на службу в министерство народного просвещения. Служба тяготит поэта, но обстоятельства не позволяют оставить ее. Старинный дворянский род Батюшковых обеднел. Имение пришло в упадок. «Могу умереть с голоду», «ни гроша нет» — это даже не жалобы, а констатация печального факта.

Высокопоставленных покровителей и меценатов, какие бывали у некоторых поэтов того времени, Батюшков не имел, да и не хотел искать их сочувствия и внимания: «Просить и кланяться в Петербурге не буду, пока будет у меня кусок хлеба».

«Я писал о независимости в стихах, о свободе в стихах»,— говорил впоследствии поэт о своем творчестве, которое он противопоставлял писаниям многих угодливых пиитов той поры.

«Не чиновен, не знатен и не богат» — в такой краткой, но внятной характеристике Батюшковым своего положения в современном ему обществе много правды. Занятие литературой (по крайней мере первые два десятилетия XIX века) не сулило никаких выгод, никаких заработков. Сочинитель довольствовался, должен был довольствоваться, благодарностью издателя. В силу всего этого поэт и вынужден был поступить на службу с тем, чтобы только свободное от службы время посвящать работе над своими сочинениями.

В начальную творческую пору Батюшков сближается с литераторами, членами «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств» (Н. А. Радищевым — сыном автора «Путешествие из Петербурга в Москву», И. П. Пниным). Он встречается с Державиным, Озеровым, Капнистом и другими известными писателями и общественными деятелями. Завязывается крепкая и длящаяся многие годы дружба с Н. И. Гнедичем, поэтом и переводчиком, впоследствии составителем и издателем сочинений Батюшкова. К этому времени (1802—1805) относятся первые дошедшие до нас оригинальные стихи поэта.

Начало творческой деятельности Батюшкова почти совпадает с началом царствования Александра I, взошедшего на престол в 1801 году. Внешняя политика Александра I и войны, которые он вел с Наполеоном в 1805—1807 гг., не были удачными, и Тильзитский мир с Францией, который ставил условием разрыв торговых сношений с Англией, был для России очень тяжел. Самое слово «Тильзит», как замечает Пушкин, было для русских «обидным звуком».

Для того, чтобы отвлечь внимание русского общества от неудач во внешне-политических делах, Александр I прибегает к составлению про-

ектов разного рода реформ. Проекты о смягчении крепостного права писались тогда многими, вплоть до самых жестоких и закоренелых крепостников. Проекты писались, в них не было недостатка, а суть дела оставалась неизменной.

В России в эту пору, в борьбе с разлагавшимся феодальным строем, возникал и развивался строй капиталистический. Батюшков жил на рубеже эпох, и творчество его носит явно переходный, переломный характер. Ему не хватает цельности, монолитности, законченности. Промежуточность положения Батюшкова, который, по меткому определению Белинского, «не принадлежал ни тому, ни другому веку», видна во всем его творчестве.

В 1807 году, когда войска Наполеона угрожают России, поэт оставляет гражданскую службу и записывается в народное ополчение. Со своей частью он отправляется в Пруссию, участвует в походе. В сражении под Гейльсбергом он был ранен в ногу. Уже в следующем, 1808 году Батюшков участвует в войне со Швецией, в походе в Финляндию. Во время похода им написано несколько стихотворений и начат перевод поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим».

В 1809 году Батюшков участвует в походе по льду на Аландские острова. В начале лета он получает отпуск, после короткого пребывания в Петербурге едет в имение Хантоново, где пишет среди прочего — стихотворный памфлет «Видение на берегах Леты», разошедшийся в списках и напечатанный в искаженном виде лишь через тридцать два года после его создания. Один из списков стихотворения, которое по существу является маленькой сатирической поэмой, был назван «Страшный суд русских пиитов или видение на берегах Леты дон Ипотаса де Ротти». Этот боевой памфлет был подхвачен всей передовой Россией. Имя Батюшкова как поэта становится широко известным. Осмеянные им шишковисты неистовствовали — поэт попал не в бровь, а в глаз. Не могли быть в восторге от «Видения на берегах Леты» и сентименталисты, они (за исключением Карамзина, весьма почитаемого поэтом) также подверглись осмеянию. Остроту и боевой дух сатиры Батюшкова высоко ценил Пушкин, назвавший в ряду произведений, «презревших печать» того времени, и «Видение на берегах Леты».

С декабря 1809 года поэт живет в Москве. Он намерен выйти в отставку, служить в дипломатической миссии, мечтает путешествовать по Европе. В Москве в 1810 году Батюшков знакомится с Карамзиным и входит в круг близких ему литераторов. Получив отставку в чине подпоручика и живя то в Москве, то в Хантонове, поэт в этот период своей жизни много пишет в стихах и в прозе, переводит, причем переводы его по своей силе зачастую превосходят оригиналы.

В начале 1812 года Батюшков выезжает в Петербург и в апреле этого года поступает в Публичную библиотеку в качестве помощника хранителя манускриптов. Директором библиотеки был А. Н. Оленин — писатель-археолог, художник, ценитель и знаток искусств. В доме Оленина был салон, посещавшийся видными писателями и художниками, с ними здесь встречался Батюшков. Сослуживцами поэта по Публичной библиотеке были Крылов и Гнедич.

Начавшаяся в 1812 году Отечественная война усиливает в душе поэта патриотическое чувство. Он хочет пойти на войну, но болезнь — сильная лихорадка — мешает ему сразу же осуществить это намерение. Почти в канун Бородинского сражения он берет отпуск и приезжает в Москву для того, чтобы сопровождать в Нижний-Новгород вдову своего наставника Е. Ф. Муравьеву и ее семью. Стечение беженцев и народные бедствия, увиденные поэтом по пути следования из Москвы в Нижний, производят на него тяжелое впечатление. Батюшков возвращается в Москву после изгнания из нее французов. Сердце его надрывается при виде народных страданий. В замечательном послании к Дашкову он говорит:

Мой друг! Я видел море зла
И неба мстительного кары:
Врагов неистовых дела,
Войну и гибельны пожары.
Я видел сонмы богачей,
Бегущих в рубищах издранных,
Я видел бледных матерей,
Из милой родины изгнанных.
Я на распутье видел их,
Как, к персям чад прижав грудных,
Они в отчаянье рыдали
И с новым трепетом взирали
На небо рдяное кругом.
Трикраты с ужасом потом
Бродил в Москве опустошенной,
Среди развалин и могил;
Трикраты прах ее священной
Слезами скорби омочил.

В 1813 году, как только позволило состояние здоровья, Батюшков выезжает в Дрезден, в главную квартиру действующей армии. Он — адъютант при генерале Раевском, участвует в боях. В сражении под Лейпцигом погибает воспетый Батюшковым его друг Петин и ранен Раевский. В 1814 году поэт участвует в переходе наших войск через Рейн и вступлении во Францию. Из Парижа, капитуляции которого Батюшков явился свидетелем, он через Англию, Швецию и Финляндию возвращается в Петербург.

Неудавшаяся в 1815 году попытка жениться, расстройство дел и испортившиеся отношения с отцом тяжело переживались поэтом. Некоторое время он живет на Украине (город Каменец-Подольск) у своего военного начальства. Поэта заочно выбирают в члены литературного общества «Арзамас», в которое входили А. С. Пушкин, В. Л. Пушкин, В. А. Жуковский, Д. В. Давыдов, Н. М. Муравьев, Н. И. Тургенев и другие. В эту пору Батюшков переживает большой творческий подъем: за год пишет двенадцать стихотворных и восемь прозаических произведений. Он готовит к печати свои сочинения в стихах и в прозе.

После приезда в Москву поэт избирается в члены «Московского общества любителей словесности». При вступлении в него прочитывается «Речь о влиянии легкой поэзии на язык» — историко- и теоретико-литературная статья Батюшкова, опубликованная в «Трудах» общества. Как «один из лучших, можно сказать классических, наших поэтов», по предложению А. Е. Измайлова, он избирается почетным членом «Вольного общества любителей словесности». Поэт принимает участие в заседаниях «Арзамаса». В октябре 1817 года выходят «Опыты в стихах и прозе» — первое издание сочинений Батюшкова.

После поездок в деревню с целью спасти от продажи с публичного торга имение умершего в 1817 году отца, после пребывания в Петербурге поэт весной 1818 года отправляется на юг, на лечение. По совету Жуковского он подает прошение о зачислении в одну из миссий в Италии. В Одессе поэт получает от А. И. Тургенева письмо, извещающее его о назначении на дипломатическую службу в Неаполь. После долгого путешествия (Варшава, Вена, Рим) он прибывает на место службы. Впечатления от поездки у Батюшкова ярки; душевно важной и ценной для поэта была встреча с группой русских художников (Сильвестр Щедрин, Орест Кипренский и др.), живших тогда в Риме. Но поэт тоскует по России и об этом пишет в своих письмах друзьям. Он не ладит с начальником — русским посланником графом Штакельбергом. У Батюшкова со Штакельбергом произошло примерно то же, что у Пушкина с Воронцовым. Сановный лакей измывался над самолюбивым и легко ранимым поэтом, пытаясь его унизить. Однажды Штакельберг поручил своему подчиненному — сверхштатному секретарю миссии Батюшкову — составить бумагу, суть которой расходилась с убеждениями поэта. Он возразил начальнику. Тот ответил, что подчиненный не имеет права рассуждать.

Батюшков пытается вырваться из когтей Штакельберга. Получив в конце 1820 года отпуск для лечения, поэт едет в Рим, а затем — в следующем году — на воды в Теплиц. Здесь, в Теплице, он узнает, что в «Сыне отечества» появилось анонимное стихотворение «Б...... в из Рима», написанное от лица Батюшкова и принятое читателем как его

оригинальное произведение, хотя автором его был Плетнев. В этом стихотворении Батюшкова оскорбило утверждение, что он влачит дни без славы, что его, якобы приверженца Анакреона и легкой поэзии, покинуло вдохновение. Батюшков воспринял это как личную обиду. В письме к Гнедичу из Теплица в 1821 году Батюшков иронически изображает, как такого рода толкователи писали бы о Державине: «Он перевел Анакреона, следственно — он прелюбодей; он славил вино, следственно — пьяница; он хвалил борцов и кулачные бои, ergo — буян... такой способ очень легок». А несколькими строками выше поэт просит Гнедича: «Скажи им, что мой прадед был не Анакреон, а бригадир при Петре Первом, человек нрава крутого и твердый духом. Я родился не на берегах Двины, и Плетаев, мой Плутарх, кажется, сам не из Афин». К написанному ночью с большим запалом и страстью письму Батюшков добавляет заявление «гг. издателям «Сына отечества» и других русских журналов», заканчивающееся такими словами: «Оставляю поле словесности не без признательности к тем соотечественникам, кои, единственно в надежде лучшего, удостоили мои слабые начинания. Обещаю даже не читать критики на мою книгу: она мне бесполезна, ибо я совершенно и, вероятно, навсегда покинул перо автора».

Гнедич не дал хода этому заявлению — в печати оно не появилось. Известно, что Пушкин писал своему брату из Кишинева: «Батюшков прав, что сердится на Плетнева, на его месте я бы с ума сошел со злости». Плетнев же, горячо любивший поэзию Батюшкова, поняв свою ошибку, опубликовал в том же журнале хвалебное послание «К портрету Батюшкова». Но поэт воспринял это как новую обиду, полагая, что можно быть «обруганным хвалами». Ему казалось, что враги явные и тайные для вида хвалят его, а исподтишка хулят и готовят ему гибель. «Может быть, во мне была искра таланта,— пишет Батюшков Гнедичу,— может быть, я мог бы со временем написать что-нибудь, достойное публики, скажу с позволительною гордостию достойное и меня, ибо мне 33 года, и шесть лет молчания меня сделали не бессмысленнее, но зрелее. Сделалось иначе».

Сделалось то, что Батюшков, измученный болезнями, издевками Штакельберга и ему подобных, утомленный походами и переездами, исподволь назревавшей манией преследования, фактически кончает свой творческий путь в 1822 году — около тридцати пяти лет от роду. Душевная болезнь победила поэта, его яркое дарование и глубокий ум. Поэт уничтожает все, что написано им в Италии. Несколько раз покушается он на самоубийство. Просит разрешения удалиться в монастырь и постричься в монахи.

Безуспешны все попытки вылечить Батюшкова. В 1828 году его поселяют в Москве, в Грузинах, в специально снятом для него до-

мике. «Известие твое о Батюшкове,— пишет Вяземский А. И. Тургеневу,— меня сокрушает... Мы все рождены под каким-то бедственным созвездием. Не только общественное благо, но и частное не дается нам. Черт знает как живем, к чему живем!..»

Свыше тридцати лет тяжелая душевная болезнь терзала Батюшкова. Свыше трех десятилетий он чувствует себя в «одиночной камере безумия». Он бредит, боясь преследования и произнося проклятия. «Хочу смерти и покоя», «Нессельрод будет наказан, как убийца». И в «Подражании Горацию» — «Не царствуйте, цари! Я сам на Пинде царь».

Больному Батюшкову на протяжении трех с лишним десятилетий кажется, что он в тюрьме, что он окружен врагами. Приковывает к себе внимание наше тот факт, что своими врагами он считал императора Александра и преданного исполнителя его воли, графа Нессельроде. Он писал Жуковскому о «каторге, где погибает ежедневно», погибает на протяжении почти половины всей жизни. Болезнь Батюшкова носила оттенок, дававший Белинскому право, не вдаваясь в подробности и объяснения, утверждать, что «превосходный талант этот был задушен временем». Пушкин же призывал «уважить в нем несчастия и *не созревшие надежды*». В творчестве самого Батюшкова излюбленными являются образы «несчастных счастливцев», с одной стороны, и «убийц дарования» — с другой, образы поэтов-мучеников и их мучителей.

После многих лет болезни и страданий Батюшков умер от тифа в Вологде 7 (19) июля 1855 года.

Большие биографические и творческие пропуски лишают возможности с желательной полнотой воссоздать картину развития Батюшкова. Многое скрыл от нас сам поэт — уничтожил часть рукописей. Но и при учете этих пропусков и при упоминании о «несозревших надеждах» творческий облик Батюшкова и вклад поэта в русскую литературу встают перед нами сегодня в своем истинном значении.

2

Русская литература ко времени появления в ней Батюшкова насчитывала таких крупных писателей, как Кантемир, Ломоносов, Сумароков, Радищев, Фонвизин, Державин, Карамзин. С последними двумя Батюшков был знаком и встречался. Как недавнее прошлое ощущались им литературные традиции только что закончившегося XVIII века. Великие свершения классиков XIX века были еще впереди. Одним из ранних и ярких предвестников их и явился Батюшков, творчество которого охватывает неполную четверть XIX века.

Два великих события произошли в эту эпоху: Отечественная война 1812 года и восстание декабристов, величаво завершающее

первую четверть века. Эти два события органически связаны между собой. 1812 год был огромной силы толчком, пробудившим сознание и народа и первых дворянских революционеров. «Мы были дети 1812 года,— писал декабрист Муравьев-Апостол,— принести в жертву все, даже самую жизнь ради любви к отечеству было сердечным побуждением жизни». На следствии по делу декабристов Никита Муравьев, которого Батюшков называл «товарищ мой», говорил, что в 1812 году он не имел иного «образа мыслей, кроме пламенной любви к отечеству».

Изгнав наполеоновские полчища, Россия показала миру, что умеет отстаивать свою независимость. После этого особенно нетерпимым было то, что народ все еще оставался в рабстве. Освободить его, расковать, пробудить дремлющие в нем богатырские силы — вот пафос передовой русской литературы этой и последующей эпох.

В ряде ранних стихотворений Батюшкова проступает его близость к поэтам-радищевцам. Он пишет о Пнине, который «был согражданам полезен»:

Пером от злой судьбы невинность защищал,
В беседах дружеских любезен,
Друзей в родных он обращал.

Юному Батюшкову любезна «сладостная мечта». Он признает: «Счастливая мечта, живи, живи со мной!». На крыльях мечты он парит беззаботно и высоко и — кажется ему — счастлив. В «Послании к Н. И. Гнедичу» (1805) поэт сердечную мечту противопоставляет иссушающей ум истине:

Что в истине пустой? Она лишь ум сушит,
Мечта все в мире золотит,
И от печали злыя
Мечта нам щит.

Но и в мечте нет спасенья: «...прочь уже теперь бежит мечта, что прежде сердцу льстила». Всего два-три года отделяют очарование мечтой от разочарования в ней. Блеск и нищета мечты видны поэту во всей их контрастности.

Хочу я часто заблуждаться,
Забыть неверную... но нет!
Несносной правды вижу свет,
И должно мне с мечтой расстаться!

(„Элегия")

Противопоставивший мечту действительности, Батюшков обнаруживает, что сама мечта отражает противоречия жизни. Не найдя «истинного блаженства» в жизни, он не находит ее и в мечте. Где же оно, вопрошает Батюшков, «истинное блаженство»? Пытливый и чут-

кий поэт обращается к современникам и древним, к эпикурейцам и стоикам, к поэтам и художникам. Но нигде не находит ответа...

«Неопределенность, нерешительность, неоконченность и невыдержанность борются в его поэзии с определенностью, решительностью и выдержанностью»,— отмечал Белинский. Резкая определенность, очерченность образов и понятий, контурность почти отсутствуют в раннем Батюшкове, по крайней мере до периода создания таких вещей, как «Переход через Рейн» и «Тень друга». Беглые блики скользят по его строкам, свет чередуется с тенью, одна крайность сменяет другую... Непостоянство было, пожалуй, в нем самым постоянным. Батюшков еще старается уверить себя, что сомнение хотя и мучительно, но «оно есть необыкновенное состояние души» и продолжительным не бывает. Однако, вопреки ожиданиям поэта, оно становится продолжительным и властным, слишком продолжительным и чересчур властным.

Ярок и характерен эскиз портрета, сделанный рукой Батюшкова: «Ему около тридцати лет. Он то здоров, очень здоров, то болен, при смерти болен. Сегодня беспечен, ветрен, как дитя; посмотришь завтра — ударился в мысли, в религию и стал мрачнее инока. Лицо у него точно доброе, как сердце, но столь же непостоянное. Он тонок, сух, бледен, как полотно. Он перенес три войны и на биваках был здоров, в покое — умирал!.. он не охотник до чинов и крестов. А плакал, когда его обошли чином и не дали креста... В нем два человека... Оба человека живут в одном теле...»

Конечно, это не портрет, а автопортрет: «Это я! Догадались ли теперь?» — поясняет Батюшков. В этом автопортрете, написанном с глубоким пониманием светотени, художник рисует два различных типа, оказавшихся в одной душе. Одного, являющегося выражением передового, светлого начала, он условно называет «белым» человеком, другого, символизирующего все отсталое, реакционное, он именует «черным». «У белого совесть чувствительна, у другого — медный лоб,— пишет Батюшков.— Белый обожает друзей и готов для них в огонь; черный не даст и ногтей обстричь для дружества, так он любит себя пламенно. Но в дружестве, когда дело идет о дружестве, черному нет места; белый на страже! В любви... но не кончим изображение, оно и гнусно, и прелестно! Все, что ни скажешь хорошего насчет белого, черный припишет себе. Заключим: эти два человека или сей один человек живет теперь в деревне и пишет свой портрет пером по бумаге».

Батюшков пытается, чтобы «эти два человека или сей один человек» жили в согласии. Но это ему никак не удается. Прогрессивное и реакционное, «белое» и «черное» ведут борьбу не на жизнь, а на смерть. Впервые с такой определенностью в русской литературе показана эта борьба «белого» человека с «черным», образ которого многократно будет варьироваться позднее вплоть до Блока и Есенина.

Как же на ратном поле, если уподобить ему страницы прозы и стихов Батюшкова, проходила эта борьба белого воинства с черным, светлых сил эпохи с темными?

Если белый человек пишет Александру I четверостишие (к сожалению, не дошедшее до нас) с просьбой отменить крепостное право, если он с тяжелым вздохом говорит: «Судьба подчиненных мне людей у меня на сердце», то у черного проскальзывают интонации человека, привыкшего к владению крепостными. Белый человек благожелательно пишет о радищевце Пнине, черный готов отречься от «огненных страстей» юности.

Многообразны были формы проявления этой внутренней борьбы в Батюшкове, борьбы, приобретавшей подчас напряженный трагедийный характер.

Нет, решительно не могли мирно сожительствовать и строить свои отношения как добрососедские эти два разных человека. Их существование не могло не вызывать постоянные конфликты, споры, взрывы, ведущие к дальнейшему крушению одного из борющихся соперников.

Поэт чувствовал, что неверие в силы жизни пагубно для художника, что скепсис, как кислота, разъедает живую ткань. Он это понимал, но сердце искало ответа: на чем же держаться утлому суденышку отдельной человеческой жизни в бурном море общественной жизни второго десятилетия XIX века? Не связав прочно свое имя с активной борьбой дворянских революционеров, Батюшков мечется из стороны в сторону и пытается даже бросить «якорь веры» в воды религии (статья «Нечто о морали, основанной на философии и религии», 1815 г.). «Смертному нужна мораль, основанная на небесном откровении». Об этом же в стихах того времени: «...вера пролила спасительный елей в лампаду чистую надежды». Это настроение не было длительным. Судно Батюшкова не могло удержаться на слабом «якоре веры». Бури времени рвали парус, гнали на новые места, звали к новым схваткам.

Батюшков был натурой увлекающейся, порывистой, беспокойной: «...я вполовину чувствовать не умею» или — тоже о себе — «сердца, одаренные глубокою или раздражительною чувствительностью, часто не знают середины». Чтобы показать амплитуду философских колебаний Батюшкова, стоит привести его высказывания в период с сентября по ноябрь 1809 года (в письмах к Гнедичу): «...тело от души разлучать не должно». И далее, на вопрос, что называть разумом, Батюшков отвечает: он, разум, «не сын ли, не брат ли, лучше сказать, тела нашего?» Это говорит материалист. Но тут же: «...невозможно никому отвергнуть и не познать какое-либо начало; назови его, как хочешь, все одно; но оно существует, то есть существует бог».

Это была борьба, и она непосредственно и живо запечатлена на

страницах произведений Батюшкова. Поэт не скрыл от нас напряженности и остроты этой борьбы. Более того, он сделал нас свидетелями и зрителями ее. Это была особенность музы Батюшкова: она сильна своей привязанностью к земле, своей языческой влюбленностью в нее. В этом смысле он противостоит своему современнику и другу Жуковскому. Мироощущение Батюшкова ярко материалистично. Надземные миры поэтического «века меланхолии» его не прельщают. Смутные и призрачные высоты беспредметности не привлекают его. Он долго бродит по земле из края в край в поисках ответа на недоуменные вопросы жизни. Образ странствователя и искателя, решающего загадки мира, проходит через многие страницы Батюшкова. Поэт страстно ищет выхода из противоречий жизни. Отсюда — движение к истине, поиски ее, неудовлетворенность, мысль, обращенная вперед.

Есть у Батюшкова стихотворение «Судьба Одиссея», являющееся вольным переводом из Шиллера и написанное поэтом после возвращения из похода в 1814 году. Измученный, усталый, долго скитавшийся (так долго, что «казалось — небеса карать его устали»), Одиссей вернулся на родину. Ведь «блуждая, бедствуя», он страстно «искал своей Итаки». Все годы борьбы и странствий были как сон. «Проснулся он: и что ж? Отчизны не познал».

Пользуясь образом Одиссея, поэт говорит о своих духовных исканиях, о судьбе человека, обошедшего все сциллы и харибды современной жизни и оказавшегося обманутым в своих лучших надеждах. Он много увидел и понял на войне, и, когда ему казалось, что уже достиг цели, с ужасом оглядывается и — увы! — не узнает того, к чему с таким трепетом стремился. Батюшков был подавлен всеевропейской реакцией, наступившей после бурных лет войны.

Уже не под именем Одиссея, а от своего собственного имени поэт говорит в стихотворении «Разлука»:

Напрасно я скитался
Из края в край, и грозный океан
Кругом меня роптал и волновался.

Это не только пейзаж. Место этих строк не в сугубо маринистской, а в гражданской поэзии России.

В эту же пору поэт пишет стихотворение «К другу», в котором дает картину мучительных поисков «своей Итаки»:

Где дом твой, счастья дом?.. Он в буре бед исчез,
И место поросло крапивой;
Но я узнал его: я сердца дань принес
На прах его красноречивой.

И далее:

Так все суетно в обители сует!
Приязнь и дружество непрочно!

Но где, скажи, мой друг, прямой сияет свет?
Что вечно чисто, непорочно?

Напрасно вопрошал я опытность веков
И Клии мрачные скрижали,
Напрасно вопрошал всех мира мудрецов.
Они безмолвны пребывали.

Да, Одиссей, долго бороздивший волны морей, не нашел ответа на свои недоуменные вопросы. Если в «Судьбе Одиссея» мы узнаем развязку душевных странствий Батюшкова, то в послании «К другу» переданы переживания поэта именно в пору его житейского и духовного скитальчества:

Как в воздухе перо кружится здесь и там,
Как в вихре тонкий прах летает,
Как судно без руля стремится по волнам
И вечно пристани не знает,—

Так ум мой посреди сомнений погибал.
Все жизни прелести затмились:
Мой гений в горести светильник погашал,
И музы светлые сокрылись.

Это 1815 год. Еще будут прекрасные начинания и свершения. Еще будут шутки и эпиграммы, будут надписи и послания. Пройдет еще несколько напряженных лет. И вот голосом на пределе, голосом, полным отчаяния, уже в пору начинающейся душевной болезни, в 1821 году Батюшков произносит одно из самых кратких, едких и броских, как проклятие, одно из самых горестных стихотворений русской поэзии — «Изречение Мельхиседека»:

Ты знаешь, что изрек
Прощаясь с жизнию, седой Мельхиседек?
Рабом родится человек,
Рабом в могилу ляжет,
И смерть ему едва ли скажет,
Зачем он шел долиной чудной слез,
Страдал, рыдал, терпел, исчез.

Здесь Мельхиседек — царь-жрец из библейской легенды — как бы подсказывает скитальцу Одиссею, Батюшкову, общую оценку его трудной жизни, мучительной борьбы, серьезных поисков.

Входя в мир образов Батюшкова, отмечаешь, при всей их внешней гармоничности, внутреннюю разноречивость. Дело не в дозировке печали и радости, меланхолии и безудержного веселья, элегии и шутки. Суть в реальных противоречиях, пережитых сыном века, противоречиях, которые Батюшков так и не решил. Только последующие поэты, в новых исторических условиях, решали их, хотя и сами не были защищены от новых противоречий современной им жизни. Поэт, несом-

ненно, стремился к гармоническому сочетанию в себе качеств мыслителя и воина, писателя и гражданина, силы духовной и физической: это сочетание для него желательно и заманчиво. Но жизнь все обостряла и усугубляла противоречие между идеалом и действительностью; принятый в кругу «арзамасцев» под гордым именем Ахилла, Батюшков с умной иронией говорит о себе: «ах! хил!»

Трагический разлад между идеалом и действительностью еще много десятилетий будет терзать и мучить русских литераторов, принимая форму то прямого протеста, то едкой иронии и горькой печали — чувственного выражения неудовлетворенностью жизнью,— то эзопова языка басни и сатиры, то романтического полета и героики. Много десятилетий русские поэты и писатели будут слышать железный шаг класса, преданного «промышленным заботам» (Баратынский). Это шел тот командор, рука которого, именуемая, по-старому, десницей, привыкла пересчитывать золото. Введенное чувствительным Карамзиным слово «промышленность» прочно входило в быт.

Влюбленному в благозвучие поэтической речи и полногласие распева, ищущему гармонии в природе и обществе, Батюшкову невозможно было привыкнуть к железному скрежету. Но поэт вместе с тем уже не мог не останавливаться на этих звуках, неприятных его уху. Они становились все громче. «О, век железный!» — восклицал Батюшков осенью 1809 года. Через четверть века Баратынский в стихотворении «Последний поэт» подхватит это восклицание и сделает его эпически-достоверным утверждением, почти констатацией:

Век шествует путем своим железным.

Пройдет еще много десятилетий, и Александр Блок в своем «Возмездии» скажет со столь знакомой интонацией:

Век девятнадцатый, железный,
Воистину жестокий век!

Чуткий и впечатлительный Батюшков одним из первых в дорассветной рани услышал скрежет железа и на себе испытал пожатие уже не каменной, а железной десницы.

3

«Простым ратником» называет себя поэт. И верно: это был ратник, но не такой уж простой. Это был смелый, интеллектуальный поэт-воин, с широким культурно-историческим кругозором. Батюшков участвовал в походах, вел жаркие споры на биваках с друзьями, мечтал о будущем. Он бывал под пулями и трясся в седле по трудным дорогам войны. Вот поэт с русскими войсками в Париже. Он пользуется своим пребыванием во французской столице и в Лувре часами простаивает перед

статуей Аполлона Бельведерского. Он не только любуется статуей. Ему нравится, что простые русские солдаты «с изумлением» смотрели на Аполлона. Офицер Батюшков посещает французский театр, Академию наук, замок маркизы дю Шатле, где чувствует себя «в гостях у Вольтера». Отсюда пишет он письмо к Дашкову, кончающееся знаменательными словами: «Сказали поход — вдали слышны выстрелы.— Простите!»

Не один десяток строк возникал и угасал в сердце поэта во время его походов. Он горевал, что в такой обстановке нельзя создать значительное произведение. «Какую жизнь вел я для стихов! Три войны, все на коне, и в мире — на большой дороге. Спрашиваю себя: в такой бурной, непостоянной жизни можно ли написать что-нибудь совершенное?» В этих словах есть оттенок жалобы на судьбу скитальца-солдата. Но хотя и сетовал Батюшков на то, что походная жизнь отвлекала его от каждодневного и сосредоточенного творчества, сочинения поэта показывают, как важны и именно творчески существенны были для него походы и дороги, бурная и напряженная жизнь воина. Она была богата впечатлениями, переживаниями и ценнейшими наблюдениями. Эти походы и переезды давали поэту внушительный материал жизни, определенность темы, уверенность поэтической интонации. Лучшие создания Батюшкова вдохновлены годами его участия в событиях современной ему русской истории.

Расцвет творчества поэта совпадает с промежутком между Отечественной войной 1812 года и 1820—1822 годами — кануном восстания декабристов. Батюшков жил в величественной и грозной атмосфере освободительного движения. Дружа с Пниным, он, разумеется, знал и его книгу «Опыт о просвещении в России» (1804), где говорится о необходимости уничтожения крепостного права. Дружа с Н. А. Радищевым, Батюшков, конечно, задумывается над судьбой его отца, автора «Путешествия из Петербурга в Москву». На поэта, вне всякого сомнения, сильно воздействовали встречи с М. Орловым, Н. Тургеневым, Н. Муравьевым.

Исследователи спорят, знал Батюшков о тайных замыслах декабристов или не знал. Ввиду отсутствия исторических свидетельств мы, к сожалению, не можем дать верный и неопровержимый ответ. Декабристы, ценя поэтический талант Батюшкова, не считали и не могли считать его зрелым политиком. Они видели особенности характера Батюшкова, они видели прежде всего пылкого и непосредственного в своих душевных движениях поэта. Известно, что декабристы осуждали некоторые общественно-политические высказывания Батюшкова. Чего стоят, например, резкие и иронические надписи и заметки Никиты Муравьева на статье Батюшкова «Речь о влиянии легкой поэзии на язык».

Гадательно, знал ли Батюшков о тайных замыслах своих друзей, но с уверенностью можно сказать, что его «Опыты» входили в круг любимого чтения передовых людей 20-х годов XIX века. «Видение на берегах Леты» расходилось в списках как произведение, пробуждающее общественную мысль. Версия современников поэта, что именно осведомленность о готовящемся восстании и опасение возможных репрессий привели Батюшкова к душевному недугу с манией преследования, говорит прежде всего о том, что имя его связывалось с идеями освободительной борьбы.

Так называемые «легкие стихи» Батюшкова, прославляющие радость жизни, были в духе бесед «Арзамаса», бесед, которые предшествовали серьезным разговорам, ведшимся уже более узким кругом людей, знающих о главных задачах и планах борьбы. От шумного веселья «легких стихов» Батюшкова, в которых Вакх «густое здесь вино нам льет», не так-то уж далеко до тревожного шепотка беседующих заговорщиков. Вспомним наброски к десятой главе «Евгения Онегина»:

Сначала эти заговоры
Между лафитом и клико
Лишь были дружеские споры,
И не входила глубоко
В сердца мятежная наука,—
Все это было только скука,
Безделье молодых умов,
Забавы взрослых шалунов.

Вольнолюбие охватывало в преддекабрьскую пору многих, но далеко не многие поднялись до уровня «решительных мер».

Передового, яростного, рылеевского свободомыслия в Батюшкове не найти, хотя лирика поэта, так же, как и пушкинская лирика, была в обиходе декабристов. Более всего и охотнее всего он говорит о культурном прогрессе, опасаясь прямых политических высказываний. «Петр Великий пробудил народ, усыпленный в оковах невежества, он создал для него законы, силу военную и славу». Дальнейшее движение России Батюшков мыслил как решительное и окончательное уничтожение пережитков допетровской Руси. И когда Шишков стал цепляться за эту старину, поэт выступил против него с предельной резкостью, с определенностью полной и окончательной. Батюшков, конечно, понимал, что Шишков вел борьбу не только за старую лексику, за старый синтаксис, но главным образом за реакционно-охранительные начала в русской жизни.

Любя Россию, Батюшков высмеивал лжепатриотов, цеплявшихся за старое и ставивших знак равенства между ним и национальной самобытностью. Он писал об этом в «Видении на берегах Леты»

и в прозе: «Любить отечество должно. Кто не любит его, тот изверг. Но можно ли любить невежество? Можно ли любить нравы, обычаи, от которых мы отделены веками и, что еще более, целым веком просвещения? Зачем же эти усердные маратели восхваляют все старое?... эти патриоты, жалкие декламаторы, не любят или не умеют любить русской земли». По этому высказыванию и по острому памфлету в стихах («Видение на берегах Леты») нетрудно представить позицию, которую занял бы Батюшков, если бы он участвовал в позднейших схватках со славянофилами, самое название которых («славенофил») сочинено поэтом по адресу шишковистов и с его легкой руки вошло в обиход уже с новым идейным наполнением.

Эта позиция Батюшкова была, несомненно, близка передовым русским людям в преддекабрьскую пору. И, разумеется, у декабристов были все основания считать Батюшкова если не соратником, то сочувствующим. Сочувствующим — и только, ибо идеал политической борьбы был поэту чужд. Протест Батюшкова выражался в форме ухода в личное, мечту, скепсис, сатиру. В стихах его много неудовлетворенности существующим, брожения, кипения страстей, игры жизненных сил, что было чувственным поэтическим выражением всего происходившего в сердцах людей в преддекабрьскую пору.

То и дело оказываясь вдалеке от России, Батюшков тоскует по ней, пишет об этом друзьям. В мае 1819 года из Неаполя: «В общества я заглядываю, как в маскарад; живу дома, с книгами; посещаю Помпею и берега залива, наставительные, как книги; страшусь только забыть русскую грамоту». В августе того же года с острова Искии: «...я здесь, милый друг, в страхе — забыть язык отечественный! — совершенно без книг русских».

Столь же отчетливо говорится об этом в стихах:

Да оживлю теперь я в памяти своей
Сию ужасную минуту,
Когда, болезнь вкушая люту
И видя сто смертей,
Боялся умереть не в родине моей!

(*„Воспоминание“*)

Какие радости в чужбине?
Они в родных краях.

(*„Пленный“*)

Еще далее — в «Разлуке»:

Напрасно покидал страну моих отцов
. . . .
Ах! небо чуждое не лечит сердца ран.

В 1818 году Батюшков в послании к Шаликову обещал:

...где б я ни был (так я молвлю в добрый час),
Не изменясь, душою тот же буду,
И, умирая, не забуду
Москву, отечество, друзей моих и вас!

Россия влечет поэта властно и победоносно. Он хочет быть «под небом сладостным отеческой земли», лелеет замыслы, связанные с темами русской истории и народного эпоса.

Помимо силы художественного воздействия, сочинения Батюшкова имеют и силу человеческих свидетельств участника великих событий. В письме к Гнедичу он говорит: «Ах, Николай, война дает цену вещам». Угол зрения человека, перенесшего войну на поле сражения, присущ многим страницам Батюшкова. Он видел дорогу бедствий, ведшую из Москвы в Нижний. Бродил по Москве, сожженной и опустошенной врагом, наблюдал толпы беженцев и слышал рассказы соотечественников. Он мог бы стать одной из фигур толстовской эпопеи.

Идя не от литературы, а от жизни, Батюшков полемически смело, остро и убедительно отвергает каноны анакреонтической лирики, согласно которым лира поэта, невзирая на его намерения петь войну и ее героев, поет о любви и только о любви. Рассказывая о виденных бедствиях Москвы, Батюшков обращается к другу в стихах, здесь уже упомянутых («К Дашкову»):

А ты, мой друг, товарищ мой,
Велишь мне петь любовь и радость,
Беспечность, счастье и покой
И шумную за чашей младость!
Среди военных непогод,
При страшном зареве столицы,
На голос мирныя цевницы
Сзывать пастушек в хоровод!
Мне петь коварные забавы
Армид и ветреных цирцей
Среди могил моих друзей,
Утраченных на поле славы!..
Нет, нет! Талант погибни мой
И лира, дружбе драгоценна,
Когда ты будешь мной забвенна,
Москва, отчизны край златой!
Нет, нет! Пока на поле чести
За древний град моих отцов
Не понесу я в жертву мести
И жизнь и к родине любовь;
Пока с израненным героем,
Кому известен к славе путь,
Три раза не поставлю грудь
Перед врагом сомкнутым строем,—

Мой друг, дотоле будут мне
Все чужды музы и хариты,
Венки, рукой любви свиты,
И радость шумная в вине!

Все это предвещает сходные мотивы у Некрасова и поэтов его школы (сравнить хотя бы приведенный отрывок: «Среди военных непогод» с некрасовским «Внимая ужасам войны»). Мужественная прямота и страстность послания Батюшкова «К Дашкову» роднит его с лучшими образцами русской гражданской лирики.

Интонации и мотивы этого послания поддержаны у Батюшкова строками и строфами в других стихотворениях. Это важно оттенить, чтобы не останавливать внимание лишь на сумеречном и элегическом Батюшкове, зная, что есть Батюшков светлый, смелый, искренно любящий вольнодумца-друга и горячо ненавидящий реакционера-врага. Современникам импонировала эта лирика воина-патриота, героика, тревожные раздумия, едкая сатира. И заодно с этим, как выражение проясненного событиями Отечественной войны 1812 года самосознания,— широко во все стороны распахнувшийся поэтический мир, многообразие интересов и настроений поэта, многожанровость его творчества. Не одна клавиша была под его рукой, а вся клавиатура. Не один, пусть даже излюбленный, цвет, а вся радуга.

Поэзии Батюшкова не были чужды звуки и мотивы, которыми пользовалась гражданская лирика в России. Правда, они не были проявлены с такой прямотой, как у Рылеева или, позднее, у Некрасова. Но они были. Это он, Батюшков, писал в 1814 году: «Наши воины, спасители Европы от нового Атиллы, потушили пламенники брани в отечестве Расина и Мольера и на другой день по вступлении в Париж, к общему удивлению его жителей, рукоплескали величественным стихам французской Мельпомены на собственном его театре». Это, несомненно, автобиографическое высказывание. Поэт и офицер с гордостью говорит о России, гасящей «пламенники брани» и несущей мир. Он вкладывает в уста Кантемира знаменательные слова: «Мы громами побед возвестили Европе, что имеем артиллерию, флот, инженеров, ученых, даже опытных мореходцев...» Надо было обладать большой верой в будущее своей страны, чтобы такого философа, как Монтескье, уличить в том, что он «говорит о России, как невежда».

В зрелые творческие годы поэтом написаны такие, ставшие хрестоматийными, стихи, как, например, «Тень друга», «Послание И. М. Муравьеву-Апостолу» «Переход через Рейн», «К Никите», такие произведения в прозе, как «Прогулка в Академию художеств», «Вечер у Кантемира» и др. Именно в эту пору Батюшков обращается с призывом к царю освободить крестьян. Вяземский говорит о недошедшем до нас «прекрасном четверостишии», в котором поэт,

обращаясь к царю, надеялся, что «после окончания славной войны, освободившей Европу, призван он провидением довершить славу свою и обессмертить свое царствование освобождением русского народа».

Стихи и письма Батюшкова поры Отечественной войны и последующих лет — это походный дневник поэта-офицера. В нем находим такие шедевры, как «Переход русских войск через Неман», «Переход через Рейн», «Тень друга», «К Никите», «К другу» и некоторые другие. Здесь звучат голоса битвы, передано движение войск, громовая поступь армии. С подъемом и энергией, с большой изобразительной и эмоциональной силой, на которую позднее с восторгом будут оглядываться русские поэты, включая Пушкина, описывал Батюшков переход русских войск через Рейн:

И час судьбы настал! Мы здесь, сыны снегов,
Под знаменем Москвы с свободой и с громами!..
Стеклись с морей, покрытых льдами,
От струй полуденных, от Каспия валов,
От волн Улеи и Байкала,
От Волги, Дона и Днепра,
От града нашего Петра,
С вершин Кавказа и Урала...

Видное место занимают у Батюшкова песни воинской удали и отваги, достойные лучших строк боевой музы русских поэтов. В послании «К Никите» (декабристу Н. М. Муравьеву) Батюшков пишет об ожидании у костров «дня кровавой драки», о сне под буркой, о громе боя:

Как весело перед строями
Летать на ухарском коне
И с первыми в дыму, в огне
Ударить с криком за врагами!
Как весело внимать: «Стрелки,
Вперед! Сюда, донцы! Гусары!
Сюда, летучие полки,
Башкирцы, горцы и татары!»

И далее: «О, зрелище прекрасно!» — о колоннах, сдвинутых как лес, о победе над врагом, об упоении в бою. («О, радость храбрых!») Батюшков пел не только мечту задумчивых и горе несчастных, но и «радость храбрых...» Ту же тему воспитания мужества и радости храбрых разрабатывает Батюшков в шестом отрывке из «Подражаний древним»:

Ты хочешь меду, сын? — так жала не страшись;
Венца победы? — смело к бою!
Ты перлов жаждешь? — так спустись
На дно, где крокодил зияет под водою.
Не бойся! Бог решит. Лишь смелым он отец.
Лишь смелым перлы, мед, иль гибель... иль венец.

Героическая тема у Батюшкова звучит не изолированно, а наряду с другими, в переплетении различных тем и мотивов. У поэта есть мотивы элегические, но у него же находим строки и о вере в будущее и о бессмертии жизни. Этой верой в бессмертие жизни дышит стихотворное послание к Жуковскому, написанное в один год (1821) с «Изречением Мельхиседека» и стоящее рядом с ним как живое и неопровержимое свидетельство противоречивости поэта. Время, говорит Батюшков, все топит в реке забвенья. Что же оно все-таки бессильно в ней утопить? И поэт сам отвечает: «То, что в сердце мы храним».

Нет смерти сердцу, нет ее!
Доколь оно для блага дышит!..

Мотивы радости и мужества временами брали верх над элегическими мотивами. Временами же сами оказывались побежденными. Порою Батюшков самозабвенно поет печаль, но он же сам иронически отзывается о «веке меланхолии», этой подоснове элегики.

Поэт вскрывал противоречия своей переходной эпохи. И не вина, а беда поэта в том, что мрачное в нем победило, что Мельхиседек горестно подтрунивал над столь дерзостно и звонкоголосо воспетой радостью храбрых.

4

Даже знающему мифологию человеку при чтении такого поэта, как Батюшков, нелегко за именами Эрота, Киприды, Марса, Беллоны распознать подлинный смысл любовной или военной лирики его. В начале XIX века мифологические понятия еще были в обиходе и образная ассоциативность между ними и живыми чувствами была в несравнимо большей дружбе, чем в наше время.

Однако мифология, которая была в почете у классиков допушкинской и пушкинской поры, не должна заслонять от наших читателей живой прелести их стихов. Ясно, что для глубокого понимания Батюшкова надо знать мифологические легенды. Знать для того, чтобы беспрепятственно проникнуть в реальный смысл образов. Попробуйте без мифологической расшифровки понять такое произведение Батюшкова, как «Видение на берегах Леты»! С первой же страницы на вас ринутся Аполлон с Гебой, Элизий, Феб, Кастальские воды, грации Психея, Мельпомена... Но сбросьте скорлупу забытых или полузабытых наименований, и вы найдете теплое ядрышко жизни. Порой это ядрышко само пробивало скорлупу условности, как, например, в послании «К Дашкову» или «Переходе через Рейн», и сразу открывалось взору читателя. Порой же необходимы некоторые усилия самого читателя. Если он не пожалеет этих усилий, то услышит, как под античными одеждами бьется сердце русского поэта.

В отличие от сторонников школьного классицизма античные симпатии Батюшкова относились главным образом к способу изображения, к «художественному элементу» его поэзии, по определению Белинского, который считал, что антологические стихи Батюшкова способствовали образованию русского стиха вообще, пушкинского в частности.

Укреплению античных симпатий Батюшкова содействовала его дружба с Гнедичем, переводчиком «Илиады» и «Простонародных песен нынешних греков». Перевод поэмы Гомера был высоко оценен Пушкиным и Белинским. В одном из оригинальных стихотворений Гнедича — послании к Батюшкову — говорится о темах, которые затрагивали друзья при встречах: Рим и Иерусалим, Гомер и Тассо. Друзья мечтали о создании у себя на родине великой поэзии. Какой же должна быть русская поэзия? Как найти способ объединить поэзию и жизнь? Батюшков, по Добролюбову, любил «действительную жизнь», но боялся еще «пустить ее в ход прямо». Увидев, что попытки «на создание золотого века из простой жизни никуда не годятся», Батюшков пошел по другой дороге. И Добролюбов тонко рисует нам ход размышлений Батюшкова: «Вы боитесь изображать просто природу и жизнь, чтобы не нарушить требований искусства, соблюдения правил искусства: смотрите же, я буду вам изображать жизнь и природу на манер древних. Это все-таки будет лучше, чем выдумывать вещи, ни на что не похожие...»

Вопрос был весьма серьезен: как представить самую жизнь, не компрометируя искусства. У поэтов античности и Возрождения Батюшкова привлекала цельность, ясность, лаконичность, гармония частей и пластическое чувство целого.

«Стих его,— говорит о Батюшкове Белинский,— не только слышим уху, но и видим глазу: хочется ощупать извивы и складки его мраморной драпировки».

Стих Батюшкова мог казаться монолитно-мраморным, но выражал-то он далеко не лишенную противоречий, а, напротив, богатую ими душу поэта.

Мрамор Батюшкова только лишь издали кажется монолитным и гладким. Увы, то там, то здесь внимательный глаз замечает молниеобразные трещины. Они проходят не только по поверхности, нет, трещина прошла по сердцу поэта, и ему не скрыть ее.

Как бы ни драпировался стих Батюшкова под античность или Возрождение, каковы ни были б условности, одолевавшие поэта, природа и человек — вот истинные соучастники творческой думы его.

Условное и безусловное, книжные образы и действительность, душевная прямота и плетение словес ведут у Батюшкова борьбу не на

жизнь, а на смерть. Как говорить о жизни, не унижая поэзии? Как воспевать жизнь — следуя канонам или отбрасывая их? Ясного ответа Батюшков не давал. И Пушкин верно уловил в нем это противоречие. На полях стихотворения «Мои пенаты» Пушкин пишет: «Главный порок в сем прелестном послании есть слишком явное смешение древних обычаев миф [ологии] с обычаями жителя подмосковной деревни». И там, где у Батюшкова изображается греческая хижина, в которой стоит стол с изорванным сукном и перед камином сидит суворовский солдат с двухструнной балалайкой, Пушкин замечает: «Это все друг другу слишком уж противоречит». И далее: «Стихи прекрасные, но опять то же противоречие».

Колебания Батюшкова (от условной Хлои к безусловной Маше, от Омира к Петину) весьма остро чувствовал Пушкин, и только ему было дано творчески ответить на мучительные вопросы, стоявшие перед его предшественником.

Счастливая Аркадия с пастушками в стихах Батюшкова исчерпывала себя. Дальше — правда жизни, и только она. Независимость и вольнодумство больше не захотят прятаться за спину киприд и вакхов. Легкая поэзия в понимании Батюшкова — это поэзия жизни, земная поэзия. Именно она и была чревата реализмом. Поэзия в ту пору тосковала по обыденному и реальному, еще не названному, но ждущему глагола поэтических образов. Условный Вакх еще понадобится, чтобы воскликнуть: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» Но он уже будет в таком подчинении реалистической музе, что, кроме имени, в нем не найдется сколько-нибудь опасных черт былой условности.

Наш слух привык к сочетанию имен: Батюшков и Пушкин. О первом говорится порой только лишь как о предшественнике второго. И этого было б достаточно для того, чтобы прочно войти в историю русской поэзии. Но все же объявлять творчество Батюшкова лишь эскизом к картине, пусть и великой, пусть и прекрасной, неверно и несправедливо. При упоминании имени Батюшкова возникает в сознании цепь образов, часть которых была усвоена и поддержана Пушкиным, а часть прошла мимо него либо унаследована другими поэтами.

Белинский пишет о Батюшкове как о поэте, в числе других подготовившем явление Пушкина. Вполне естественно, что в работе, посвященной Пушкину («Сочинения Александра Пушкина», статья 3), его интересует главным образом эта сторона. На том, какое же влияние оказал Батюшков на других русских писателей, Белинский не останавливался. Ведь писал он не историю русской литературы и не специальную статью монографического характера о Батюшкове, а работу о Пушкине, о том, что именно подготовило его приход в предшествую-

щей ему поэзии, каковы характер, значение и место пушкинского творчества в культуре и общественной жизни.

Действительно, одной из величайших заслуг Батюшкова является то, что его поэзия подготовила Пушкина. Все, что у Батюшкова было намеком, предчувствием, догадкой, стало у Пушкина осознанной мыслью, творческой позицией. Ныне историкам литературы сравнительно нетрудно установить преемственность Пушкина от Батюшкова. Да и Пушкин хорошо знал своего предтечу. А ведь Батюшков, особенно в первые годы их знакомства, мог о своем преемнике лишь только догадываться.

Известно, что Батюшков познакомился с лицеистом Пушкиным в 1814 году. В следующем году автор «Опытов» пытается предостеречь юношу Пушкина от увлечения вакхическими мотивами, внушенными ему стихами... Батюшкова. Далее он интересуется судьбой «Руслана и Людмилы» и в письме из Италии (1819) спрашивает: «Просите Пушкина, именем Ариоста, выслать мне свою поэму, исполненную красот и — *надежды*, если он возлюбит славу, паче рассеяния». Батюшков был любимым автором Пушкина-лицеиста, его «Городок» написан, несомненно, под влиянием «Моих пенатов». Но неверно ограничивать влияние Батюшкова на Пушкина только лицейскими годами, как это делали некоторые исследователи.

Вместе с Жуковским Батюшков подготовил романтизм Пушкина и в еще большей степени, чем автор «Светланы» и «Людмилы», реализм его. Говоря о романтизме, нельзя забывать, что именно Батюшков первым перевел на русский язык отрывок из Байрона в ту пору, когда английский поэт только входил в моду. Этот перевод («Есть наслаждение и в дикости лесов») настолько пришелся по душе Пушкину, что был им собственноручно списан под названием «Элегия» и затем снова занесен в принадлежащий Пушкину экземпляр «Опытов». Мотив этого перевода Батюшкова, как справедливо отмечалось, отразился на пушкинском отрывке из «Пира во время чумы» («Есть наслаждение в бою», 1830).

Влияние Батюшкова на Пушкина было длительным. Не только в лицейский период, но и в последние годы творческой деятельности Пушкин обращался к поэзии Батюшкова. Порой это не влияние, а общность мотивов, сходство художественных натур Батюшкова и Пушкина. Тема ухода от светской суеты в сельскую тишь и в уединение, выраженная в стихотворении Батюшкова «Таврида», становится излюбленным в пушкинской лирике последнего периода (см. «Давно, усталый раб, замыслил я побег в обитель дальную трудов и чистых нег», 1834). Именно в эту последнюю пору жизни Пушкин создает несколько стихотворений, в которых близок к антологическим и итальянским мотивам Батюшкова. Это такие произведения, как «Царскосельская статуя»,

«Труд», «С Гомером долго ты беседовал один», «Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи», «Подражания древним», «Из Анакреона», «Подражание итальянскому». Это все произведения 1830—1836 годов.

Лирика и сатира, существовавшие у Батюшкова врозь, у Пушкина в «Евгении Онегине» слились воедино. Первую беглую зарисовку образа молодого человека, напоминающего позднейшего Онегина, находим у Батюшкова. В «Прогулке по Москве» он говорит о добром приятеле»,

Который с год зевал на балах богачей,
Зевал в концерте и в собранье,
Зевал на скачке, на гулянье,
Везде равно зевал...

Этот выхваченный из жизни характер станет со временем типическим образом и властно заявит о себе в русской литературе. Как же не узнать в этом «добром приятеле», фланировавшем по проспектам и кочевавшем с концерта на скачки, того, который «равно зевал средь модных и старинных зал»! Описание утра в том же «Евгении Онегине» перекликается с картиной из стихотворения Батюшкова «Странствователь и домосед», в которой изображается, как «на площадь побежал ремесленник, поэт, поденщик, говорун, с товарами купчина».

Роднит Батюшкова с Пушкиным также их отношение к Петру Первому, интерес к его личности, постоянные размышления над его значением. В «Прогулке в Академию художеств» Батюшков говорит: «У нас перед глазами Фальконетово произведение, сей чудесный конь, живый, пламенный, статный и столь смело поставленный, что один иностранец, пораженный смелостью мысли, сказал мне, указывая на коня Фальконетова: «Он скачет, как Россия!»

На девятнадцать лет позже этой статьи Пушкин писал в «Медном всаднике» о коне, управляемом Петром:

О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте уздой железной
Россию поднял на дыбы?

В письме к Вяземскому Батюшков говорит о задуманной им поэме «Русалка». Но, увы, ему не удается задуманную поэму начать, так же как Пушкину — начатую завершить.

«Теперь я по горло в прозе»,— пишет Батюшков в 1815 году Жуковскому. Он разрабатывает в письмах, статьях, воспоминаниях, заметках основы своего прозаического стиля, в котором предвосхищает и Пушкина и других русских писателей.

В очерке Батюшкова «Прогулка по Москве» есть меткие зарисовки городских типов, прямо ведущие нас в галерею, которую справедливо принято называть «Грибоедовской Москвой». Городские типы, наблюдения за жизнью улицы, доходящие в обрисовке до карикатуры,— все это в очерке Батюшкова позволяет судить о нем как о тонком жанристе.

Как бы адресованным современным поэту сатирикам звучит восклицание Батюшкова в том же очерке: «Какое обширное поле для комических авторов и как они мало чувствуют цену собственной неистощимой руды».

Портреты, описания, жанровые сцены Батюшкова отличаются остротой реалистического письма, позволяющего почувствовать в нем и наметки сатирического стиля. Автор «Прогулки по Москве» дает, например, сравнительные характеристики двух чудаков. «Один имеет сто тысяч доходу, и желудок его варить не может. Другой прожился на фейерверках и называет людей неблагодарными за то, что они не собираются в его сад в глубокую полночь». Контрастные портреты двух различных типов и сопоставление несопоставимого — излюбленный прием гоголевского письма. Точность и краткость характеристик, заостренных до гротеска,— и эту черту мы видим в Батюшкове до Гоголя в литературе и до Федотова в живописи. «Старый щеголь, великий мастер делать визиты, который на погребениях и на свадьбах является как тень, как памятник времен екатерининских; он человек праздный, говорун скучный, ибо лгать не умеет за недостатком воображения, а молчать не может за недостатком мысленной силы».

Как уже показали исследователи, одну из первых в литературе XIX века попыток создания образа, предвосхищающего образ гончаровского Обломова, дал Батюшков в «Похвальном слове сну». Герой этого произведения говорит: «Если бы я был царем моей постели, то никогда бы с нее не вставал». И в другом месте этого же «Похвального слова»: «Итак, почтенные слушатели! Способность спать во всякое время есть признак великой души (надобно заметить, что это весьма понравилось собранию ленивых)».

Разумеется, не во всех случаях воздействие Батюшкова на последующую русскую литературу было непосредственным и прямым. Здесь речь идет о проницательности писателя, о его художническом умении подмечать новое в жизни, вносить его в искусство, о тяготении к явно реалистическому письму.

Предчувствия, предвосхищения, догадки Батюшкова, его начинания имели для дальнейшего хода развития русской литературы огромное значение. Батюшков и Жуковский, а еще раньше Державин были сильными и яркими художниками. Но их значение стало еще более ощутимым и понятным, когда пришел Пушкин. Батюшкову было присуще

многое из того, что стало позднее столь характерным для поэтов пушкинской плеяды,— он ведь был самой ранней ее звездой.

Самый интонационный строй стихов и прозы Батюшкова был очень близок Пушкину и поэтам его школы. Пленительная певучесть пушкинской речи слышится уже у Батюшкова в самом начале века. Такие стихи, как «Мой гений» (1816), со строфой:

О память сердца! ты сильней
Рассудка памяти печальной
И часто сладостью своей
Меня в стране пленяешь дальной,—

даже знатоков поэзии вводили в заблуждение и казались им (так было с Аполлоном Майковым) пушкинскими стихами.

Некоторые строгие и подчас иронические замечания Пушкина на полях «Опытов» вовсе не говорят о недостаточной оценке им Батюшкова. Заметки делались Пушкиным для себя, а не для других. Если б он стал писать статью о Батюшкове, то, несомненно, от заметок по поводу отдельных строк и стихотворений перешел бы к творчеству поэта в целом. Что же касается творческого освоения Батюшкова, то оно до конца дней было у Пушкина плодотворным. Ему мог не нравиться «Умирающий Тасс», но зато «Подражания древним», написанные позже этого стихотворения, живо перекликаются с пушкинскими стихами того же названия.

Немаловажна роль Батюшкова в предвосхищении некоторых образов и мотивов и других видных русских поэтов. Становление поэта происходило в мучительном борении, при постоянном самоконтроле и самопроверке. Взыскательный и ищущий художник, он понимал, что мало пользоваться готовым, надобно открывать новые области в искусстве. И, пробуя себя в различных жанрах, Батюшков не сразу понял природу своего дарования.

Элегия, послание, историческая ода, сатира, эпиграмма — во всех них есть черты того, что привело поэта к наибольшим его удачам. А такими удачами, притом характерными для его творческого облика, являются произведения, относящиеся к философской лирике. В этом смысле Батюшков — звено, связующее таких поэтов XVIII века, как Ломоносов и Державин, с такими поэтами XIX века, как Баратынский и Тютчев. С наибольшей наглядностью эта тенденция проявилась у Батюшкова в его циклах «Из греческой антологии» и «Подражания древним».

Новым у Батюшкова по сравнению с предшественниками было стремление выражать чувства в противоборстве и развитии.

Без смерти жизнь не жизнь; и что она? Сосуд,
Где капля меду средь полыни.

Эта глубокая мысль сродни той, которую позднее будет развивать Баратынский, обращаясь к смерти («В твоей руке олива мира, а не губящая коса» и далее: «Даешь пределы ты растенью, чтоб не покрыл гигантский лес земли губительною тенью»).

«Чудесная противуположность», заключенная в страстях, зорко подмечается уже Батюшковым. Он рисует образ капли меда средь полыни. В статье о Петрарке сказано: «Любовь подобна сладкому меду, распущенному в соку полынном». Этот образ глубоко органичен для Батюшкова. В первом отрывке из «Подражаний древним» он и закреплен стихотворно. В двенадцатом отрывке «Из греческой антологии»: «Я вяну, и еще мучения терплю, полмертвый, но сгораю».

В небольших философских фрагментах Батюшков добивается удивительного сочетания контрастных мотивов: трагического и радостного, жизни и смерти, цветения и увядания, столь характерных для позднейшей лирики Баратынского и Тютчева.

К поэзии Батюшкова обращаются и поэты XIX века и наши современники. «Тень друга» — так, следуя за известным произведением Батюшкова, назвал книгу своих стихов Николай Тихонов. Этой книге, посвященной заграничной поездке поэта в годы, предшествовавшие Отечественной войне 1941 года, предпослан эпиграф из Батюшкова: «Я берег покидал туманный Альбиона». Основной образ стихотворения Батюшкова проходит через всю книгу:

Угасает запад многопенный,
Друга тень на сердце у меня.

Так спустя столетие с лишним советский поэт окликает тень Батюшкова, создавая книгу большого общественного звучания.

В третьей статье о Пушкине Белинский говорит о том, что Батюшкова «знают теперь» лишь понаслышке и воспоминанию любители словесности. Понижение внимания к Батюшкову в условиях литературной борьбы того времени вполне понятно. Но теперь, когда нам видна вся литературная панорама XIX века, Батюшков встает перед нами в истинном свете, как важное звено в литературной цепи от Державина и Карамзина к Пушкину, Баратынскому, Тютчеву. Хотя поэту казалось, что он «страдал, рыдал, терпел, исчез», бесследно исчез, но многие его начинания, попытки, порывы и даже ошибки и заблуждения были учтены позднейшими поэтами и писателями.

Когда современный читатель берет в руки сочинения литератора, который жил и творил очень давно и о котором накопилось немало свидетельств видных деятелей, ему хочется прежде всего взглянуть поэту в глаза, услышать его живой голос. Далеко не все в Батюшкове покажется нашему современнику чуждым.

В лучших своих произведениях Батюшков оперирует не отвлеченными и готовыми образами-формулами, введенными в поэзию приверженцами классицизма, он тяготеет к неповторимо своеобразному, индивидуально окрашенному реальному переживанию. Он дает не категорию любви, а самую любовь, не категорию дружелюбия, а самую дружбу в ее обращенности к вам, собеседнику поэта. Лирический герой Батюшкова создан из реальных черт времени. Эти черты определились и с годами выкристаллизовывались в характер эпического героя, который пришел в русскую литературу позднее. «Чувство, одушевляющее Батюшкова,— говорил Белинский,— всегда органически жизненно, и потому оно не распространяется в словах, не кружится на одной ноге вокруг самого себя, но движется, растет само из себя, подобно растению, которое, проглянув из земли стебельком, является пышным цветком, дающим плод».

Жизненность поэтического чувства Батюшкова была весьма важным завоеванием русской литературы. Наряду с Хлоями и аркадскими пастушками у Батюшкова готовы заявить о себе русские девушки, которых поэзия называла еще робко, застенчиво, уклончиво. В поэзии реализм уже ощущался словно соль в морской воде. Батюшков глубоко выстрадал реализм Пушкина и поэтов его школы. Это его бесспорная и незабываемая заслуга.

Переходность литературной эпохи, в которую жил Батюшков, выражена в переходности, текучести его поэтических жанров. Поэт как бы соблюдал каноны и исподволь нарушал их. Материал его «Опытов» распределен так: элегии, послания, смесь. Но он сам понимал всю искусственность строгого разграничения лирических жанров. Поэтические жанры у Батюшкова диффузируют: ода и элегия, послание и сатира. В лирическую почву падают зерна эпоса. И это оказывается плодотворным и многообещающим.

Письма Батюшкова — лаборатория его поэтического стиля. В них пульсирует живая мысль. Они очень содержательны и принадлежат к лучшим страницам русской эпистолярной литературы. В них Батюшков, так же, как позднее Пушкин, переключает прозаический рассказ на стихи и стихи снова на прозу. В целом язык стихов Батюшкова дальше от языка его прозы, чем стихи зрелого Пушкина от его прозы. Последний с большей, чем его предшественник, смелостью пойдет навстречу языку жизни. В поисках нового поэтического стиля, более отвечающего требованиям жизни, и Батюшков старательно добивался стирания резких граней между стихом и прозой. С пушкинской глубиной и прямотой, но до Пушкина, он говорил: «Главные достоинства стихотворного слога суть: движение, сила, ясность».

В высокую поэзию Батюшков вводит строфу, состоящую из разностопных стихов. Это также приближало поэзию к интонации живой

речи. Задумывался Батюшков и над введением в поэзию прозаизмов, которые он называет «обыкновенными словами», то есть словами, еще не вошедшими в поэтический обиход. «Заметим мимоходом для стихотворцев,— говорит он в примечании к статье «Ариост и Тасс»,— какую силу получают обыкновенные слова, когда они поставлены на своем месте». Язык поэтического произведения — эта тема глубоко волновала Батюшкова и как поэта и как исследователя. Он одним из первых у нас стал говорить о языке как о первоэлементе литературы: «Язык у стихотворца то же, что крылья у птицы, что материал у ваятеля, что краски у живописца».

Батюшков хорошо понимал: не все поэзия, что стихи. И он сетовал на то, что «бóльшая часть людей принимает за поэзию рифмы». Батюшков мыслил стихом. Окрыленная поэтическая дума как бы строфой слетала на бумажный лист. Поэт умел в стихе свободно и непринужденно рассуждать, беседовать, спрашивать, отвечать, недоуменно, а порой и негодующе и презрительно восклицать...

Слабыми сторонами поэзии Батюшкова являются некоторые длинноты, и затемненность смысла, и образная нечеткость; есть целые вещи, явно незавершенные, недописанные. На то, что Батюшков «...очень и очень не чужд риторики», справедливо указывал в свое время Белинский. И недаром Пушкин на полях «Опытов» заодно с восклицаниями «прелесть», «живо, прекрасно» пишет: «слабо», «лишний стих», «темно» и еще более энергично.

Но надо всегда помнить, что Батюшков еще готовился к главным свершениям в своем творчестве. Поэт говорил о себе: «Я похож на человека, который не дошел до цели своей, а нес на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы, упал и разбился вдребезги. Поди узнай теперь, что в нем было». Читатель обращается к реальному литературному наследию Батюшкова и видит, что оно ценно и по сумме идей, заложенных в нем, и по богатству историко-культурных ассоциаций, и по смелости разноречивых образов, и по окрыленности их, и по возвышенному строю и дивной певучести поэтической речи. Батюшков — чародей мелодики стиха. Этот стих хочется произносить слегка нараспев, как некогда произносились трагические монологи: не говорить, а именно декламировать.

«Звуки италъянские! Что за чудотворец этот Батюшков!» — с восторгом писал Пушкин. Но волшебство Батюшкова заключалось не в том, что русский стих он заставлял звучать по-итальянски, на манер Ариосто или Петрарки. Нет, он понимал, что у каждого языка свои звуковые и интонационные особенности. И плавность Батюшкова, его певучесть — это не сладкогласие кантилены, а полногласные переливы русской песни. До Батюшкова наши поэты не уделяли такого пристального внимания звуку в стихе. Автора «Тени друга» не могли

увлечь примитивные звукоподражания. Стих его удивительно музыкален, весь как бы пронизан стихией мелодии. Он и в чтении певуч. Звукопись у Батюшкова касается не отдельного слова или малой группы слов, а большого интонационного периода, целой строфы:

Нас было лишь трое на легком челне;
А море вздымалось, я помню, горами;
Ночь черная в полдень нависла с громами,
И Гела зияла в соленой волне.
Но волны напрасно, яряся, хлестали:
Я черпал их шлемом, работал веслом;
С Гаральдом, о други, вы страха не знали
И в мирную пристань влетели с челном!

(„Песнь Гаральда Смелого").

Стих передает гром битвы и лепет влюбленного, шум морских валов и «тихий час денницы».

Звукопись Батюшкова пленительно сочетается с содержанием его поэзии, со всем образным строем ее. Для каждого ряда образов он находит соответствующее им звучание. За немногими исключениями (в некоторых недоработанных и незавершенных вещах) он проявлял тонкое умение в сочетании изобразительных средств. Это искусство достигалось в результате большого труда. Батюшков был близок к пониманию того, что вдохновение — синоним трудолюбия. «Мне очень скучно без пера»,— говорил этот щедро одаренный и славно послуживший русской литературе писатель.

5

Русские поэты предпушкинской и пушкинской поры были людьми, стремившимися «в просвещении встать с веком наравне», людьми многосторонних знаний и исключительного трудолюбия. Для того чтобы стать заметным поэтом, помимо таланта необходимо обладать ключом от сокровищницы культуры народов. Для того чтобы этот ключ найти, надо иметь одно из качеств всех трудолюбивых и отважных. Имя этого качества — поиск.

К числу таких поэтов принадлежал Константин Батюшков. Он был одним из образованнейших русских поэтов, сочетавший природный талант с глубоким чувством историко-литературной традиции. Философию знал он до Канта и Шеллинга включительно. Нам известно из высказываний А. И. Тургенева: «Ничто ему не чуждо, он отвечает на некоторые вопросы по части наук политических и юридических». На протяжении многих лет Батюшков расширял и углублял свои познания в области живописи и скульптуры. Он читал на не-

скольких европейских языках, чувствуя себя свободно в любом веке и в любой области истории литературы.

Его интересует, как поставлено образование в посещаемых им странах. Из Неаполя в 1819 году он пишет, что хочет ознакомиться подробно, «как идет здесь университет, некогда знаменитый, и учение вообще».

Горячо любя и отлично зная итальянскую поэзию, Батюшков пишет о ней специальные статьи, в которых совмещаются качества взволнованного художника и проникновенного исследователя. Петрарку Батюшков знает наизусть и столь глубоко, что судит, кто из позднейших поэтов заимствовал у него строки. В примечаниях к своей статье Батюшков говорит: «Есть и другие похищения, но я не могу их теперь привести на память».

Гармоническое сочетание слова и дела, поэзии и науки, науки и жизненной практики, отличающее деятелей Возрождения, глубоко родственно Батюшкову: он стремился объединить вдохновение и познание, наблюдение и мысль о будущем. Поэт не ограничивал себя только сферой работы над словом, понимая, что она может быть успешной, если включит в себя всего человека, все его жизненные и культурные интересы.

Отдельные скупые признания Батюшкова говорят нам о большом его трудолюбии и серьезности. Так, в письме к Жуковскому (1819) он сообщает: «Иногда для одной строчки надобно пробежать книгу, часто скучную и пустую. Впрочем, мне когда-нибудь послужит этот труд, ибо труд, я уверен в этом, никогда не потерян». В письме к Гнедичу из деревни поэт сетует на то, что у него мало книг и каждую из них он перечитывает по многу раз.

К числу горячих увлечений Батюшкова относится живопись. Поэт был хорошим рисовальщиком. Он просиживает часами «с Винкельманом в руке», вникая в искусство древности. Посещая музеи и картинные галереи, Батюшков внимательно изучает произведения живописи и скульптуры. Их воздействие на его ум и сердце неотразимо, о чем сам поэт пишет в своих письмах и статьях. Его «Прогулка в Академию художеств» является одним из ярких, смелых и ранних по времени критических обзоров пространственного искусства, сделанных тонко и по-своему остро-злободневно. Это последнее качество стоит подчеркнуть: Батюшков хорошо понимал насущную необходимость создания русской национальной живописи и решительного отказа от рабского подражания всему иноземному. В уста молодого живописца поэт вкладывает знаменательные слова: «Сколько предметов для кисти художника! Умей только выбирать. И как жаль, что мои товарищи мало пользуются собственным богатством; живописцы перспективы охотнее пишут виды из Италии и других земель, нежели сии

очаровательные предметы. Я часто с горестью смотрел, как в трескучие морозы они трудятся над пламенным небом Неаполя, тиранят свое воображение и часто — взоры ваши. Пейзаж должен быть портрет». Здесь и о гордости «собственным богатством», и о необходимости брать темы из русской жизни, и о верности натуре не только в портрете, но и в пейзаже.

Подолгу поэт любуется архитектурными пейзажами Петербурга: Адмиралтейство и набережные Невы, Дворцовая площадь и решетка Летнего сада. «Какая легкость и стройность в рисунке! Я видел славную решетку Тюльерийского замка, отягченную, раздавленную, так сказать, украшениями — пиками, касками, трофеями. Она безобразна в сравнении с этой». Здесь очерковая проза Батюшкова предвосхищает поэтический восторг пушкинского отступления в «Медном всаднике»: «Твоих оград узор чугунный...»

Не только живопись и архитектура прошлого занимают Батюшкова. Он думает о будущем. В письмах и в статье «Две аллегории» он дает живописцам сюжеты. Требует от них дерзания: «Напитав воображение идеалом величия во всех родах, пишите смело; ваш гений будет гений, а не фигура академическая».

В Одессе в 1818 году Батюшков узнает об археологических раскопках в Ольвии. Поклонник античности находит здесь для себя много интересного и поучительного. В следующем году он сообщает Карамзину из Неаполя, что месяц посвятил изучению окрестностей этого города и составил о древностях его записки, которые до нас не дошли. Четырежды Батюшков был в Помпее и дважды на Везувии — «два места, которые заслуживают внимания самого нелюбопытного человека». Такой интерес к культурному наследию человечества был свидетельством того, что Батюшков намеревался серьезно и долго работать в русской литературе, дать еще много книг в стихах и прозе.

К числу задуманных и, к сожалению, не выполненных работ относится курс истории литературы. «Хочется написать в письмах маленький курс для людей светских и познакомить их с собственным богатством», — пишет поэт Вяземскому в 1817 году. Замечания историко- и теоретико-литературного характера, разбросанные в письмах и статьях Батюшкова, позволяют думать, что это была бы ценная работа.

Статья «Нечто о поэте и поэзии» является предварительными наметками новой поэтики с отступлениями в психологию творчества. Батюшков делает попытку ощутить в разрозненных произведениях словесности литературный процесс. В вопросах языка и стиля поэт занял резко определенную и далеко не компромиссную позицию.

Эта позиция роднит его с самыми передовыми деятелями русской литературы.

Человек большой и разносторонней культуры, Батюшков, как и подобает взыскательному художнику, признается: «Ничего не знаю с корня, а одни вершки даже в поэзии, хотя целый век бледнею над рифмами».

Скупы, очень скупы свидетельства Батюшкова о своей работе. «Занятия мои были маловажны, но беспрерывны». Первая часть фразы — новая вспышка скромности, вторая — важное признание в том, что работа над стихом и прозой была постоянной. «Перемарываю старые грехи»,— говорил Батюшков о ранее написанных стихах, к которым он возвращался, чтобы править и совершенствовать их.

Стиль писателя Батюшков ставит в зависимость от мышления его. «Есть писатели, у которых слог темен, у иных — мутен; мутен, когда слова не на месте; темен, когда слова не выражают мысли, эти мысли неясны от недостатка точности и натуральной логики».

Поэт часто обращается к прозе, говорит о пользе заготовок в работе стихотворца. «Чтоб писать хорошо в стихах... надо много писать прозою» и далее: «Я хотел учиться писать и в прозе заготовлял воспоминания или материалы для поэзии». С убежденностью и настойчивостью Батюшков ратовал за совмещение работы поэта и прозаика. Эти мечтания блестяще оправдались в деятельности его последователей. Да и сам он оставил прозаические произведения полуочеркового, полустатейного характера, значение которых для русской литературы еще далеко не оценено в должной степени. Письма поэт сам рассматривал как важный, как характерный для него жанр: «Это мой настоящий род. Насилу догадался». Письма Батюшкова написаны так приближенно к живой интонации поэта, что доносят до нас переливы его голоса.

Задолго до известных пушкинских рассуждений о главных достоинствах стихов и прозы Батюшков написал «Речь о влиянии легкой поэзии на язык». Это один из ранних опытов построения поэтики, близкой к пушкинской. Взять хотя бы требование «истины в чувствах» — принцип действенный и прогрессивный, поддержанный всем ходом дальнейшего развития русской литературы. Характерно, что Батюшков, любя итальянскую поэзию, отдавал все же предпочтение поэзии античной. И это было проявлением его эстетических принципов. В произведениях древних поэтов, утверждает Батюшков, «мы видим более движения и лучшее развитие страстей». Поэтика *движения* и *развития* чувств, показа их в противоборстве и во времени — вот что с годами все более и более отчетливо будет отличать русскую классическую поэзию, русскую философскую лирику в частности.

Образ движущегося времени дан Батюшковым в послании к Гнедичу:

Сей старец, что всегда летает,
Всегда приходит, отъезжает,
Везде живет — и здесь и там,
С собою водит дни и веки,
Съедает горы, сушит реки
И нову жизнь дает мирам,
Сей старец, смертных злое бремя,
Желанный всеми, страшный всем,
Крылатый, легкий, словом — *время*...

Поэтика Батюшкова перерастает рамки классицизма, она вопиет о необходимости разрушить его каноны. Вопиет и в то же время сама боится это свершить и довести дело до конца.

Во имя прекрасного Батюшков решительно отвергает «ложно блестящее», во имя красоты — красивость. Он высоко оценивает роль поэта в жизни общества и, обращаясь к деятелям литературы, восклицает: «Совершите прекрасное, великое, святое дело: обогатите, образуйте язык славнейшего народа, населяющего почти половину мира; поравняйте славу языка его со славою военною, успехи ума с успехами оружия».

С поразительной для своего времени глубиной и прозорливостью вскрывает Батюшков зависимость литературы от общественной жизни. Отмечая, что малое количество стихов «в легком роде» спаслось от забвения, он говорит: «Главною тому причиной можно положить не один недостаток таланта или изменение языка, но изменение самого общества».

С тонкой иронией пишет Батюшков об иностранцах, полагающих, что «Московия покрыта вечными снегами, населена — дикими». Поэт горячо верит в Россию, в ее будущее. «Дайте нам время, продлите благоприятные обстоятельства...» Когда же наступит — по Батюшкову — пора этих благоприятных для России обстоятельств? «Может быть, через два или три столетия, может быть ранее...»

В начале прошлого века Батюшковым произнесены слова, полные живого трепета и человеческой веры, звучавшие как пророчество: «Как знать! Может быть, на диких берегах Камы или величественной Волги возникнут великие умы, редкие таланты». Вера в Россию, в ее народ, представляемый поэтом смутно и бесконтурно, вера в культуру этого народа была в Батюшкове разбужена громами и озарена пламенем пожаров Отечественной войны 1812 года.

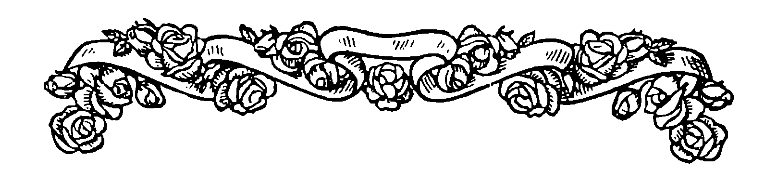
Многолинейность, разнохарактерность образов Батюшкова, широта его чувствований, высокая культура стиха — все это привлекает к нему внимание. В его поэзии нет доминанты — печальной или радо-

стной. Батюшков не только грустно мечтателен, но и самозабвенно весел, не только порывист, но и глубокомыслен. В нем угадывается широта чувствований Пушкина. Реализм в поэзии, недовоплощенный Батюшковым, был воспринят Пушкиным как первоочередная задача русской литературы. По размаху и широте душевных движений, беспокойным поискам все новых путей в искусстве слова Батюшков не только с благодарностью упоминаемый предшественник Пушкина, но его собрат и товарищ.

Батюшков надолго пережил свои творения. Первая книга Батюшкова «Опыты в стихах и прозе» является одновременно и последней. Об этом можно только глубоко сожалеть. Ведь, по мнению Белинского, «Батюшкову немного недоставало, чтоб он мог переступить черту, разделяющую талант от гениальности».

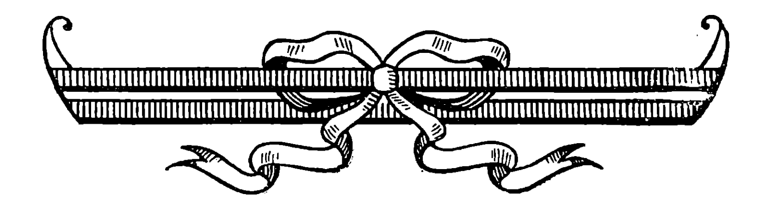
Невелико по количеству, но ценно по своему историко-культурному и эстетическому значению наследие поэта. С годами, с десятилетиями становится все более очевидным, что без учета вклада Батюшкова в классическую русскую поэзию не понять ее истоков, ее поступательного развития. Сочинения Батюшкова и до наших дней сохраняют свою живую прелесть.

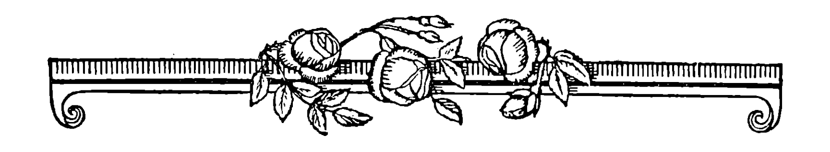
ЛЕВ ОЗЕРОВ



СТИХОТВОРЕНИЯ

1802—1821





МЕЧТА

О сладостна мечта, дщерь ночи молчаливой,
Сойди ко мне с небес в туманных облаках
Иль в милом образе супруги боязливой,
С слезой блестящею во пламенных очах!
Ты, в душу нежную поэта
Лучом проникнув света,
Горишь, как огнь зари, и красишь песнь его,
Любимца чистых сестр, любимца твоего,
И горесть сладостна бывает:
Он в горести мечтает.
То вдруг он пренесен во Сельмские леса,
Где ветр шумит, ревет гроза,
Где тень Оскарова, одетая туманом,
По небу стелется над пенным океаном;
То с чашей радости в руках
Он с бардом песнь поет — и месяц в облаках
И Кромлы шумный лес безмолвствуя внимает,
И эхо вдалеке песнь звучну повторяет.
О сладостна мечта, ты красишь зимний день,
Цветами и зиму печальную венчаешь,
Зефиром по цветам летаешь
И между светлых льдин являешь миртов тень!

Богиня ты, мечта! Дары твои бесценны
Самим невольникам в слезах.
Цепями руки отягченны,
Замки чугунны на дверях
Украшены мечтой... Какое утешенье
Украсить заключенье,

Оковы променять на цепь веселых роз!..
Подругу ль потерял, источник вечных слез,
Ступай ты в рощицу унылу,
Сядь на плачевную могилу,
Задумайся, вздохни — и друг души твоей,
Одетый ризою прозрачной, как туманом,
С прелестным взором, стройным станом,
Как нимфа легкая полей,
Прижмется с трепетом сердечным,
Прижмется ко груди пылающей твоей.
Стократ мы счастливы мечтаньем скоротечным!

Мечтанье есть душа поэтов и стихов.
И едкость сильная веков
Не может прелестей сокрыть Анакреона,
Любовь еще горит во Сафиных мечтах.
А ты, любимец Аполлона,
Лежащий на цветах
В забвенье сладостном, меж нимф и нежных граций,
Певец веселия, Гораций,
Ты в песнях сладостно мечтал,
Мечтал среди пиршеств и шумных и веселых
И смерть угрюмую цветами увенчал!
Найдем ли в истинах мы голых
Печальных стоиков и твердых мудрецов
Всю жизни бренной сладость?
От них эфирна радость
Летит, как бабочка от терновых кустов.
Для них прохлады нет и в роскоши природы;
Им девы не поют, сплетяся в хороводы;
Для них, как для слепцов,
Весна без прелестей и лето без цветов.
Увы, но с юностью исчезнут и мечтанья,
Исчезнут граций лобызанья!
Как светлые лучи на темных облаках,
Веселья на крылах
Дни юности стремятся:
Недолго на цветах
В беспечности валяться.
Весеннею порой
Лишь бабочка летает,

Амуров нежный рой
Морщин не лобызает.
Крылатые мечты
Не сыплют там цветы,
Где тусклый опытность светильник зажигает.

Счастливая мечта, живи, живи со мной!
Ни свет, ни славы блеск пустой
Даров твоих мне не заменят.
Глупцы пусть дорого сует блистанье ценят,
Лобзая прах златой у мраморных крыльцов!
Но счастию певцов
Удел есть скромна сень, мир, вольность и спокойство.
Души поэтов свойство:
Идя забвения тропой,
Блаженство находить мечтой.
Их сердцу малость драгоценна:
Как бабочка влюбленна
Летает с травки на цветок,
Считая морем ручеек,
Так хижину свою поэт дворцом считает
И счастлив!.. Он мечтает.

1802—1803

ПОСЛАНИЕ К СТИХАМ МОИМ

Sifflez-moi librement, je vous le rends, mes frères.
Voltaire [1]

Стихи мои, опять за вас я принимаюсь!
С тех пор как с музами, к несчастью, обращаюсь,
Покою ни на час... О, мой враждебный рок!
Во сне и наяву Кастальский льется ток!
Но с страстию писать не я один родился:
Чуть стопы размерять кто только научился,
За славою бежит — и бедный рифмотвор
В награду обретет не славу, но позор.
Куда ни погляжу, везде стихи марают,
Под кровлей песенки и оды сочиняют.
И бедный Стукодей, что прежде был капрал,
Не знаю для чего, теперь поэтом стал:
Нет хлеба ни куска, а роскошь выхваляет
И грациям стихи, голодный, сочиняет;
Пьет воду, а вино в стихах льет через край;
Филису нам твердит: «Филиса, ты мой рай!»
Потом, возвысив тон, героев воспевает:
В стихах его и сам Суворов умирает!
Бедняга! удержись... брось, брось писать совсем!
Не лучше ли тебе маршировать с ружьем!
Плаксивин на слезах с ума у нас сошел:
Все пишет, что друзей на свете не нашел!
Поверю: ведь с людьми нельзя ему ужиться,
И так не мудрено, что с ними он бранится.

---

[1] Освистывайте меня не стесняясь, собратья мои, я отвечу вам тем же. — Вольтер *(франц.)*.

Безрифмин говорит о милых... о сердцах...
Чувствительность души твердит в своих стихах;
Но книг его — увы! — никто не покупает,
Хотя и Глазунов в газетах выхваляет.
Глупон за деньги рад нам всякого бранить,
И даже он готов поэмой уморить.
Иному в ум придет, что вкус восстановляет:
Мы верим все ему — кругами утверждает!
Другой уже спешит нам драму написать,
За коей будем мы не плакать, а зевать.
А третий, наконец... Но можно ли помыслить
Все глупости людей в подробности исчислить?..
Напрасный будет труд, но в нем и пользы нет:
Сатирою нельзя переменить нам свет.
Зачем с Глупоном мне, зачем всегда браниться?
Он также на меня готов вооружиться.
Зачем Безрифмину бумагу не марать?
Всяк пишет для себя: зачем же не писать?
Дым славы, хоть пустой, любезен нам, приятен;
Глас разума — увы! — к несчастию, невнятен.
Поэты есть у нас, есть скучные врали;
Они не вверх летят, не к небу, но к земли.

Давно я сам в себе, давно уже признался,
Что в мире, в тишине мой век бы провождался,
Когда б проклятый Феб мне не вскружил весь ум;
Я презрел бы тогда и славы тщетный шум
И жил бы так, как хан во славном Кашемире,
Не мысля о стихах, о музах и о лире.
Но нет... Стихи мои, без вас нельзя мне жить,
И дня без рифм, без стоп не можно проводить!
К несчастью моему, мне надобно признаться,
Стихи, как женщины: нам с ними ли расстаться?..
Когда не любят нас, хотим их презирать,
Но все не престаем прекрасных обожать!

1804—1805

ПОСЛАНИЕ К ХЛОЕ

Подражание

Решилась, Хлоя, ты со мною удалиться
И в мирну хижину навек переселиться.
Веселий шумных мы забудем дым пустой:
Он скуку завсегда ведет лишь за собой.
За счастьем мы бежим, но редко достигаем,
Бежим за ним вослед — и в пропасть упадаем!
Как путник, огнь в лесу когда блудящий зрит,
Стремится к оному, но призрак прочь бежит,
В болота вязкие его он завлекает
И в страшной тишине в пустыне исчезает,—
Таков и человек! Куда ни бросим взгляд,
Узрим тотчас, что он и в счастии не рад.
Довольны все умом, Фортуною — нимало.
Что нравилось сперва, теперь то скучно стало;
То денег, то чинов, то славы он желает,
Но славы посреди и денег он — зевает!
Из хижины своей брось, Хлоя, взгляд на свет:
Четыре бьет часа — и кончился обед:
Из дому своего Глицера поспешает,
Чтоб ехать — а куда? беспечная не знает.
Карета подана, и лошади уж мчат.
«Постой!» — она кричит, и лошади стоят.
К Лаисе входит в дом, Лаису обнимает,
Садится, говорит о модах — и зевает;
О времени потом, о карточной игре,
О лентах, о пере, о платье и дворе.
Окончив разговор, который истощился,
От скуки уж поет. Глупонов тут явился,
Надутый, как павлин, с пустою головой,
Глядится в зеркало и шаркает ногой.
Вдруг входит Брумербас; все в зале замолкает.

Вступает в разговор и голос возвышает:
«Париж я, верно, б взял,— кричит из всех он сил,—
И Амстердам потом, гишпанцев бы разбил...»
Тут вспыхнет как огонь, затопает ногами,
Пойдет по комнате широкими шагами;
Вообразит себе, что неприятель тут,
Что режут, что палят, кричат «ура!» и жгут.
Заплюет всем глаза герой наш плодовитый,
Но вдруг смиряется и бросит взгляд сердитый;
Начнет рассказывать, как турка задавил,
Как роту целую янычаров убил,
Турчанки нежные в него как все влюблялись,
Как турки в полону от злости запыхались,
И битые часа он три проговорит!..
Никто не слушает, а он кричит, кричит!
Но в зале разговор тут общим становится,
Всяк хочет говорить и хочет отличиться.
Какой ужасный шум! Нельзя ничто понять,
Нельзя и клевету от правды различать.
Но вдруг прервали крик, и вдруг все замолчали,
Ни слова не слыхать! Немыми будто стали.
Придите, карты, к нам: все спят уже без вас!
Без карт покажется за век один и час.
К зеленому столу все гости прибегают
И жадность к золоту весельем прикрывают.
Окончили игру и к ужину спешат,
Смеются за столом, с соседом говорят:
И бедный человек живее становится,
За пищей, кажется, он вновь переродится.
Какой я слышу здесь чуднейший разговор!
Какие глупости! Какая ложь и вздор!
Педант бранит войну и вместе мир ругает,
Сердечкин тут стихи любовные читает,
Тут старые Бурун нам новости твердит,
А здесь уже Глупон от скуки чуть не спит!
И так-то, Хлоя, век свой люди провождают
И так-то целый день в бездействии теряют,
День долгий, тягостный ленивому глупцу,
Но краткий, напротив, полезный мудрецу.
Сокроемся, мой друг, и навсегда простимся
С людьми и с городом: в деревне поселимся,
Под мирной кровлею дни будем провождать:
Как сладко тишину по буре нам вкушать!

1804—1805

ПЕРЕВОД 1-й САТИРЫ БОАЛО

Бедняга и поэт, и нелюдим несчастный,
Дамон, который нас стихами все морил,
Дамон, теперь презрев и славы шум напрасный,
Заимодавцев всех своих предупредил.
Боясь судей, тюрьмы, он в бегство обратился,
Как новый Диоген, надел свой плащ дурной,
Как рыцарь, посохом своим вооружился
И, связку навязав сатир, понес с собой.
Но в тот день, из Москвы как в путь он собирался,
Кипя досадою и с гневом на глазах,
Бледнее, чем Глупон, который проигрался,
Свой гнев истощевал почти что в сих словах:
«Возможно ль здесь мне жить? Здесь честности не знают!
Проклятая Москва! Проклятый скучный век!
Пороки все тебя лютейши поглощают,
Незнаем и забыт здесь честный человек.
С тобою должно мне навеки распроститься,
Бежать от должников, бежать из всех мне ног
И в тихом уголке надолго притаиться.
Ах! если б поскорей найти сей уголок!..
Забыл бы в нем людей, забыл бы их навеки.
Пока дней парка нить еще моих прядет,
Спокоен я бы был, не лил бы слезны реки.
Пускай за счастием, пускай иной идет,
Пускай найдет его Бурун с кривой душою,
Он пусть живет в Москве, но здесь зачем мне жить?
Я людям ввек не льстил, не хвастал и собою,
Не лгал, не сплетничал, но чтил, что должно чтить.

Святая истина в стихах моих блистала
И музой мне была, но правда глаз нам жжет.
Зато Фортуна мне, к несчастью, не ласкала.
Богаты подлецы, что наполняют свет,
Вооружились все против меня и гнали
За то, что правду я им вечно говорил.
Глупцы не разумом, не честностью блистали,
Но золотом одним. А я чтоб их хвалил!..
Скорее я почту простого селянина,
Который пóтом хлеб кропит насущный свой,
Чем этого глупца, большого господина,
С презреньем давит что людей на мостовой!
Но кто тебе велит (все скажут мне) браниться?
Не мудрено, что ты в несчастии живешь;
Тебе никак нельзя, поверь, с людьми ужиться:
Ты беден, чином мал — зачем же не ползешь?
Смотри, как Сплетнин здесь тотчас обогатился,
Он князем уж давно... Таков железный век:
Кто прежде был в пыли, тот в знати очутился!
Фортуна ветрена, и этот человек,
Который в золотой карете разъезжает,
Без помощи ее на козлах бы сидел
И правил лошадьми,— теперь повелевает,
Теперь он славен стал и сам в карету сел.
А между тем Честон, который не умеет
Стоять с почтением в лакейской у бояр,
И беден и презрен, ступить шага не смеет;
В грязи замаран весь, он терпит холод, жар.
Бедняга с честностью забыт людьми и светом:
Итак, не лучше ли в стихах нам всех хвалить,
Зато богатым быть, в покое жить нагретом,
Чем добродетелью своей себя морить?
То правда, государь нам часто помогает
И музу спящую лишь взглянет — оживит,
Он Феба из тюрьмы нередко извлекает.
Чего не может царь!.. Захочет — и творит.
Но Мецената нет, увы! — и Август дремлет.
Притом, захочет ли мне кто благотворить?
Кто участь в жалобах несчастного приемлет,
И можно ли толпу просителей пробить,
Толпу несносную сынов несчастных Феба?
За оду просит тот, сей песню сочинил,

А этот — мадригал. Проклятая от неба,
Прямая саранча! Терпеть нет боле сил!..
И лучше во сто раз от них мне удалиться.
К чему прибегнуть мне? Не знаю, что начать.
Судьею разве быть, в приказные пуститься?
Судьею?.. Боже мой! Нет, этому не быть!
Скорее Стукодей бранить всех перестанет,
Скорей любовников Лаиса отошлет
И мужа своего любить как мужа станет,
Скорей Глицера свой, скорей язык уймет,
Чем я пойду в судьи! Не вижу средства боле,
Как прочь отсюдова сейчас же убежать
И в мире тихо жить в моей несчастной доле,
В Москву проклятую опять не заезжать.
В ней честность с счастием всегда почти бранится,
Порок здесь царствует, порок здесь властелин,
Он в лентах, в орденах повсюду ясно зрится,
Забыта честность, но Фортуны милый сын,
Хоть плут, глупец, злодей, в богатстве утопает,
И даже он везде... Не смею говорить...
Какого стоика сие не раздражает?
Кто может, не браня, здесь целый век прожить?
Без Феба всякий здесь хорошими стихами
Опишет город вам, и в гневе стихотвор
На гору не пойдет Парнас с двумя холмами.
Он правдой удивит без вымыслов убор.
«Потише,— скажут мне,— зачем так горячиться?
Зачем так свысока? Немного удержись!
Ведь в гневе пользы нет: не лучше ли смириться?
А если хочешь врать, на кафедру взберись,
Там можно говорить и хорошо и глупо,
Никто не сердится, спокойно всякий спит.
На правду у людей, поверь мне, ухо тупо».
Пусть светски мудрецы, пусть так все рассуждают!
Противен, знаю, им всегда был правды свет.
Они любезностью пороки закрывают,
Для них священного и в целом мире нет.
Любезно дружество, любезна добродетель,
Невинность чистая, любовь, краса сердец,
И совесть самая, всех наших дел свидетель,
Для них — мечта одна! Постой, о лжемудрец!
Куда влечешь меня? Я жить хочу с мечтою.

Постой! Болезнь к тебе, я вижу, смерть ведет,
Уж крылия ее простерты над тобою.
Мечта ли то теперь? Увы, к несчастью, нет!
Кого переменю моими я словами?
Я верю, что есть ад, святые, дьявол, рай,
Что сам Илья гремит над нашими главами.
А здесь, в Москве... Итак, прощай, Москва, прощай!..

1804—1805

ПЕРЕВОД ЛАФОНТЕНОВОЙ ЭПИТАФИИ

Иван и умер, как родился,—
Ни с чем; он в жизни веселился
И время вот как разделял:
Во весь день — пил, а ночью — спал.

1804—1805

К ФИЛИСЕ

Подражание Грессету

Qu'heureux est le mortel qui, du monde ignoré,
Vit content de lui-même en un coin retiré,
Que l'amour de ce rien qu'on nomme renommée
N'a jamais enivré d'une vaine fumée...[1]

Что скажу тебе, прекрасная,
Что скажу в моем послании?
Ты велишь писать, Филиса, мне,
Как живу я в тихой хижине,
Как я строю замки в воздухе,
Как ловлю руками счастие.
Ты велишь — и повинуюся.

Ветер воет всюду в комнате
И свистит в моих окончинах,
Стулья, книги — все разбросано:
Тут Вольтер лежит на библии,
Календарь на философии;
У дверей моих мяучит кот,
А у ног собака верная
На него глядит с досадою.
Посторонний, кто взойдет ко мне,
Верно, скажет: «Фебом проклятый,
Здесь живет поэт в унынии».
Правда, что воображение
Убирает все рукой своей,

---

[1] Блажен никому не ведомый смертный:
Довольный собой, он живет в укромном уголке,
И пристрастие к безделке, что прославляется под именем славы,
Не кружит ему голову суетным своим чадом *(франц.)*.

Сыплет розаны на терние,
И поэт с душой спокойною
Веселее Креза с золотом.
Независимость любезную
Потерять на цепь золочену!..
Я счастлив в моей беспечности,
Презираю гордость глупую,
Не хочу кумиру кланяться
С кучей глупых обожателей.
Пусть змиею изгибаются
Твари подлые, презренные,
Пусть слова его оракулом
Чтут невежды и со трепетом
Мановенья ждут руки его!

Как пылинка вихрем поднята,
Как пылинка вихрем брошена,
Так и счастье наше чудное
То поднимет, то опустит вдруг.
Часто бегал за Фортуною
И держал ее в руках моих:
Чародейка ускользнула тут
И оставила колючий терн.
Славу, почести мы призраком
Называем, если нет у нас;
Но найдем — прощай, мечтание!
Чашу с ними пьем забвения
(Суета всегда прелестна нам),
И мудрец забудет мудрость всю.
Что же делать нам?.. Бранить людей?..
Нет, найти святое дружество,
Жить покойно в мирной хижине;
Нелюдим пусть ненавидит нас:
Он несчастлив — не завидую.

Страх и ужас на лице его,
Ходит он с главой потупленной,
И спокойствие бежит его!
Нежно дружество с улыбкою
Не согреет сердца хладного,
И слеза его должна упасть,
Не отертая любовию!

Посмотри, Дамон как мудрствует:
Он находит зло единое.
«Добродетель,— говорит Дамон,—
Добродетель — суета одна,
Добродетель — призрак слабых душ.
Предрассудок в мире царствует,
Людям всем он ослепил глаза».

Он недолго будет думать так,
Хладна смерть к нему приближится:
Он увидит заблуждение,
Он увидит. Совесть страшная
Прилетит к нему тут с зеркалом;
Волоса ее растрепаны,
На глазах ее отчаянье,
А в устах — упреки, жалобы.
Полно! Бросим лучше дале взгляд.

Посмотри, как здесь беспечная
В скуке дни влечет Аталия.
День настанет — нарумянится,
Раза три зевнет — оденется.
«Ах!.. зачем так время медленно!» —
Скажет тут в душе беспечная,
Скажет с вздохом и заснет еще!

Бурун ищет удовольствия,
Ездит, скачет... увы! — нет его!
Оно там, где Лиза нежная
Скромно, мило улыбается?..
Он приходит к ней — но нет его!..
Скучной Лиза ему кажется.
Так в театре, где комедия
Нас смешит и научает вдруг?
Но и там, к несчастью, нет его!
Так на бале?.. Не найдешь его:
Оно в сердце должно жить у нас...

Сколько в час один бумаги я
Исписал к тебе, любезная!
Все затем, чтоб доказать тебе,
Что спокойствие есть счастие,
Совесть чистая — сокровище,
Вольность, вольность — дар святых небес.

Но уж солнце закатилося,
Мрак и тени сходят на землю,
Красный месяц с свода ясного
Тихо льет свой луч серебряный,
Тихо льет, но черно облако
Помрачает светлый луч луны,
Как печальны вспоминания
Помрачают нас в веселый час.

В тишине я ночи лунныя
Как люблю с тобой беседовать!
Как приятно мне в молчании
Вспоминать мечты прошедшие!
Мы надеждою живем, мой друг,
И мечтой одной питаемся.
Вы, богини моей юности,
Будьте, будьте навсегда со мной!

Так, Филиса моя милая,
Так теперь, мой друг, я думаю.
Я счастлив — моим спокойствием,
Я счастлив — твоею дружбою...

1804—1805

ЭЛЕГИЯ

Как счастье медленно приходит,
Как скоро прочь от нас летит!
Блажен, за ним кто не бежит,
Но сам в себе его находит!
В печальной юности моей
Я был счастлив — одну минуту,
Зато, увы! и горесть люту
Терпел от рока и людей!
Обман надежды нам приятен,
Приятен нам хоть и на час!
Блажен, кому надежды глас
В самом несчастье сердцу внятен!
Но прочь уже теперь бежит
Мечта, что прежде сердцу льстила;
Надежда сердцу изменила,
И вздох за нею вслед летит!
Хочу я часто заблуждаться,
Забыть неверную... но нет!
Несносной правды вижу свет,
И должно мне с мечтой расстаться!
На свете все я потерял,
Цвет юности моей увял:
Любовь, что счастьем мне мечталась,
Любовь одна во мне осталась!

1804—1805

К МАЛЬВИНЕ

Ах! чем красавицу мне должно
Как не цветочком подарить?
Ее, без всякой лести, можно
С приятной розою сравнить.

Что розы может быть славнее?
Ее Анакреон воспел.
Что розы может быть милее?
Амур из роз венок имел.

Ах, мне ль твердить, что вянут розы,
Что мигом их краса пройдет,
Что лишь появятся морозы,
Листок душистый опадет.

Но что же, милая, и вечно
В печальном мире сем цветет?
Не только розы скоротечно,
И жизнь — увы! — и жизнь пройдет.

Но грации пока толпою
Тебе, Мальвина, вслед идут,
Пока они еще с тобою
Играют, пляшут и поют,

Пусть розы нежные гордятся
На лилиях груди твоей!
Ах, смею ль, милая, признаться?
Я розой умер бы на ней.

Не позднее 1805

ПОСЛАНИЕ К Н. И. ГНЕДИЧУ

Что делаешь, мой друг, в полтавских ты степях
И что в стихах
Украдкой от друзей на лире воспеваешь?
С Фингаловым певцом мечтаешь
Иль резвою рукой
Венок красавице сплетаешь?
Поешь мечты, любовь, покой,
Улыбку томныя Корины
Иль страстный поцелуй шалуньи Зефирины?
Все, словом, прелести цитерских уз —
Они так дороги воспитаннику муз —
Поешь теперь, а твой на севере приятель,
Веселий и любви своей летописатель,
Беспечность полюбя, забыл и Геликон.
Терпенье и труды ведь любит Аполлон —
А друг твой славой не прельщался,
За бабочкой смеясь гонялся,
Красавицам стихи любовные шептал
И, глядя на людей, на пестрых кукл, мечтал:
«Без скуки, без забот не лучше ль жить с друзьями,
Смеяться с ними и шутить,
Чем исполинскими шагами
За славой побежать и в яму поскользить?»
Охоты, право, не имею
Чрез то я сделаться смешным
И умным, и глупцом, и злым,
Иль, громку лиру взяв, пойти вослед Алкею,
Надувшись пузырем, родить один лишь дым,
Как Рифмин, закричать: «Ликуй, земля, со мною!
Воспряньте, камни, лес! Зрю муз перед собою!

Восторг! Лечу на Пинд!.. Простите, что упал:
Ведь я Пиндару подражал!»
Что в громких песнях мне? Доволен я мечтами,
В покойном уголке тихонько притаясь,
Но с светом вовсе не простясь:
Играя мыслями, я властвую духами.

Мы, право, не живем
На месте все одном,
Но мыслями летаем;
То в Африку плывем,
То на развалинах Пальмиры побываем,
То трубку выкурим с султаном иль пашой,
Или, пленяся вдруг султановой женой,
Фатимой томной, молодой,
Тотчас дарим его рогами;
Смеемся муфтию, деремся с визирями,
И после, убежав (кто в мыслях не колдун?),
Увидим стройных нимф, услышим звуки струн —
И где ж очутимся? На бале и в Париже!
И так мечтанием бываем к счастью ближе,
А счастие лишь там живет,
Где нас, безумных, нет.
Мы сказки любим все, мы — дети, но большие.
Что в истине пустой? Она лишь ум сушит,
Мечта все в мире золотит,
И от печали злыя
Мечта нам щит.
Ах, должно ль запретить и сердцу забываться,
Поэтов променя на скучных мудрецов!
Поэты не дают с фантазией расстаться,
Мы с ними посреди Армидиных садов,
В прохладе рощ тенистых,
Внимаем пению Орфеев голосистых.
При шуме ветерков на розах нежных спим
И возле нимф вздыхаем,
С богами даже говорим,
А с мудрецами лишь болтаем,
Браним несчастный мир да рассердясь... зеваем.
. . . .
Так сердце может лишь мечтою услаждаться!
Оно все хочет оживить:
В лесу на утлом пне друидов находить,

Укрывшихся под ель, рукой времян согбенну,
Услышать барда песнь священну,
С Мальвиною вздохнуть на берегу морском
О ратнике младом.
Все сердцу в мире сем вещает.
И гроб безмолвен не бывает,
И камень иногда пустынный говорит:
Герой здесь спит!

Так сердцем рождена поэзия любезна,
Как нектар сладостный, приятна и полезна.
Язык ее — язык богов;
Им дивный говорил Омир, отец стихов.
Язык сей у творца берет Протея виды.
Иной поет любовь: любимец Афротиды,
С свирелью тихою, с увенчанной главой,
Вкушает лишь покой,
Лишь радости одни встречает
И розами стезю сей жизни устилает.
Другой,
Как славный Тасс, волшебною рукой
Являет дивный храм природы
И всех чудес ее тьмочисленные роды:
Я зрю то мрачный ад,
То счастия чертог, Армидин дивный сад;
Когда же он дела героев прославляет
И битвы воспевает,
Я слышу треск и гром, я слышу стон и крик...
Таков поэзии язык!

Не много ли с тобой уж я заговорился?
Я чересчур болтлив: я с Фебом подружился,
А с ним ли бедному поэту сдобровать?
Но, чтоб к концу привесть начатое маранье,
Хочу тебе сказать,
Что пременить себя твой друг имел старанье,
Увы, и не успел! Прими мое признанье!
Никак я не могу *одним* доволен быть,
И лучше розы мне на терны пременить,
Чем розами всегда одними восхищаться.
Итак, не должно удивляться,
Что ветреный твой друг —
Поэт, любовник вдруг

И через день потом философ с грозным тоном,
    А больше дружен с Аполлоном,
    Хоть и нейдет за славы громом,
        Но пишет всё стихи,
        Которы за грехи,
Краснеяся, друзьям вполголоса читает
    И первый сам от них зевает.

1805

[НА СМЕРТЬ И. П. ПНИНА]

Que vois-je, c'en est fait;
je t'embrasse, et tu meurs.

Voltaire[1]

Где друг наш? Где певец? Где юности красы?
Увы, исчезло все под острием косы!
Любимца нежных муз осиротела лира,
Замолк певец: он был, как мы, лишь странник
мира!
Нет друга нашего, его навеки нет!
Недолго мир им украшался:
Завял, увы, как майский цвет,
И жизни на заре с друзьями он расстался!

Пнин чувствам дружества с восторгом предавался;
Несчастным не одно он золото дарил...
Что в золоте одном? Он слезы с ними лил.
Пнин был согражданам полезен,
Пером от злой судьбы невинность защищал,
В беседах дружеских любезен,
Друзей в родных он обращал.

И мы теперь, друзья, вокруг его могилы
Объемлем только хладный прах,
Твердим с тоской и во слезах:
Покойся в мире, друг наш милый,
Питомец граций, муз, ты жив у нас в сердцах!

---

[1] Что вижу я, свершилось все;
Я целую тебя и ты умираешь.
Вольтер *(франц.)*.

Когда в последний раз его мы обнимали,
Казалось, с нами мир грустил,
И сам Амур в печали
Светильник погасил:
Не кипарисну ветвь унылу,
Но розу на его он положил могилу.

1805

* * *

Безрифмина совет:
Без жалости все сжечь мое стихотворенье!
Быть так! Его ж, друзья, невинное творенье
Своею смертию умрет!

1805

СОВЕТ ДРУЗЬЯМ

Faut-il être tant volage,
Ai-je dit au doux plaisir...[1]

Подайте мне свирель простую,
Друзья! и сядьте вкруг меня
Под эту вяза тень густую,
Где свежесть дышит среди дня;
Приближьтесь, сядьте и внемлите
Совету музы вы моей:
Когда счастливо жить хотите
Среди весенних кратких дней,
Друзья! оставьте призрак славы,
Любите в юности забавы
И сейте розы на пути.
О юность красная! цвети!
И, током чистым окропленна,
Цвети хотя немного дней,
Как роза, миртом осененна,
Среди смеющихся полей;
Но дай нам жизнью насладиться,
Цветы на тернах находить!
Жизнь — миг! недолго веселиться,
Недолго нам и в счастье жить!
Недолго — но печаль забудем,
Мечтать во сладкой неге будем:
Мечта — прямая счастья мать!
Ах! должно ли всегда вздыхать
И в майский день не улыбаться?

[1] Можно ль быть столь мимолетным,—
Я сказал бы наслажденью... *(франц.)*

Нет, станем лучше наслаждаться,
Плясать под тенью густой
С прекрасной нимфой молодой,
Потом, обняв ее рукою,
Дыша любовию одною,
Тихонько будем воздыхать
И сердце к сердцу прижимать.

Какое счастье! Вакх веселой
Густое здесь вино нам льет,
А тут, в одежде тонкой, белой
Эрата нежная поет:
Часы крылаты! не летите,
Ах! счастье мигом хоть продлите!

Но нет! Бегут счастливы дни,
Бегут, летят стрелой они;
Ни лень, ни сердца наслажденья
Не могут их сдержать стремленья,
И время сильною рукой
Губит и радость и покой!

Луга веселые, зелены!
Ручьи прозрачны, милый сад!
Ветвисты ивы, дубы, клены,
Под тенью вашею прохлад
Ужель вкушать не буду боле?
Ужели скоро в тихом поле
Под серым камнем стану спать?
И лира и свирель простая
На гробе будут там лежать!
Покроет их трава густая,
Покроет, и ничьей слезой
Прах хладный мой не окропится!
Ах! должно ль мне о том крушиться?
Умру, друзья! — и всё со мной!
Но парки темною рукою
Прядут, прядут дней тонку нить...
Коринна и друзья со мною,—
О чем же мне теперь грустить?

Когда жизнь наша скоротечна,
Когда и радость здесь не вечна,

То лучше в жизни петь, плясать,
Искать веселья и забавы
И мудрость с шутками мешать,
Чем, бегая за дымом славы,
От скуки и забот зевать.

Не позднее 1806

К ГНЕДИЧУ

Только дружба обещает
Мне бессмертия венок;
Он приметно увядает,
Как от зноя василек.
Мне оставить ли для славы
Скромную стезю забавы?
Путь к забавам проложен:
К славе тесен и мудрен!
Мне ль за призраком гоняться,
Лавры с скукой собирать?
Я умею наслаждаться,
Как ребенок всем играть,
И счастлив!.. Досель цветами
Путь ко счастью устилал,
Пел, мечтал, подчас стихами
Горесть сердца услаждал.
Пел от лени и досуга;
Муза мне была подруга;
Не был ей порабощен.
А теперь — весна, как сон
Легкокрылый, исчезает
И с собою увлекает
Прелесть песней и мечты!
Нежны мирты и цветы,
Чем прелестницы венчали
Юного певца,— завяли!
Ах! ужели наградит
Слава счастия утрату
И ко дней моих закату
Как нарочно прилетит?

1806

ПАСТУХ И СОЛОВЕЙ

Басня

Владиславу Александровичу Озерову

Любимец строгой Мельпомены,
Прости усердный стих безвестному певцу!
Не лавры к твоему венцу,
Рукою дерзкою сплетенны,
Я в дар тебе принес. К чему мой фимиам
Творцу Димитрия, кому бессмертны музы,
Сложив признательности узы,
Открыли славы храм?
А храм сей затворен для всех зоилов строгих,
Богатых завистью, талантами убогих.
Ах, если и теперь они своей рукой
Посмеют к твоему творенью прикасаться,
А ты, наш Эврипид, чтоб позабыть их рой,
Захочешь с музами расстаться
И боле не писать,
Тогда прошу тебя рассказ мой прочитать.

Пастух, задумавшись в ночи безмолвной мая,
С высокого холма вокруг себя смотрел,
Как месяц в тишине великолепно шел,
Лучом серебряным долины освещая,
Как в рощах липовых чуть легким ветерком
Листы колеблемы шептали
И светлые ручьи, почив с природой сном,
Едва меж берегов струей своей мелькали.
Из рощи соловей
Долины оглашал гармонией своей,

И эхо песнь его холмам передавало.
Все душу пастуха задумчиво пленяло,
Как вдруг певец любви на ветвях замолчал.
Напрасно наш пастух просил о песнях новых.
Печальный соловей, вздохнув, ему сказал:
    «Недолго в рощах сих дубовых
    Я радость воспевал!
    Пройдет и петь охота,
    Когда с соседнего болота
Лягушки кваканьем как бы назло глушат;
Пусть эта тварь поет, а соловьи молчат!»
«Пой, нежный соловей,— пастух сказал Орфею,—
    Для них ушей я не имею.
Ты им молчаньем петь охоту придаешь:
Кто будет слушать их, когда ты запоешь?»

1807

[Н. И. ГНЕДИЧУ]

По чести, мудрено в санях или верхом,
Когда кричат: «Марш, марш, слушай!» кругом,
Писать к тебе, мой друг, посланья...
Нет! Музы, убоясь со мной свиданья,
Честненько в Петербург иль бог знает куда
Изволили сокрыться.
А мне без них беда!
Кто волком быть привык, тому не разучиться
По-волчьи и ходить и лаять завсегда.
Частенько, погрузясь в священну думу,
Не слыша барабанов шуму
И крику резкого осанистых стрелков,
Я крылья придаю моей ужасной кляче
И прямо — на Парнас! или иначе,
Не говоря красивых слов,
Очутится пред мной печальная картина:
Где ветр со всех сторон в разбиты окна дует
И где любовницу, нахмурясь, кот целует,
Там финна бедного сума
С усталых плеч валится;
Несчастный к уголку садится
И, слезы утерев раздранным рукавом,
Догладывает хлеб мякинный и голодной...
Несчастный сын страны холодной!
Он с голодом, войной и русскими знаком!

1807

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Как ландыш под серпом убийственным жнеца
   Склоняет голову и вянет,
Так я в болезни ждал безвременно конца
   И думал: парки час настанет.
Уж очи покрывал Эреба мрак густой,
   Уж сердце медленнее билось:
Я вянул, исчезал, и жизни молодой,
   Казалось, солнце закатилось.
Но ты приближилась, о жизнь души моей,
   И алых уст твоих дыханье,
И слезы пламенем сверкающих очей,
   И поцелуев сочетанье,
И вздохи страстные, и сила милых слов
   Меня из области печали,
От Орковых полей, от Леты берегов
   Для сладострастия призвали.
Ты снова жизнь даешь; она твой дар благой,
   Тобой дышать до гроба стану.
Мне сладок будет час и муки роковой:
   Я от любви теперь увяну.

[*1807*]

ВОСПОМИНАНИЕ

Мечты! повсюду вы меня сопровождали
И мрачный жизни путь цветами устилали!
Как сладко я мечтал на Гейльсбергских полях,
    Когда весь стан дремал в покое
И ратник, опершись на копие стальное,
Смотрел в туманну даль! Луна на небесах
    Во всем величии блистала
И низкий мой шалаш сквозь ветви освещала;
Аль светлый чуть струю ленивую катил
И в зеркальных водах являл весь стан и рощи;
Едва дымился огнь в часы туманной нощи
Близ кущи ратника, который сном почил.
О Гейльсбергски поля! о холмы возвышенны!
Где столько раз в ночи, луною освещенный,
Я, в думу погружен, о родине мечтал;
О Гейльсбергски поля! в то время я не знал,
Что трупы ратников устелют ваши нивы,
Что медной челюстью гром грянет с сих холмов,
    Что я, мечтатель ваш счастливый,
    На смерть летя против врагов,
    Рукой закрыв тяжелу рану,
Едва ли на заре сей жизни не увяну...
И буря дней моих исчезла как мечта!..
    Осталось мрачно вспоминанье...
Между протекшего есть вечная черта:
    Нас сблизит с ним одно мечтанье.
Да оживлю теперь я в памяти своей
    Сию ужасную минуту,
    Когда, болезнь вкушая люту
    И видя сто смертей,

Боялся умереть не в родине моей!
Но небо, вняв моим молениям усердным,
    Взглянуло оком милосердным;
Я, Неман переплыв, узрел желанный край,
    И, землю лобызав с слезами,
Сказал: «Блажен стократ, кто с сельскими богами,
Спокойный домосед, земной вкушает рай
И, шага не ступя за хижину убогу,
    К себе богиню быстроногу
    В молитвах не зовет!
    Не слеп ко славе он любовью,
Не жертвует своим спокойствием и кровью:
Могилу зрит свою и тихо смерти ждет».

1807—1809

СОН МОГОЛЬЦА

Баснь

Могольцу снилися жилища Елисейски:
Визирь блаженный в них
За добрые дела житейски,
В числе угодников святых,
Покойно спал на лоне гурий.
Но сонный видит ад,
Где, пламенем объят,
Терзаемый бичами фурий,
Пустынник испускал ужасный вопль и стон.

Моголец в ужасе проснулся,
Не ведая, что значит сон.
Он думал, что пророк в сих мертвых обманулся
Иль тайну для него скрывал;
Тотчас гадателя призвал,
И тот ему в ответ: «Я не дивлюсь нимало,
Что в снах есть разум, цель и склад.
Нам небо и в мечтах премудрость завещало...
Сей праведник, визирь, оставя двор и град,
Жил честно и всегда любил уединенье,—
Пустынник на поклон таскался к визирям».

С гадателем сказав, что значит сновиденье,
Внушил бы я любовь к деревне и полям.
Обитель мирная! в тебе успокоенье
И все дары небес даются щедро нам.

Уединение, источник благ и счастья!
Места любимые! ужели никогда
Не скроюсь в вашу сень от бури и ненастья?
Блаженству моему настанет ли чреда?

Ах! кто остановит меня под мрачной тенью?
Когда перенесусь в священные леса?
О музы! сельских дней утеха и краса!
Научите ль меня небесных тел теченью?
Светил блистающих несчетны имена
Узнаю ли от вас? Иль, если мне дана
Способность малая и скудно дарованье,
Пускай пленит меня источников журчанье,
И я любовь и мир пустынный воспою!
Пусть парка не прядет из злата жизнь мою
И я не буду спать под бархатным наметом:
Ужели через то я потеряю сон?
И меньше ль по трудах мне будет сладок он,
Зимой — близ огонька, в тени древесной — летом?
Без страха двери сам для парки отопру,
Беспечно век прожив, спокойно и умру.

Не позднее 1808

[Н. И. ГНЕДИЧУ]

Прерву теперь молчанья узы
Для друга сердца моего.
Давно ты от ленивой музы,
Давно не слышал ничего.
И можно ль петь моей цевнице
В пустыне дикой и пустой,
Куда никак нельзя царице
Поэзии прийти младой?
И мне ли петь под гнетом рока,
Когда меня судьба жестока
Лишила друга и родни?..

Пусть хладные сердца одни
Средь моря бедствий засыпают
И взор спокойно обращают
На гробы ближних и друзей,
На смерть, на клевету жестоку,
Ползущу низкою змией,
Чтоб рану нанести жестоку
И непорочности самой.
Но мне ль с чувствительной душой
Быть в мире зол спокойной жертвой
И клеветы и разных бед?..
Увы! я знаю, что сей свет
Могилой создан нам отверстой,
Куда падет, сражен косой,
И царь с венчанною главой,
И пастырь, и монах, и воин!
Ужели я один достоин
И вечно жить и быть блажен?

Увы! здесь всяк отягощен
Ярмом печали и цепями,
Которых нам по смерть руками,
Столь слабыми, нельзя сложить.
Но можно ль их, мой друг, влачить
Без слез, не сокрушась душевно?
Скорее морем льзя безбедно
На валкой ладие проплыть,
Когда Борей расширит крылы,
Без ветрил, снастей и кормила
И к небу взор не обратить...

Я плачу, друг мой, здесь с тобою,
А время молнией летит.
Уж месяц светлый надо мною
Спокойно в озеро глядит.
Все спит под кровом майской нощи,
Едва ли водопад шумит,
Безмолвен дол, вздремали рощи,
В которых луч луны скользит
Сквозь ветки, на землю склоненны.
И я, Морфеем удрученный,
Прерву цевницы скорбный глас
И, может, в полуночный час
Тебя в мечте, мой друг, познаю
И раз еще облобызаю...

1808

К ТАССУ*

Позволь, священна тень, безвестному певцу
Коснуться к твоему бессмертному венцу
И сладость пения твоей авзонской музы,
Достойной берегов прозрачной Аретузы,
Рукою слабою на лире повторить
И новым языком с тобою говорить **.

Среди Элизия, близ древнего Омира
Почиет тень твоя, и Аполлона лира
Еще согласьем дух поэта веселит.
Река забвения и пламенный Коцит
Тебя с любовницей, о Тасс, не разлучили ***:
В Элизии теперь вас музы съединили,
Печали нет для вас, и скорбь протекших дней,
Как сладостну мечту, объемлете душей...
Торквато, кто испил все горькие отравы
Печалей и любви и в храм бессмертной славы,
Ведомый музами, в дни юности проник,—
Тот преждевременно несчастлив и велик! ****
Ты пел, и весь Парнас в восторге пробудился,
В Феррару с музами Феб юный ниспустился,

* Сие послание предположено было напечатать в заглавии перевода „Освобожденного Иерусалима“.

** Кажется, до сих пор у нас нет перевода Тассовых творений в стихах.

*** Торквато был жертвою любви и зависти. Всем любителям словесности известна жизнь его.

**** Тасс десяти лет от роду писал стихи и, будучи принужден бежать из Неаполя с отцом своим, сравнивал себя с молодым Асканием. До тридцатилетнего возраста кончил он бессмертную поэму „Иерусалима“, написал „Аминту“, много рассуждений о словесности и пр.

Назонову тебе он лиру *сам* вручил
И гений крыльями бессмертья осенил.
Воспел ты бурну брань, и бледны эвмениды
Всех ужасов войны открыли мрачны виды:
Бегут среди полей и топчут знамена,
Светильником вражды их ярость разжена,
Власы растрепанны и ризы обагренны,
Я сам среди смертей... и Марс со мною медный...
Но ужасы войны, мечей и копий звук
И гласы Марсовы, как сон, исчезли вдруг:
Я слышу вдалеке пастушечьи свирели,
И чувствия душой иные овладели.
Нет более вражды, и бог любви младой
Спокойно спит в цветах под миртою густой.
Он встал, и меч опять в руке твоей блистает!
Какой Протей тебя, Торквато, пременяет,
Какой чудесный бог чрез дивные мечты
Рассеял мрачные и нежны красоты?
То скиптр в его руках или перун зажженный,
То розы юные, Киприде посвященны,
Иль факел эвменид, иль луч златой любви.
В глазах его — любовь, вражда — в его крови;
Летит, и я за ним лечу в пределы мира,
То в ад, то на Олимп! У древнего Омира
Так шаг один творил огромный бог морей
И досягал другим краев подлунной всей.
Армиды чарами, средь моря сотворенной,
Здесь тенью миртовой в долине осененной,
Ринальд, младой герой, забыв воинский глас,
Вкушает прелести любови и зараз...
А там что зрят мои обвороженны очи?
Близ стана воинска, под кровом черной ночи,
При зареве бойниц, пылающих огнем,
Два грозных воина, вооружась мечом,
Неистовой рукой струят потоки крови...
О, жертва ярости и плачущей любови!
Постойте, воины!.. Увы! один падет...
Танкред в враге своем Клоринду узнает,
И морем слез теперь он платит, дерзновенной,
За каплю каждую сей крови драгоценной... *

---

* Gli occhi tuoi pagheran...
Di quel sangue ogni stilla un mar di pianto.
La Gierusalemme. Canto XII.

Что ж было для тебя наградою, Торкват,
За песни стройные? Зоилов острый яд,
Притворная хвала и ласки царедворцев,
Отрава для души и самых стихотворцев.
Любовь жестокая, источник зол твоих,
Явилася тебе среди палат златых,
И ты из рук ее взял чашу ядовиту,
Цветами юными и розами увиту,
Испил и, упоен любовною мечтой,
И лиру и себя поверг пред красотой.
Но радость наша — ложь, но счастие — крылато;
Завеса раздрана! Ты узник стал, Торквато!
В темницу мрачную ты брошен, как злодей,
Лишен и вольности и Фебовых лучей
Печаль глубокая поэтов дух сразила,
Исчез талант его и творческая сила,
И разум весь погиб! О вы, которых яд
Торквату дал вкусить мучений лютых ад,
Придите зрелищем достойным веселиться
И гибелью его таланта насладиться!
Придите! Вот поэт превыше смертных хвал,
Который говорить героев заставлял,
Проникнул взорами в небесные чертоги,—
В железах стонет здесь... О, милосерды боги!
Доколе жертвою, невинность, будешь ты
Бесчестной зависти и адской клеветы?

Имело ли конец несчастие поэта?
Железною рукой печаль и быстры лета
Уже безвременно белят его власы,
В единобразии бегут, бегут часы,
Что день, то прежня скорбь, что ночь — мечты
ужасны...
Смягчился, наконец, завет судьбы злосчастной.
Свободен стал поэт, и солнца луч златой
Льет в хладну кровь его отраду и покой:
Он может опочить на лоне светлой славы.
Средь Капитолия, где стены обветшалы
И самый прах еще о римлянах твердит,
Там ждет его триумф... Увы!.. там смерть стоит!
Неумолимая берет венок лавровый,
Поэта увенчать из давних лет готовый.
Премена жалкая столь радостного дни!

Где знамя почестей, там смертны пелены,
Не увенчание, но лики погребальны...
Так кончились твои, бессмертный, дни печальны!

Нет более тебя, божественный поэт!
Но славы Тассовой исполнен ввеки свет!
Едва ли прах один остался древней Трои,
Не знаем и могил, где спят ее герои,
Скамандр божественный вертепами течет,
Но в памяти людей Омир еще живет,
Но человечество певцом еще гордится,
Но мир ему есть храм... И твой не сокрушится!

1808

[ОТРЫВОК ИЗ I ПЕСНИ „ОСВОБОЖДЕННОГО ИЕРУСАЛИМА“]

Пустынник Петр говорил в верховном совете. Он предложил Готфреда в вожди.

Скончал пустынник речь... Небесно вдохновенье!
Не скрыто от тебя сердечное движенье,
Ты в старцевы уста глагол вложило сей
И сладость оного влило в сердца князей;
Ты укротило в них бунтующие страсти,
Дух буйной вольности, любовь врожденну к власти:
Вильгельм и мудрый Гелф, первейший из вождей,
Готфреда нарекли вождем самих царей.

И плески шумные избранье увенчали.
«Ему единому,— все ратники вещали,—
Ему единому вести ко славе нас!
Законы пусть дает его единый глас;
Доселе равные, его послушны воле,
Под знаменем святым пойдем на бранно поле,
Поганство буйное святыне покорим.
Награда небо нам: умрем иль победим!»

Узрели воины начальника избранна
И властию почли достойно увенчанна.
Он плески радостны от войска восприял,
Но вид величия спокойного являл.
Клялися все его повиноваться воле.
Наутро он велел полкам собраться в поле,
Чтоб рать под знамена священны притекла
И слава царское веленье разнесла.

Торжественней в сей день явилось над морями
Светило дня, лучи лиющее реками!
Христово воинство в порядке потекло
И дол обширнейший строями облегло.
Развились знамена, и копья заблистали.
Скользящие лучи сталь гладку зажигали;
Но войско двигнулось: перед вождем течет
Тяжела конница и ей пехота вслед.

О память светлая! тобою озаренны
Протекши времена и подвиги забвенны.
О память, мне свои хранилища открой!
Чьи ратники сии? Кто славный их герой?
Повеждь, да слава их, утраченна веками,
Твоими возблестит небренными лучами!
Увековечи песнь нетлением своим,
И время сокрушит железо перед ним!

Явились первые неустрашимы галлы:
Их грудь облечена в слиянные металлы,
Оружие звенит тяжелое в руках.
Гуг, царский брат, сперва был вождем в сих полках;
Он умер, и хоругвь трех лилий благородных
Не в длани перешла ее царей природных,
Но к мужу, славному по доблести своей:
Клотарий избран был в преемники царей.

Счастливый Иль-де-Франс, обильный, многоводной,
Вождя и ратников страною был природной.
Нормандцы грозные текут сим войскам вслед:
Роберт, их кровный царь, ко брани днесь ведет.
На галлов сходствует оружье их и нравы;
Как галлы, не щадят себя для царской славы.
Вильгельм и Адемар их войски в брань ведут,
Народов пастыри за веру кровь лиют.

Кадильницу они с булатом сочетали
И длинные власы шеломами венчали.
Святое рвение! Их меткая рука
Умеет поражать врагов издалека.
Четыреста мужам, в Орангии рожденным,
Вильгельм предшествует со знаменем священным;
Но равное число идет из Пуйских стен,
И Адемар вождем той рати наречен.

Се идет Бодоин с болонцами своими:
Покрыты чела их шеломами златыми.
Готфреда воины за ними вслед идут,
Вождем своим теперь царева брата чтут.
Корнутский граф потом, вождь мудрости избранный,
Четыреста мужей ведет на подвиг бранный;
Но трижды всадников толикое число
Под Бодоиновы знамена притекло.

Гелф славный возле них покрыл полками поле,
Гелф славен счастием, но мудростию боле.
Из дома Эстского сей витязь родился,
Воспринят Гелфом был и Гелфом назвался;
Каринтией теперь богатой обладает
И власть на ближние долины простирает,
По коим катит Рейн свой сребряный кристалл:
Свев дикий искони там в детстве обитал.

1808

[ОТРЫВОК ИЗ XVIII ПЕСНИ „ОСВОБОЖДЕННОГО ИЕРУСАЛИМА“]

Адские духи царствуют в очарованном лесе; Ринальд по повелению Готфреда шествует туда, дабы истребить чары Исменовы.

Се час божественный Авроры золотой:
Со светом утренним слиялся мрак ночной,
Восток румяными огнями весь пылает,
И утрення звезда во блесках потухает.
Оставя по траве, росой обмытой, след,
К горе Оливовой Ринальд уже течет.
Он в шествии своем светилы зрит небренны,
Руками вышнего на небесах возженны,
Зрит светлый свод небес, раскинут как шатер,
И в мыслях говорит: «Колико ты простер,
Царь вечный и благий, сияния над нами!
В день солнце, образ твой, течет под небесами,
В ночь тихую луна и сонм бессчетных звезд
Лиют утешный луч с лазури горних мест.
Но мы, несчастные, страстями упоенны,
Мы слепы для чудес: красавиц взор влюбленный,
Улыбка страстная и вредные мечты
Приятнее для нас нетленной красоты».
На твердые скалы в сих мыслях востекает
И там чело свое к лицу земли склоняет.
Но духом к вечному на небеса парит.
К востоку обратясь, в восторге говорит:
«Отец и царь благий, прости мне ослепленье,
Кипящей юности невольно заблужденье,
Прости и на меня излей своей рукой
Источник разума и благости святой!»

Скончал молитву он. Уж первый луч Авроры
Блистает сквозь туман на отдаленны горы;
От пурпурных лучей героев шлем горит.
Зефир, спорхнув с цветов, по воздуху парит
И грозное чело Ринальда лобызает;
Ниспадшею росой оружие блистает,
Щит крепкий, копие, железная броня
Как золото горят от солнечна огня.
Так роза блеклая, в час утра оживая,
Красуется, слезой Аврориной блистая;
Так, чешуей гордясь, весною лютый змей
Вьет кольца по песку излучистой струей.
Ринальд, блистанием оружья удивленный,
Стопами смелыми — и свыше вдохновенный —
Течет в сей мрачный лес, самих героев страх,
Но ужасов не зрит: в прохладе и тенях
Там нега с тишиной, обнявшись, засыпают,
Зефиры горлицей меж тростников вздыхают,
И с томной сладостью журчит в кустах ручей.
Там лебедь песнь поет, с ним стонет соловей,
И гласы сельских нимф и арфы тихострунной
Несутся по лесу, как хор единошумной.
Не нимф и не сирен, не птиц небесных глас,
Не царство сладкое и неги и зараз
Мечтал найти Ринальд, но ад и мрак ужасный,
Подземные огни и трески громогласны.
Восторжен, удивлен, он шаг умерил свой
И путь остановил над светлою рекой.
Она между лугов, казалось, засыпала
И в зеркальных водах брега образовала,
Как цепь чудесная, вкруг леса облегла.
Пространство все ее текуща кристалла́
Древа, соплетшися ветвями, осеняли,
Питались влагою и берег украшали.
На водах мраморных мост дивный, весь златой,
Явил через реку герою путь прямой.
Ринальд течет по нем, конца уж достигает,
Но свод, обрушившись, мост с треском низвергает.
Кипящие валы несут его с собой.
Не тихая река, но ток сей, что весной,
Снегами наводнен, текущими с вершины,
Шумит и пенится в излучинах долины,
Представился тогда Ринальдовым очам.

Герой спешит оттоль к безмолвным сим лесам,
В вертепы мрачные, обильны чудесами,
Где всюду под его рождалися стопами
(О, призрак волшебства и дивные мечты!)
Ручьи прохладные и нежные цветы.
Влюбленный здесь нарцисс в прозрачный ток глядится,
Там роза, цвет любви, на терниях гордится;
Повсюду древний лес красуется, цветет,
Вид юности кора столетних лип берет,
И зелень новая растения венчает.
Роса небесная на ветвиях блистает,
Из толстыя коры струится светлый мед.
Любовь живит весь лес, с пернатыми поет,
Вздыхает в тростниках, журчит в ручьях кристальных,
Несется песнями, теряясь в рощах дальных,
И тихо с ветерком порхает по цветам.
Герой велик и мудр, не верит он очам
И адским призракам в лесу очарова́нном.
Вдруг видит на лугу душистом и пространном
Высокий мирт, как царь, между дерев других.
Красуется его чело в ветвях густых,
И тень прохладная далеко вкруг ложится.
Из дуба ближнего сирена вдруг родится,
Волшебством создана. Чудесные мечты
Прияли гибкий стан и образ красоты.
Одежда у нее, поднятая узлами,
Блестит, раскинута над белыми плечами.
Сто нимф из ста дерев внезапу родились
И все лилейными руками сплелись.
На мертвом полотне так — кистию чудесной
Изображенный — зрим под тению древесной
Лик сельских, стройных дев, собрание красот:
Играют резвые, сплетяся в хоровод,
Их ризы, как туман, и перси обнаженны,
Котурны на ногах, власы переплетенны.
Так лик чудесных нимф на место грозных стрел
Златыми цитрами и арфами владел.
Одежды легкие они с рамен сложили
И с пляской, с пением героя окружили.
«О ратник юноша, счастлив навеки ты,
Любим владычицей любви и красоты!
Давно, давно тебя супруга ожидала,
Отчаянна, одна, скиталась и стенала.

Явился — и с тобой расцвел сей дикой лес,
Чертог уныния, отчаянья и слез».
Еще нежнейший глас из мирта издается
И в душу ратника, как нектар сладкий, льется.
В древнейши, баснями обильные века,
Когда и низкий куст и малая река
Дриаду юную иль нимфу заключали,
Столь дивных прелестей внезапу не рождали.
Но мирт раскрыл себя... О, призрак, о, мечты!
Ринальд Армиды зрит стан, образ и черты,
К нему любовница взор страстный обращает,
Улыбка на устах, в очах слеза блистает;
Все чувства борются в пылающей груди,
Вздыхая, говорит: «Друг верный мой, приди,
Отри рукой своей сих слез горячих реки,
Отри и сердце мне свое отдай навеки!
Вещай, зачем притек? Блаженство ль хочешь пить,
Утешить сирую и слезы осушить
Или вражду принес? Ты взоры отвращаешь,
Меня, любовницу, оружием стращаешь...
И ты мне будешь враг!.. Ужели для вражды
Воздвигла дивный мост, посеяла цветы,
Ручьями скрасила вертеп и лес дремучий
И на пути твоем сокрыла терн колючий?
Ах, сбрось сей грозный шлем, чело дай зреть очам,
Прижмись к груди моей и к пламенным устам,
Умри на них, супруг!.. Сгораю вся тобою —
Хоть грозною меня не отклони рукою!» —
Сказала. Слез ручей блестит в ее очах,
И розы нежные бледнеют на щеках.
Томится грудь ее и тягостно вздыхает;
Печаль красавице приятства умножает,
Из сердца каменна потек бы слез ручей —
Чувствителен, но тверд герой в душе своей.
Меч острый обнажил, чтоб мирт сразить ударом;
Тут, древо защитив, рекла Армида с жаром:
«Убежище мое, о варвар, ты разишь!
Нет, нет, скорее грудь несчастныя пронзишь,
Упьешься кровию твоей супруги страстной...»
Ринальд разит его... И призрак вдруг ужасной,
Гигант, чудовище явилося пред ним,
Армиды прелести исчезнули, как дым.

Сторукий исполин, покрытый чешуею,
Небес касается неистовой главою.
Горит оружие, звенит на нем броня,
Исполнена гортань и дыма и огня.
Все нимфы вкруг его циклопов вид прияли,
Щитами, копьями ужасно застучали.
Бесстрашен и велик средь ужасов герой!
Стократ волшебный мирт разит своей рукой:
Он вздрогнул под мечом и стоны испускает.
Пылает мрачный лес, гром трижды ударяет,
Исчадья адские явились на земле,
И серны молнии взвились в ужасной мгле.
Ни ветр, ни огнь, ни гром не ужаснул героя...
Упал волшебный мирт, и, бездны ад закроя,
Ветр бурный усмирил и бурю в облаках,
И прежняя лазурь явилась в небесах.

1808—1809

[Н. И. ГНЕДИЧУ]

Тебя и нимфы ждут, объятья простирая,
И фавны дикие, кроталами играя.
Придешь, и все к тебе навстречу прибегут:
Из древ гамадриады,
Из рек обмытые наяды,
И даже сельский поп, сатир и пьяный плут.

А если не будешь, то все переменит вид, все заплачет, зарыдает:

Цветы завянут все, завоют рощи дики,
Слезами потекут кристальны ручейки,
И, резки испустив в болоте ближнем крики,
Прочь крылья навострят носасты кулики,
Печальны чибисы, умильны перепелки.
Не станут пастухи играть в свои свирелки,
Любовь и дружество — погибнет все с тоски!

1809

* * *

Как трудно Бибрису со славою ужиться!
Он пьет, чтобы писать, и пишет, чтоб напиться!

1809

МАДРИГАЛ НОВОЙ САФЕ

Ты — Сафо, я — Фаон,— об этом и не спорю,
Но к моему ты горю
Пути не знаешь к морю.

1809

МАДРИГАЛ МЕЛИНЕ,
КОТОРАЯ НАЗЫВАЛА СЕБЯ НИМФОЮ

Ты нимфа Ио, нет сомненья!
Но только... после превращенья!

1809

ВИДЕНИЕ НА БЕРЕГАХ ЛЕТЫ

Вчера, Бобровым утомленный,
Я спал и видел странный сон!
Как будто светлый Аполлон,
За что, не знаю, прогневленный,
Поэтам нашим смерть изрек;
Изрек — и все упали мертвы,
Невинны Аполлона жертвы!
Иной из них окончил век,
Сидя на чердаке высоком
В издранном шлафроке широком,
Наг, голоден и утомлен
Упрямой рифмой к *светлу небу*.
Другой, в Цитеру пренесен,
Красу, умильную, как Гебу,
Хотел для нас насильно... петь
И пал без чувств в конце эклоги;
Везде, о, милосерды боги!
Везде пирует алчна смерть,
Косою острой быстро машет,
Богату ниву аду пашет
И губит Фебовых детей,
Как ветр осенний злак полей!
Меж тем в Элизии священном,
Лавровым лесом осененном,
Под шумом Касталийских вод,
Певцов нечаянный приход
Узнал почтенный Ломоносов,
Херасков, честь и слава Россов,
Самолюбивый Фебов сын,
Насмешник, грозный бич пороков,
Замысловатый Сумароков

И Мельпомены друг, Княжнин.
И ты сидел в толпе избранной,
Стыдливой грацией венчанной,
Певец прелестныя мечты,
Между Психеи * легкокрылой
И бога нежной красоты;
И ты там был, наездник хилой
Строптива девственниц седла,
Трудолюбивый, как пчела,
Отец стихов Телемахиды;
И ты, что сотворил обиды
Венере девственной, Барков!
И ты, о мой певец незлобный,
Хемницер, в баснях бесподобный! —
Все, словом, коих бог певцов
Венчал бессмертия лучами,
Сидели там олив в тени,
Обнявшись с прежними врагами;
Но спорили еще они
О том, о сем и не без шума
(И в рае, думаю, у нас
У всякого своя есть дума,
Рассудок свой, и вкус, и глаз).
Садились все за пир богатый,
Как вдруг Майинин сын крылатый,
Нисcланный вышним божеством,
Сказал сидящим за столом:
«Сюда, на берег тихой Леты,
Бредут покойные поэты;
Они в реке сей погрузят
Себя и вместе юных чад.
Здесь опыт будет правосудный:
Стихи и проза безрассудны
Потонут в миг: так Феб судил!» —
Сказал Эрмий и силой крыл
От ада к небу воспарил.
«Ага! — Фонвизин молвил братьям,—
Здесь будет встреча не по платьям,
Но по заслугам и уму».
«Да много ли,— в ответ ему

---

* Психею — душу или мечту — древние изображали в виде бабочки или крылатой девы, обнявшейся с Купидоном.

Кричал, смеяся, Сумароков,—
Певцов найдется без пороков?
Поглотит Леты всех струя,
Поглотит всех, иль я не я!»
«Посмотрим,— продолжал вполгласа
Поэт, проклятый от Парнаса,—
Егда прийдут...» Но вот они,
Подобно как в осенни дни
Поблеклы листвия древесны,
Что буря в долах разнесла * —
Так теням сим не весть числа!
Идут толпой в ущелья тесны,
К реке забвения стихов,
Идут под бременем трудов;
Безгласны, бледны, приступают,
Любезных детищей купают...
И более не зрят в волнах!
Но тут Минос, певцам на страх,
Старик угрюмый и курносый,
Чинит расправу и вопросы:
«Кто ты, вещай?» — «Я тот поэт,
По счастью очень плодовитый
(Был тени маленькой ответ),
Я тот, венками роз увитый
Поэт-философ-педагог,
Который задушил Виргилья,
Окоротил Алкею крылья.
Я здесь! *Сего бо хощет бог*
И долг священныя природы...» **
«Кто ж ты, болтун?» — «Я... Верзляков!»
«Ступай и окунися в воды!»
«Иду... во мне вся мерзнет кровь...
Душа... всего... душа природы,
Спаси... спаси меня, любовь!
Авось...» — «Нет, нет, болтун несчастный,
Довольно я с тобою выл!» —
Сказал ему Эрот прекрасный,
Который тут с Психеей был.
«Ступай!» Пошел — и нет педанта.
«Кто ты?» — спросил допросчик тень,

* Смотри VI песнь „Энеиды“.
** Смотри „Тень Кука“.

Несущу связку фолианта.
«Увы, я целу ночь и день
Писал, пишу и вечно буду
Писать... все прозой, *без еров.*
Невинен я. На эту груду
Смотри, здесь тысячи листов,
Священной пылию покрытых,
Печатью мелкою убитых,
И нет *ера* ни одного.
Да, я!..»— «Скорей купать его!»
Но тут явились лица новы
Из белокаменной Москвы.
Какие странные обновы!
От самых ног до головы
Обшиты платья их листами.
Где прозой детской и стихами,
Иной кладбище, мавзолей,
Другой журнал души своей,
Другой Меланию, Зюльмису,
Глафиру, Хлою, Милитрису,
Луну, Веспера, голубков,
Баранов, кошек и котов *
Воспел в стихах своих унылых,
На всякий лад для женщин *милых*
(О, век железный!..). А оне
Не только въяве, но во сне
Поэтов не видали бедных.
Из этих лиц уныло-бедных
Один, причесанный в тупей,
Поэт присяжный, князь вралей,
На суд явил творенья новы.
«Кто ты?» — «Увы, я пастушок,
Вздыхатель, завсегда готовый;
Вот мой венок и посошок,
Вот мой букет цветов тафтяных,
Вот список всех красот упрямых,
Которыми дышал и жил,
Которым я насильно мил.
Вот мой баран, моя Аглая».—
Сказал и, тягостно зевая,

---

* Это все, даже и кошки, воспеты в Москве — ссылаюсь на журналы.

Спросонья в Лету поскользнул!
«Уф! я устал, подайте стул,
Позвольте мне, я очень славен.
Бессмертен я, пока забавен».
«Кто ж ты?» — «*Я русский и поэт.*
Бегом бегу, лечу за славой,
Мне враг чужой рассудок здравой.
Для русских прав мой толк кривой
И в том клянусь моей сумой».
«Да кто же ты? — «Жан Жак я русский,
Расин и Юнг, и Локк я русский,
Три драмы русских сочинил
Для русских; нет уж боле сил
Писать для русских драмы слезны;
Труды мои все бесполезны!
Вина тому — разврат умов»,—
Сказал — в реку! и был таков!
Тут Сафы русские печальны,
Как бабки наши повивальны,
Несли расплаканных детей.
Одна — прости бог эту даму! —
Несла уродливую драму.
Позор для ада и мужей,
У коих сочиняют жены.
«Вот мой Густав, герой влюбленный...»
«Ага! — судья певице сей,—
Названья этого довольно:
Сударыня! мне очень больно,
Что вы, забыв последний стыд,
Убили драмою Густава.
В реку, в реку!» О, жалкий вид!
О, тщетная поэтов слава!
Исчезла Сафо наших дней
С печальной драмою своей;
Потом и две другие дамы,
На дам живые эпиграммы,
Нырнули в глубь туманных вод.
«Кто ты?» — «Я — виноносный гений.
Поэмы три да сотню од,
Где всюду ночь, где всюду тени,
Где роща ржуща ружий ржот *,

* Этот стих взят из сочинений Боброва, я ничего не хочу присваивать.

Писал с заказу Глазунова
Всегда на срок... Что вижу я?
Здесь реет между вод ладья,
А там, в разрывах черна крова
Урания — душа сих сфер
И все титаны ледовиты,
Прозрачной мантией покрыты,
Слезят! — Иссякнул изувер
От взора пламенной Эгиды».
Один отец Телемахиды
Слова сии умел понять.
На том брегу реки забвенья
Стояли тени в изумленье
От речи сей: «Изволь купать
Себя и всех своих уродов,—
Сказал, не слушая доводов,
Угрюмый ада судия.—
Да всех поглотит вас струя!..»
Но вдруг на адской берег дикий
Призрак чудесный и великий
В обширном дедовском возке
Тихонько тянется к реке.
На место клячей запряженны
Там люди в хомуты вложенны
И тянут кое-как, гужом!
За ним, как в осень трутни праздны,
Крылатым в воздухе полком,
Летят толпою тени разны
И там и сям. По слову: *«Стой!»*
Кивнула бледна тень главой
И вышла с кашлем из повозки.
«Кто ты? — спросил ее Минос,—
И кто сии?» На сей вопрос:
«Мы все с Невы поэты росски»,—
Сказала тень. «Но кто сии
Несчастны, в клячей превращенны?»
«Сочлены юные мои,
Любовью к славе вдохновенны,
Они Пожарского поют
И топят старца Гермогена;
Их мысль на небеса вперенна,
Слова ж из библии берут;

Стихи их хоть немного жестки,
Но истинно варяго-росски».
«Да кто ты сам?» — *«Я также член;*
Кургановым писать учен;
Известен стал не пустяками,—
Терпеньем, потом и трудами;
Аз есмь зело *Славенофил»,—*
Сказал и пролог растворил.
При слове сем в блаженной сени
Поэтов приподнялись тени;
Певец любовныя езды
Осклабил взор *усмешкой блудной*
И рек: «О муж, умом нескудной!
Обретший редки красоты
И смысл в моей Деидамии,
Се ты! се ты!..» — «Слова пустые»,—
Угрюмый судия сказал
И в Лету путь им показал.
К реке подвинулись толпою,
Ныряли всячески в водах;
Тот книжку потопил в струях,
Тот целу книжищу с собою.
Один, один Славенофил,
И то повыбившись из сил,
За всю трудов своих громаду,
За твердый ум и за дела
Вкусил бессмертия награду.
Тут тень к Миносу подошла
Неряхой и в наряде странном,
В широком шлафроке издранном,
В пуху, с косматой головой,
С салфеткой, с книгой под рукой.
«Меня врасплох,— она сказала,—
В обед нарочно смерть застала,
Но с вами я опять готов
Еще хоть сызнова отведать
Вина и адских пирогов:
Теперь же час, друзья, обедать,
Я — вам знакомый, я — Крылов!» *
«Крылов, Крылов»,— в одно вскричало
Собранье шумное духов,

* Крылов познакомился с духами через „Почту“.

И эхо глухо повторяло
Под сводом адским: «Здесь Крылов!»
«Садись сюда, приятель милый!
Здоров ли ты?» — «И так и сяк».
«Ну, что ж ты делал?» — «Все пустяк —
Тянул тихонько век унылый,
Пил, сладко ел, а боле спал.
Ну, вот, Минос, мои творенья,
С собой я очень мало взял:
Комедии, стихотворенья
Да басни — все купай, купай!»
О, чудо! всплыли все, и вскоре
Крылов, забыв житейско горе,
Пошел обедать прямо в рай.

Еще продлилось сновиденье,
Но ваше длится ли терпенье
Дослушать до конца его?
Болтать, друзья, неосторожно —
Другого и обидеть можно,
А боже упаси того!

1809

КНИГИ И ЖУРНАЛИСТ

Крот мыши раз шепнул: «Подруга! ну зачем
  На пыльном чердаке своем
Царапаешь, грызешь и книги раздираешь:
Ты крошки в них ума и пользы не сбираешь?»
  «Не об уме и хлопочу,
    Я есть хочу».
Не знаю, впрок ли то, но эта мышь уликой
Тебе, обрызганный чернилами Арист.
Зубами ты живешь, голодный журналист,
Да нужды жить тебе не видим мы великой.

1809

ЭПИГРАММА НА ПЕРЕВОД ВИРГИЛИЯ

Вдали от храма муз и рощей Геликона
Феб мстительной рукой сатира задавил *;
Воскрес урод и отомстил:
Друзья, он душит Аполлона!

1809

* Всем известна участь Марсия.

ЭПИТАФИЯ

Не нужны надписи для камня моего,
Скажите просто здесь: он был и нет его!

1809

СТИХИ г. СЕМЕНОВОЙ

E in si bel corpo più cara venia[1].

Тасс, V песнь
„Освобожденного Иерусалима"

Я видел красоту, достойную венца,
Дочь добродетельну, печальну Антигону,
Опору слабую несчастного слепца;
Я видел, я внимал ее сердечну стону —
И в рубище простом почтенной нищеты
Узнал богиню красоты.

Я видел, я познал ее в Моине страстной,
Средь сонма древних бард, средь копий и мечей,
Ее глас сладостный достиг души моей,
Ее взор пламенный, всегда с душой согласной,
Я видел — и познал небесные черты
Богини красоты.

О дарование, одно другим венчанно! *
Я видел Ксению, стенящу предо мной:
Любовь и строгий долг владеют вдруг княжной;
Боренье всех страстей в ней к ужасу слиянно,
Я видел, чувствовал душевной полнотой
И счастлив сей мечтой!

Я видел и хвалить не смел в восторге страстном;
Но ныне, истиной священной вдохновен,
Скажу: красот собор в ней явно съединен:
Душа небесная во образе прекрасном
И сердца доброго все редкие черты,
Без коих ничего и прелесть красоты.

1809

---

[1] В прекрасном теле прекрасная душа *(итал.)*.
* Дарование поэта и актрисы.

[О БЕНИТЦКОМ]

Пусть мигом догорит
Его блестящая лампада;
В последний час его бессмертье озарит:
Бессмертье — пылких душ надежда и награда!

1809

ТИБУЛЛОВА ЭЛЕГИЯ III

Из III книги

Напрасно осыпал я жертвенник цветами,
Напрасно фимиам курил пред алтарями;
Напрасно: Делии еще с Тибуллом нет.
Бессмертны! слышали вы скромный мой обет!
Молил ли вас когда о почестях и злате?
Желал ли обитать во мраморной палате?
К чему мне пажитей обширная земля,
Златыми класами венчанные поля
И стадо кобылиц, рабами охраненно?
О бедности молил, с тобою разделенной!
Молил, чтоб смерть меня застала при тебе,
Хоть нища, но с тобой!.. К чему желать себе
Богатства Азии или волов дебелых?
Ужели более мы дней сочтем веселых
В садах и в храминах, где дивный ряд столбов
Иссечен хитростью наемных пришлецов;
Где все один порфир Тенера и Кариста,
Помосты мраморны и урны злата чиста;
Луга пространные, где силою трудов
Легла священна тень от кедровых лесов?
К чему эритрские жемчужины бесценны
И волны тирские, багрянцем напоенны?
В богатстве ль счастие? В нем призрак, тщетный вид!
Мудрец от лар своих за златом не бежит,
Колен пред случаем вовек не преклоняет
И в хижине своей с фортуной обитает!
И бедность, Делия, мне дорога с тобой!
Тот кров соломенный чту крышей золотой,
Под коим, сопряжен любовию с тобою,

Стократ благословен!.. Но, если предо мною
Бессмертные весов судьбы не преклонят,
Утешит ли тогда Тибулла пышный град?
Ах нет! и золото блестящего Пактола,
И громкой славы шум, и самый блеск престола —
Без Делии ничто, а с ней и куща — храм.
Безвестность, нищета завидны небесам!
О дочь Сатурнова! услышь мое моленье!
И ты, любови мать! Когда же парк сужденье,
Когда суровых сестр противно веретено
И Делией владеть Тибуллу не дано —
Пускай теперь сойду во области Плутона,
Где блата топкие и воды Ахерона
Широкой цепию вкруг ада облежат,
Где беспробудным сном печальны тени спят.

1809

ПОСЛАНИЕ г. ВЕЛЕУРСКОМУ

О ты, владеющий гитарой трубадура,
Эраты голосом и прелестью Амура,
Воспомни, милый граф, счастливы времена,
Когда нас, юношей, увидела Двина!
Когда, отвоевав под знаменем Беллоны,
Под знаменем любви я начал воевать
И новый регламент и новые законы
В глазах прелестницы читать!
Заря весны моей! тебя как не бывало!
Но сердце в той стране с любовью отдыхало,
Где я узнал тебя, мой нежный трубадур!
Обетованный край, где ветреный Амур
Прелестным личиком любезный пол дарует,
Под дымкой на груди лилеи образует
(Какими б и у нас гордилась красота!),
Вливает томный огнь и в очи и в уста,
А в сердце юное — любви прямое чувство.
Счастливые места, где нравиться искусство
Не нужно для мужей,
Сидящих с трубками вкруг угольных огней
За сыром выписным, за гамбургским журналом,
Меж тем как жены их, смеясь под опахалом,
«Люблю, люблю тебя!» пришельцу говорят
И руку жмут ему коварными перстами!

О мой любезный друг! отдай, отдай назад
Зарю прошедших дней и с прежними бедами,
С любовью и войной!
Или, волшебник мой,
Одушеви мое музыкой песнопенье;

Вдохни огонь любви в холодные слова,
Еще отдай стихам потерянны права
И камни приводить в движенье,
И горы, и леса!
Тогда я с сильфами взлечу на небеса
И тихо, как призрáк, как луч от неба ясный,
Спущусь на берега пологие Двины
С твоей гитарой сладкогласной:
Коснусь волшебныя струны,
Коснусь... и нимфы гор при месячном сиянье,
Как тени легкие в прозрачном одеянье,
С сильванами сойдут услышать голос мой.
Наяды робкие, всплывая над водой,
Восплещут белыми руками,
И майский ветерок, проснувшись на цветах,
В прохладных рощах и садах,
Повеет тихими крылами;
С очей прелестных дев он свеет тонкий сон,
Отгонит легки сновиденья
И тихим шепотом им скажет: «Это он!
Вы слышите его знакомы песнопенья!»

1809

* * *

Пафоса бог, Эрот прекрасной
На розе бабочку поймал
И, улыбаясь, у несчастной
Златые крылья оборвал.
«К чему ты мучишь так, жестокий?» —
Спросил я мальчика сквозь слез.
«Даю красавицам уроки»,—
Сказал — и в облаках исчез.

1809

К МАШЕ

О радуйся, мой друг, прекрасная Мария!
Ты прелестей полна, любови и ума,
С тобою грации, ты грация сама.
Пусть парки ввек прядут тебе часы златые!
Амур тебя благословил,
А я — как ангел говорил.

Не позднее 1810

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ N.

О ты, которая была
Утех и радостей душою!
Как роза некогда цвела
Небесной красотою.
Теперь оставлена, печальна и одна,
Сидя смиренно у окна,
Без песней, без похвал встречаешь день
рожденья —
Прими от дружества сердечны сожаленья,
Прими и сердце успокой.
Что потеряла ты? Льстецов бездушных рой,
Пугалищей ума, достоинства и нравов,
Судей безжалостных, докучливых нахалов.
Один был нежный друг... и он еще с тобой!

Не позднее 1810

ЛОЖНЫЙ СТРАХ

Подражание Парни

Помнишь ли, мой друг бесценный,
Как с амурами тишком,
Мраком ночи окруженный,
Я к тебе прокрался в дом?
Помнишь ли, о друг мой нежной,
Как дрожащая рука
От победы неизбежной
Защищалась — но слегка?
Слышен шум! Ты испугалась!
Свет блеснул и вмиг погас;
Ты к груди моей прижалась,
Чуть дыша... блаженный час!
Ты пугалась — я смеялся.
«Нам ли ведать, Хлоя, страх!
Гименей за все ручался,
И амуры на часах.
Все в безмолвии глубоком,
Все почило сладким сном!
Дремлет Аргус томным оком
Под Морфеевым крылом!»
Рано утренние розы
Запылали в небесах...
Но любви бесценны слезы,
Но улыбка на устах,
Томно персей волнованье
Под прозрачным полотном
Молча новое свиданье
Обещали вечерком.
Если б Зевсова десница

Мне вручила ночь и день,
Поздно б юная денница
Прогоняла черну тень!
Поздно б солнце выходило
На восточное крыльцо:
Чуть блеснуло б и сокрыло
За лес рдяное лицо;
Долго б тени пролежали
Влажной ночи на полях;
Долго б смертные вкушали
Сладострастие в мечтах.
Дружбе дам я час единой,
Вакху час и сну другой.
Остальною ж половиной
Поделюсь, мой друг, с тобой!

Не позднее 1810

МАДАГАСКАРСКАЯ ПЕСНЯ

Как сладко спать в прохладной тени,
Пока долину зной палит
И ветер чуть в древесной сени
Дыханьем листья шевелит!

Приближьтесь, жены, и, руками
Сплетяся дружно в легкий круг,
Протяжно, тихими словами
Царя возвеселите слух!

Воспойте песни мне девицы,
Плетущей сети для кошниц,
Или как, сидя у пшеницы,
Она пугает жадных птиц.

Как ваше пенье сердцу внятно,
Как негой утомляет дух!
Как, жены, издали приятно
Смотреть на ваш сплетенный круг!

Да тихи, медленны и страстны
Телодвиженья будут вновь,
Да всюду, с чувствами согласны,
Являют негу и любовь!

Но ветр вечерний повевает,
Уж светлый месяц над рекой,
И нас у кущи ожидает
Постель из листьев и покой.

Не позднее 1810

ЛЮБОВЬ В ЧЕЛНОКЕ

Месяц плавал над рекою,
Все спокойно! Ветерок
Вдруг повеял, и волною
Принесло ко мне челнок.

Мальчик в нем сидел прекрасный,
Тяжким правил он веслом.
«Ах, малютка мой несчастный!
Ты потонешь с челноком!»

«Добрый путник, дай помогу,
Я не справлю, сидя в нем.
На — весло! и понемногу
Мы к ночлегу доплывем».

Жалко мне малютки стало;
Сел в челнок — и за весло!
Парус ветром надувало,
Нас стрелою понесло.

И вдоль берега помчались,
По теченью быстрых вод;
А на берег собирались
Стаей нимфы в хоровод.

Резвые, смеялись, пели
И цветы кидали в нас;
Мы неслись, стрелой летели...
О беда! О страшный час!..

Я заслушался, забылся,
Ветер с моря заревел —
Мой челнок о мель разбился,
А малютка... улетел!

Кое-как на голый камень
Вышел, с горем пополам;
Я обмок — а в сердце пламень:
Из беды опять к бедам!

Всюду нимф ищу прекрасных,
Всюду в горести брожу,
Лишь в мечтаньях сладострастных
Тени милых нахожу.

Добрый путник! в час погоды
Не садися ты в челнок!
Знать, сии опасны воды;
Знать, малютка... страшный бог!

Не позднее 1810

ЭЛИЗИЙ

О, пока бесценна младость
Не умчалася стрелой,
Пей из чаши полной радость
И, сливая голос свой
В час вечерний с тихой лютней,
Славь беспечность и любовь!
А когда в сени приютной
Мы услышим смерти зов,
То, как лозы винограда
Обвивают тонкий вяз,
Так меня, моя отрада,
Обними в последний раз!
Так лилейными руками
Цепью нежною обвей,
Съедини уста с устами,
Душу в пламени излей!
И тогда тропой безвестной,
Долу, к тихим берегам,
Сам он, бог любви прелестной,
Проведет нас по цветам
В тот Элизий, где все тает
Чувством неги и любви,
Где любовник воскресает
С новым пламенем в крови,
Где, любуясь пляской граций,
Нимф, сплетенных в хоровод,
С Делией своей Гораций
Гимны радости поет,—

Там, под тенью миртов зыбкой,
Нам любовь сплетет венцы,
И приветливой улыбкой
Встретят нежные певцы.

Не позднее 1810

НАДПИСЬ НА ГРОБЕ ПАСТУШКИ

Подруги милые! в беспечности игривой
Под плясовой напев вы резвитесь в лугах.
И я, как вы, жила в Аркадии счастливой,
И я, на утре дней, в сих рощах и лугах
Минутны радости вкусила.
Любовь в мечтах златых мне счастие сулила;
Но что ж досталось мне в прекрасных сих местах?
Могила!

Не позднее 1810

СЧАСТЛИВЕЦ

Подражание Касти

Слышишь! мчится колесница
Там по звонкой мостовой!
Правит сильная десница
Коней сребряной браздой!

Их копыта бьют о камень,
Искры сыплются струей;
Пышет дым, и черный пламень
Излетает из ноздрей!

Резьбой дивною и златом
Колесница вся горит:
На ковре ее богатом
Кто ж, Лизета, кто сидит?

Временщик, вельмож любимец,
Что на откуп город взял...
Ах! давно ли он у крылец
Пыль смиренно обметал?

Вот он с нами поровнялся
И едва кивнул главой;
Вот уж молнией промчался,
Пыль оставя за собой!

Добрый путь! пока лелеет
В колыбели счастье вас!
Поздно ль? рано ль? но приспеет
И невзгоды страшный час.

Ах, Лизета! льзя ль прельщаться.
И теперь его судьбой?
Не ему счастливым зваться
С развращенною душой!

Там, где хитростью искусства
Розы в зиму расцвели,
Там, где все пленяет чувства —
Дань морей и дань земли:

Мрамор дивный из Пароса
И кораллы на стенах;
Там, где в роскоши Пафоса
На узорчатых коврах

Счастья шаткого любимец
С нимфами забвенье пьет,—
Там же слезы сей счастливец
От людей украдкой льет.

Бледен, ночью Крез несчастный
Шепчет тихо, чтоб жена
Не вняла сей глас ужасный:
Мне погибель суждена!

Сердце наше кладезь мрачной:
Тих, покоен сверху вид,
Но спустись ко дну... ужасно!
Крокодил на нем лежит!

Душ великих сладострастье,
Совесть! зоркий страж сердец!
Без тебя ничтожно счастье,
Гибель — злато и венец!

Не позднее 1810

РАДОСТЬ

Подражание Касти

Любимца Кипридина
И миртом и розою
Венчайте, о юноши
И девы стыдливые!
Толпами сбирайтеся,
Руками сплетайтеся
И, радостно топая,
Скачите и прыгайте!
Мне лиру тиискую
Камены и грации
Вручили с улыбкою:
И песни веселию,
Приятнее нектара
И слаще амврозии,
Что пьют небожители,
В блаженстве беспечные,
Польются со струн ее!
Сегодня день радости —
Филлида суровая
Сквозь слезы стыдливости
«Люблю!» мне промолвила.
Как роза, кропимая
В час утра Авророю,
С главой, отягченною
Бесценными каплями,
Румяней становится,
Так ты, о прекрасная!
С главою поникшею,
Сквозь слезы стыдливости,

Краснея, промолвила:
«Люблю!» тихим шепотом.
Все мне улыбнулося;
Тоска и мучения,
И страхи, и горести
Исчезли — как не было!
Киприда, влекомая
По воздуху синему
Меж бисерных облаков
Цитерскими птицами
К Цитере иль Пафосу,
Цветами осыпала
Меня и красавицу.
Все мне улыбнулося —
И солнце весеннее,
И рощи кудрявые,
И воды прозрачные,
И холмы парнасские!
Любимца Кипридина,
В любви победителя,
И миртом и розою
Венчайте, о юноши
И девы стыдливые!

Не позднее 1810

* * *

Рыдайте, амуры и нежные грации.
У нимфы моей на личике нежном
Розы поблекли и вянут все прелести.
Венера всемощная! Дочерь Юпитера!
Услышь моления и жертвы усердные:
Не погуби на тебя столь похожую!

Не позднее 1810

НА СМЕРТЬ ЛАУРЫ

*Из Петрарки**

Колонна гордая! о лавр вечнозеленый!
Ты пал! — и я навек лишен твоих прохлад!
Ни там, где Инд живет, лучами опаленный,
Ни в хладном севере для сердца нет отрад!

Все смерть похитила, все алчная пожрала —
Сокровище души, покой и радость с ним!
А ты, земля, вовек корысть не возвращала,
И мертвый нем лежит под камнем гробовым!

Все тщетно пред тобой — и власть, и волхованья...
Таков судьбы завет!.. Почто ж мне доле жить?
Увы, чтоб повторять в час полночи рыданья
И слезы вечные на хладный камень лить!

Как сладко, жизнь, твое для смертных обольщенье!
Я в будущем мое блаженство основал,
Там пристань видел я, покой и утешенье
И все с Лаурою в минуту потерял!

Не позднее 1810

---

* Сонет „Rotta è l'alta colonna e'l verde lauro".

ВЕЧЕР

Подражание Петрарке

В тот час, как солнца луч потухнет за горою,
Склонясь на посох свой дрожащею рукою,
Пастушка, дряхлая от бремени годов,
Спешит, спешит с полей под отдаленный кров
И там, пришед к огню, среди лачуги дымной
Вкушает трапезу с семьей гостеприимной,
Вкушает сладкий сон взамену горьких слез!
А я, как солнца луч потухнет средь небес,
Один в изгнании, один с моей тоскою,
Беседую в ночи с задумчивой луною.

Когда светило дня потонет средь морей
И ночь, угрюмая владычица теней,
Сойдет с высоких гор с отрадной тишиною,
Оратай острый плуг увозит за собою
И, медленной стопой идя под отчий кров,
Поет простую песнь в забвенье всех трудов.
Супруга, рой детей оратая встречают
И брашна сельские поспешно предлагают.
Он счастлив — я один с безмолвною тоской
Беседую в ночи с задумчивой луной.

Лишь месяц сквозь туман багряный лик уставит
В недвижные моря — пастух поля оставит,
Простится с нивами, с дубравой и ручьем
И гибкою лозой стада погонит в дом.
Игралище стихий среди пучины пенной,
И ты, рыбарь, спешишь на брег уединенной!

Там, сети преклонив ко утлой ладие
(Вот все от грозных бурь убежище твое!),
При блеске молнии, при шуме непогоды
Заснул... И счастлив ты, угрюмый сын природы!

Но се бледнеет там багряный небосклон,
И медленной стопой идут волы в загон
С холмов и пажитей, туманом орошенных.
О песнопений мать, в вертепах отдаленных,
В изгнанье горестном утеха дней моих,
О лира, возбуди бряцаньем струн златых
И холмы спящие и кипарисны рощи,
Где я, печали сын, среди глубокой нощи,
Объятый трепетом, склонился на гранит...
И надо мною тень Лауры пролетит!

Не позднее 1810

ВЕСЕЛЫЙ ЧАС

Вы, други, вы опять со мною
Под тенью тополей густою,
С златыми чашами в руках,
С любовью, с дружбой на устах!

Други! сядьте и внемлите
Музы ласковой совет.
Вы счастливо жить хотите
На заре весенних лет?
Отгоните призрак славы!
Для веселья и забавы
Сейте розы на пути;
Скажем юности: лети!
Жизнью дай лишь насладиться,
Полной чашей радость пить:
Ах! недолго веселиться
И не веки в счастье жить!

Но вы, о други, вы со мною
Под тенью тополей густою,
С златыми чашами в руках,
С любовью, с дружбой на устах.

Станем, други, наслаждаться,
Станем розами венчаться;
Лиза! сладко пить с тобой,
С нимфой резвой и живой!
Ах! обнимемся руками,
Съединим уста с устами,
Души в пламени сольем,
То воскреснем, то умрем!..

Вы ль, други милые, со мною,
Под тенью тополей густою,
С златыми чашами в руках,
С любовью, с дружбой на устах?

Я, любовью упоенной,
Вас забыл, мои друзья,
Как сквозь облак вижу темной
Чаши золотой края!..
Лиза розою пылает,
Грудь любовию полна,
Улыбаясь наливает
Чашу светлого вина.
Мы потопим горесть нашу,
Други! в эту полну чашу,
Выпьем разом, и до дна,
Море светлого вина!

Друзья! уж месяц над рекою,
Почили рощи сладким сном;
Но нам ли здесь искать покою
С любовью, с дружбой и вином?
О, радость! радость! Вакх веселой
Толпу утех сзывает к нам;
А тут в одежде легкой, белой
Эрато гимн поет друзьям:
«Часы крылаты! не летите
И счастье мигом хоть продлите!»
Увы! бегут счастливы дни,
Бегут, летят стрелой они!
Ни лень, ни счастья наслажденья
Не могут их сдержать стремленья,
И время сильною рукой
Погубит радость и покой.
Луга веселые, зелены,
Ручьи кристальные и сад,
Где мшисты дубы, древни клены
Сплетают вечну тень прохлад,—
Ужель вас зреть не буду боле?
Ужели там, на ратном поле,
Судил мне рок сном вечным спать?
Свирель и чаша золотая
Там будут в прахе истлевать;

Покроет их трава густая,
Покроет, и ничьей слезой
Забвенный прах не окропится...
Заране должно ли крушиться?
Умру, и все умрет со мной!..
Но вы еще, друзья, со мною
Под тенью тополей густою,
С златыми чашами в руках,
С любовью, с дружбой на устах.

1806—1810

ОТВЕТ ГНЕДИЧУ

Твой друг тебе навек отныне
С рукою сердце отдает;
Он отслужил слепой богине,
Бесплодных матери сует.
Увы, мой друг! я в дни младые
Цирцеям также отслужил,
В карманы заглянул пустые,
Покинул мирт и меч сложил.
Пускай, кто честолюбьем болен,
Бросает с Марсом огнь и гром;
Но я — безвестностью доволен
В *сабинском* домике моем!
Там глиняны свои пенаты
Под сенью дружней съединим,
Поставим брашны небогаты,
А дни мечтой позолотим.
И если к нам любовь заглянет
В приют, где дружбы храм святой...
Увы! твой друг не перестанет
Еще ей жертвовать собой!
Как гость, весельем пресыщенный,
Роскошный покидает пир,
Так я, любовью упоенный,
Покину равнодушно мир!

1809—1810

ТИБУЛЛОВА ЭЛЕГИЯ X

Из I книги

Вольный перевод

Кто первый изострил железный меч и стрелы?
Жестокий! он изгнал в безвестные пределы
Мир сладостный и в ад открыл обширный путь!
Но он виновен ли, что мы на ближних грудь
За золото, за прах, железо устремляем,
А не чудовищей им диких поражаем?
Когда на пиршествах стоял сосуд святой
Из буковой коры меж утвари простой
И стол был отягчен избытком сельских брашен,
Тогда не знали мы щитов и твердых башен
И пастырь близ овец спокойно засыпал.
Тогда бы дни мои я радостьми считал,
Тогда б не чувствовал невольно трепетанье
При гласе бранных труб! О, тщетное мечтанье!
Я с Марсом на войне: быть может, лук тугой
Натянут на меня пернатою стрелой...

О боги! сей удар вы мимо пронесите,
Вы, лары отчески, от гибели спасите!
О вы, хранившие меня в тени своей,
В беспечности златой, от колыбельных дней,
Не постыдитеся, что лик богов священный,
Иссеченный из пня и пылью покровенный,
В жилище праотцев уединен стоит!
Не знали смертные ни злобы, ни обид,
Ни клятв нарушенных, ни почестей, ни злата,
Когда священный лик домашнего πената
Еще скудельный был на пепелище их!

Он благодатен нам, когда из чаш простых
Мы учиним пред ним обильны возлиянья
Иль на чело его, в знак мирного венчанья,
Возложим мы венки из миртов и лилей;
Он благодатен нам, сей мирный бог полей,
Когда на празднествах, в дни майские веселы,
С толпою чад своих оратай престарелый
Опресноки ему священны принесет,
А девы красные из улья чистый мед.
Спасите ж вы меня, отеческие боги,
От копий, от мечей! Вам дар несу убогий:
Кошницу полную Цערериных даров,
А в жертву — сей овен, краса моих лугов.
Я сам, увенчанный и в ризы облеченный,
Явлюсь наутрие пред ваш алтарь священный.
Пускай, скажу, в полях неистовый герой,
Обрызган кровию, выигрывает бой;
А мне — пусть благости сей буду я достоин —
О подвигах своих расскажет древний воин,
Товарищ юности, и, сидя за столом,
Мне лагерь начертит веселых чаш вином.
Почто же вызывать нам смерть из царства тени,
Когда в подземный дом везде равны ступени?
Она, как тать в ночи, невидимой стопой,
Но быстро гонится, и всюду за тобой!
И низведет тебя в те мрачные вертепы,
Где лает адский пес, где фурии свирепы
И кормчий в челноке на Стиксовых водах.
Там теней бледный полк толпится на брегах,
Власы обожжены, и впалы их ланиты!..
Хвала, хвала тебе, оратай домовитый!
Твой вечереет век средь сча́стливой семьи;
Ты сам, в тени дубрав, пасешь стада свои,
Супруга между тем трапезу учреждает,
Для омовенья ног сосуды нагревает
С кристальною водой. О, боги! если б я
Узрел еще мои родительски поля!
У светлого огня, с подругою младою,
Я б юность вспомянул за чашей круговою,
И были, и дела давно протекших дней!
Сын неба! светлый Мир! ты сам среди полей
Вола дебелого ярмом отягощаешь!
Ты благодать свою на нивы проливаешь

И в отческий сосуд, наследие сынов,
Лиешь багряный сок из Вакховых даров.
В дни мира острый плуг и заступ нам священны,
А меч, кровавый меч и шлемы оперенны
Снедает ржавчина безмолвно на стенах.
Оратай из лесу там едет на волах
С женою и с детьми, вином развеселенный!
Дни мира, вы любви игривой драгоценны!
Под знаменем ее воюем с красотой.
Ты плачешь, Ливия? Но победитель твой,
Смотри! у ног твоих колена преклоняет.
Любовь коварная украдкой подступает
И вот уж среди вас, размолвивших, сидит!
Пусть молния богов бесщадно поразит
Того, кто красоту обидел на сраженье!
Но счастлив, если мог в минутном исступленье
Венок на волосах каштановых измять
И пояс невзначай у девы развязать!
Счастлив, трикрат счастлив, когда твои угрозы
Исторгли из очей любви бесценны слезы!
А ты, взлелеянный средь копий и мечей,
Беги, кровавый Марс, от наших алтарей!

1809—1810

ПРИВИДЕНИЕ

Из Парни

Посмотрите! в двадцать лет
Бледность щеки покрывает,
С утром вянет жизни цвет;
Парка дни мои считает
И отсрочки не дает.
Что же медлить! Ведь Зевеса
Плач и стон не укротит.
Смерти мрачной занавеса
Упадет — и я забыт!
Я забыт... но из могилы,
Если можно воскресать,
Я не стану, друг мой милый,
Как мертвец, тебя пугать.
В час полуночных явлений
Я не стану в виде тени,
То внезапу, то тишком,
С воплем в твой являться дом.
Нет, по смерти невидимкой
Буду вкруг тебя летать;
На груди твоей под дымкой
Тайны прелести лобзать;
Стану всюду развевать
Легким уст прикосновеньем,
Как зефира дуновеньем,
От каштановых волос
Тонкий запах свежих роз.
Если лилия листами
Ко груди твоей прильнет,

Если яркими лучами
В камельке огонь блеснет,
Если пламень потаенный
По ланитам пробежал,
Если пояс сокровенный
Развязался и упал,—
Улыбнися, друг бесценный,
Это я! Когда же ты,
Сном закрыв прелестны очи,
Обнажишь во мраке ночи
Роз и лилий красоты,
Я вздохну... и глас мой томный,
Арфы голосу подобный,
Тихо в воздухе умрет.
Если ж легкими крылами
Сон глаза твои сомкнет,
Я невидимо с мечтами
Стану плавать над тобой.
Сон твой, Хлоя, будет долог...
Но, когда блеснет сквозь полог
Луч денницы золотой,
Ты проснешься... о, блаженство!
Я увижу совершенство...
Тайны прелести красот,
Где сам пламенный Эрот
Оттенил рукой своею
Розой девственну лилею.
Всё опять в моих глазах!
Все покровы исчезают;
Час блаженнейший!.. Но, ах!
Мертвые не воскресают.

1810

СТИХИ НА СМЕРТЬ ДАНИЛОВОЙ, ТАНЦОВЩИЦЫ С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ТЕАТРА*

Вторую Душеньку или еще прекрасней,
Еще, еще опасней,
Меж Терпсихориных любимиц усмотрев,
Венера не могла сокрыть жестокий гнев:
С мольбою к паркам приступила
И нас Даниловой лишила.

1810

* Она представляла Психею в славном балете „Амур и Психея“.

ИСТОЧНИК

Буря умолкла, и в ясной лазури
Солнце явилось на западе нам;
Мутный источник, след яростной бури,
С ревом и с шумом бежит по полям!
Зафна! Приближься: для девы невинной
Пальмы под тенью здесь роза цветет;
Падая с камня, источник пустынной
С ревом и с пеной сквозь дебри течет!

Дебри ты, Зафна, собой озарила!
Сладко с тобою в пустынных краях!
Песни любови ты мне повторила;
Ветер унес их на тихих крылах!
Голос твой, Зафна, как утра дыханье,
Сладостно шепчет, несясь по цветам.
Тише, источник! Прерви волнованье,
С ревом и с пеной стремясь по полям!

Голос твой, Зафна, в душе отозвался,
Вижу улыбку и радость в очах!..
Дева любви! я к тебе прикасался,
С медом пил розы на влажных устах!
Зафна краснеет?.. О друг мой невинной,
Тихо прижмися устами к устам!..
Будь же ты скромен, источник пустынной,
С ревом и с шумом стремясь по полям!

Чувствую персей твоих волнованье,
Сердца биенье и слезы в очах;
Сладостно девы стыдливой роптанье!
Зафна, о Зафна!.. смотри... там в водах

Быстро несется цветок розмаринный;
Воды умчались — цветочка уж нет!
Время быстрее, чем ток сей пустынный,
С ревом который сквозь дебри течет!

Время погубит и прелесть и младость!..
Ты улыбнулась, о дева любви!
Чувствуешь в сердце томленье и сладость,
Сильны восторги и пламень в крови!..
Зафна, о Зафна! там голубь невинной
С страстной подругой завидуют нам...
Вздохи любови — источник пустынной
С ревом и с шумом умчит по полям!

1810

К ПЕТИНУ

О любимец бога брани,
Мой товарищ на войне!
Я платил с тобою дани
Богу славы не одне:
Ты на кивере почтенном
Лавры с миртом сочетал;
Я в углу уединенном
Незабудки собирал.
Помнишь ли, питомец славы,
Индесальми? Страшну ночь?
Не люблю такой забавы,
Молвил я,— и с музой прочь!
Между тем как ты штыками
Шведов за лес провожал,
Я геройскими руками...
Ужин вам приготовлял.
Счастлив ты, шалун любезный,
И в цитерской стороне:
Я же, всюду бесполезный,
И в любви и на войне,—
Время жизни в скуке трачу,
За крылатый счастья миг
Ночь зеваю, утром плачу
Об утрате снов моих.
Тщетны слезы! Мне готова
Цепь, сотканна из сует;
От родительского крова
Я опять на море бед.
Мой челнок любовь слепая
Правит детскою рукой,

Между тем как лень, зевая,
На корме сидит со мной.
Может быть, как быстра младость
Убежит от нас бегом,
Я возьмусь за ум... да радость
Уживется ли с умом?
Ах, почто же мне заране,
Друг любезный, унывать?
Вся судьба моя в стакане!
Станем пить и воспевать:
«Счастлив! счастлив, кто цветами
Дни любови украшал,
Пел с беспечными друзьями,
А о счастии... мечтал!
Счастлив он и втрое боле
Всех вельможей и царей!
Так давай в безвестной доле,
Чужды рабства и цепей,
Кое-как тянуть жизнь нашу,
Часто с горем пополам,
Наливать полнее чашу
И смеяться дуракам!»

1810

НА ПЕРЕВОД «ГЕНРИАДЫ», ИЛИ ПРЕВРАЩЕНИЕ ВОЛЬТЕРА

«Что это! — говорил Плутон,—
Остановился Флегетон,
Мегера, фурии и Цербер онемели,
Внимая пенью твоему,
Певец бессмертный Габриели?
Умолкни!.. Но сему
Безбожнику в награду
Поищем страшных мук, ужасных даже аду,
Соделаем его
Гнуснее самого
Сизифа злова!»
Сказал и превратил, о ужас! в Ослякова.

Не позднее 1810

[П. А. ВЯЗЕМСКОМУ]

Льстец моей ленивой музы!
Ах, какие снова узы
На меня ты наложил?
Ты мою сонливу Лету
В Иордан преобратил
И, смеяся, мне, поэту,
Так кадилом накадил,
Что я в сладком упоеньи,
Позабыв стихотвореньи,
Задремал и видел сон:
Будто светлый Аполлон
И меня, шалун мой милой,
На берег реки унылой
Со стихами потащил
И *в забвенье* потопил!

1810

* * *

Известный откупщик Фаддей
Построил богу храм... и совесть успокоил.
И впрямь! На всё цены удвоил:
Дал богу медный грош, а сотни взял рублей
С людей.

1810

* * *

«Теперь, сего же дня
Прощай, мой экипаж и рыжих четверня!
Лизета! ужины!.. Я с вами распрощался
Навек для мудрости святой!»
«Что сделалось с тобой?»
«Безделка!.. Проигрался!»

1810

ИСТИННЫЙ ПАТРИОТ

«О, хлеб-соль русская! о прадед Филарет!
    О милые останки,
Упрямство дедушки и ферези прабабки!
    Без вас спасенья нет!
    А вы, а вы забыты нами!» —
    Вчера горланил Фирс с гостями
И, сидя у меня за лакомым столом,
В восторге пламенном, как истый витязь русский,
Съел соус, съел другой, а там сальмис французский,
А там шампанского хлебнул с бутылку он,
А там... подвинул стул и сел играть в бостон.

1810

СРАВНЕНИЕ

«Какое сходство Клит с Суворовым имел?»
　　«Нималого!» — «Большое».
«Помилуй! Клит был трус, от выстрела робел
　　И пекся об одном желудке и покое.
Великий вождь вставал с зарей для ратных дел,
　　А Клит спал часто по неделе».
«Все так! да умер он, как вождь сей... на постеле».

1810

ИЗ АНТОЛОГИИ

Сот меда с молоком —
И Маин сын тебе навеки благосклонен!
Алкид не так-то скромен:
Дай две ему овцы, дай козу и с козлом,
Тогда он на овец прольет благословенье
И в снедь не даст волкам.
Храню к богам почтенье,
А стада не отдам
На жертвоприношенье.
По совести! Одна мне честь —
Что волк его сожрал, что бог изволил съесть.

1810

СОВЕТ ЭПИЧЕСКОМУ СТИХОТВОРЦУ

Какое хочешь имя дай
Твоей поэме полудикой:
Петр длинный, Петр большой, но только Петр Великой —
Ее не называй.

1810

ОТЪЕЗД

Ты хочешь, горсткой фимиама
Чтоб жертвенник я твой почтил?
Для граций муза не упряма,
И я им лиру посвятил.

Я вижу, вкруг тебя толпятся
Вздыхатели — шумливый рой!
Как пчелы на цветок стремятся
Иль легки бабочки весной.

И Марс, высокий, в битвах смелый,
И Селадон плаксивый тут,
И юноша еще незрелый
Тебе сердечну дань несут.

Один — я видел — все вздыхает,
Другой, как мраморный, стоит,
Болтун сорокой не болтает,
Нахал краснеет и молчит.

Труды затейливой Арахны,
Сотканные в углу тайком,
Не столь для мух игривых страшны,
Как твой для нас волшебный дом.

Но я один, прелестна Хлоя,
Платить сей дани не хочу
И, осторожности удвоя,
На тройке в Питер улечу.

[*1810*]

СОН ВОИНОВ

Из поэмы Аснель и Аслега

Битва кончилась, ратники пируют вокруг зажженных дубов...

...Но вскоре пламень потухает,
И гаснет пепел черный пней,
И томный сон отягощает
Лежащих воев средь полей.
Сомкнулись очи; но призра́ки
Тревожат краткий их покой:
Иный лесов проходит мраки,
Зверей голодных слышит вой;
Иный на лодке легкой реет
Среди кипящих в море волн;
Веслом десница не владеет,
И гибнет в бездне бренный челн;
Иный места узрел знакомы,
Места отчизны, милый край!
Уж слышит псов домашних лай
И зрит отцов поля и домы
И нежных чад своих... Мечты!
Проснулся в бездне темноты!
Иный чудовище сражает —
Бесплодно меч его сверкает;
Махнул еще, его рука
Подъята вверх... окостенела;
Бежать хотел, его нога
Дрожит, недвижима, замлела;
Встает и пал! Иный плывет
Поверх прозрачных тихих вод
И пенит волны под рукою;
Волна, усиленна волною,

Клубится, пенится горой
И вдруг обрушилась, клокочет;
Несчастный борется с рекой,
Воззвать к дружине верной хочет —
И голос замер на устах!
Другой бежит на поле ратном,
Бежит, глотая пыль и прах;
Трикрат сверкнул мечом булатным,
И в воздухе недвижим меч!
Звеня упали латы с плеч...
Копье рамена прободает,
И хлещет кровь из них рекой;
Несчастный раны зажимает
Холодной, трепетной рукой!
Проснулся он... и тщетно ищет
И ран и вражьего копья.
Но ветр шумит и в роще свищет,
И волны мутного ручья
Подошвы скал угрюмых роют,
Клубятся, пенятся и воют
Средь дебрей снежных и холмов...

Не позднее 1811

СКАЛЬД

«Воспой нам песнь любви и брани,
О скальд, свидетель древних лет.
Твой меч тяжел для слабой длани,
Но глас века переживет!» .
«Отцов великих славны чада
(Егил героям отвечал),
Священных скальдов песнь — награда
Тому, кто в битвах славно пал;
И щит его и метки стрелы,
Они спасут от алчной Гелы.
Ах, мне ли петь? Мой глас исчез,
Как бури усыпленный ропот,
Который, чуть колебля лес,
Несет в долины томный шепот;
Но славны подвиги отцов
Живут в моем воспоминанье;
При тусклом зарева мерцанье
Прострите взор на ряд холмов,
На ветхи стены и могилы,
Покрыты мхом,— там ветр унылый
С усопших прахом говорит,
Там меч, копье и звонкий щит
Покрыты пылью и забвенны...
Остатки храброго священны!
Я их принес на гроб друзей,
На гроб Аскара и Елои!..
А вы, о юноши-герои,
Внемлите повести моей».

Не позднее 1811

НА СМЕРТЬ СУПРУГИ Ф. Ф. КОКОШКИНА

> Nell'età sua più bella e più fiorita...
> ...E viva, e bella al ciel salita.
>
> Petrarca [1].

Нет подруги нежной, нет прелестной Лилы!
Все осиротело!
Плачь, любовь и дружба, плачь, Гимен унылый!
Счастье улетело!

Дружба! ты всечасно радости цветами
Жизнь ее дарила;
Ты свою богиню с воплем и слезами
В землю положила.

Ты печальны тисы, кипарисны лозы
Насади вкруг урны!
Пусть приносит юность в дар чистейший слезы
И цветы лазурны!

Все вокруг уныло! Чуть зефир весенний
Памятник лобзает;
Здесь, в жилище плача, тихий смерти гений
Розу обрывает.

Здесь Гимен, прикован, бледный и безгласный,
Вечною тоскою,
Гасит у гробницы свой светильник ясный
Трепетной рукою!

1811

---

[1] В возрасте самом прекрасном, самом цветущем...
Живая и прекрасная вознеслась на небо.
Петрарка *(итал.)*.

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ Н. Н.

И телом и душой ты на Амура схожа:
Коварна, и умна, и столько же пригожа.

1811

[Н. И. ГНЕДИЧУ]

Сей старец, что всегда летает,
Всегда приходит, отъезжает,
Везде живет — и здесь и там,
С собою водит дни и веки,
Съедает горы, сушит реки
И нову жизнь дает мирам,—
Сей старец, смертных злое бремя,
Желанный всеми, страшный всем,
Крылатый, легкий, словом,—*время*,
Да будет в дружестве твоем
Всегда порукой неизменной
И, пробегая глупый свет,
На дружбы жертвенник священной
Любовь и счастье занесет!

1811

ФИЛОМЕЛА И ПРОГНА*

Из Лафонтена

Когда-то Прогна залетела
От башен городских, обители своей,
В леса пустынные, где пела
Сиротка Филомела,
И так сказала ей
Болтливая певица:
«Здорово, душенька сестрица!
Ни видом не видать тебя уж много лет!
Зачем забыла свет?
Зачем наш край не посещала?
Где пела, где жила? Куда и с кем летала?
Пора, пора и к нам
Залетом, по веснам;
Здесь скучно: все леса унылы,
И колоколен нет».
«Ах, мне леса и милы!» —
Печальный был ответ.
«Кому ж ты здесь поешь,— касатка возразила,—
В такой дали от жила,
От ласточек и от людей?
Кто слушает тебя? Стада глухих зверей
Иль хищных птиц собранье?
Сестра! грешно терять небесно дарованье
В безлюдной стороне.

---

* Филомела и Прогна — дочери Пандиона. Терей, супруг последней, влюбился в Филомелу, заключил ее в замок, во Фракии находящийся, обесчестил и отрезал язык. Боги, сжалившись над участию несчастных сестер, превратили Филомелу в соловья, а Прогну — в ласточку.

Признаться... здесь и страшно мне!
Смотри: песчаный бор, река, пустынны виды,
Гора, висяща над горой,
Как словно в Фракии глухой,
На мысль приводят нам Тереевы обиды.
И где же тут покой?»
«Затем-то и живу средь скучного изгнанья,
Боясь воспоминанья,
Лютейшего сто раз:
Людей боюсь у вас»,—
Вздохнув, сказала Филомела,
Потом: «Прости, прости!» — взвилась и улетела
Из ласточкиных глаз.

1811

[ОТРЫВОК ИЗ XXXIV ПЕСНИ «НЕИСТОВОГО ОРЛАНДА»]

Увы, мы носим все дурачества оковы
    И все терять готовы
Рассудок, бренный дар небесного отца!
Тот губит ум в любви, средь неги и забавы,
Тот, рыская в полях за дымом ратной славы,
Тот, ползая в пыли пред сильным богачом,
Тот, по морю летя за тирским багрецом,
Тот, золота искав в алхимии чудесной,
Тот, плавая умом во области небесной,
Тот, с кистию в руках, тот с млатом иль с резцом.
Астрономы в звездах, софисты за словами,
А жалкие певцы за жалкими стихами:
Дурачься, смертных род, в луне рассудок твой!

1811

* * *

Всегдашний гость, мучитель мой,
О Балдус! долго ль мне зевать, дремать с тобой?
Будь крошечку умней или — дай жить в покое!
Когда жестокий рок сведет тебя со мной —
Я не один, и нас не двое.

[*1811—1812*]

ДРУЖЕСТВО

Блажен, кто друга здесь по сердцу обретает,
Кто любит и любим чувствительной душой!
Тезей на берегах Коцита не страдает,—
С ним друг его души, с ним верный Пирифой.
Атридов сын в цепях, но зависти достоин!
С ним друг его, Пилад... под лезвием мечей.
А ты, младый Ахилл, великодушный воин,
Бессмертный образец героев и друзей!
Ты дружбою велик, ты ей дышал одною!
И, друга смерть отмстив бестрепетной рукою,
Счастлив! ты мертв упал на гибельный трофей!

1811—1812

МОИ ПЕНАТЫ

Послание к Жуковскому и Вяземскому

Отечески пенаты,
О пестуны мои!
Вы златом не богаты,
Но любите свои
Норы и темны кельи,
Где вас на новосельи
Смиренно здесь и там
Расставил по углам,
Где, странник я бездомный,
Всегда в желаньях скромный,
Сыскал себе приют.
О боги! будьте тут
Доступны, благосклонны!
Не вина благовонны,
Не тучный фимиам
Поэт приносит вам,
Но слезы умиленья,
Но сердца тихий жар
И сладки песнопенья,
Богинь пермесских дар!
О лары! уживитесь
В обители моей,
Поэту улыбнитесь —
И будет счастлив в ней!..
В сей хижине убогой
Стоит перед окном
Стол ветхой и треногой
С изорванным сукном.
В углу, свидетель славы
И суеты мирской,

Висит полузаржавый
Меч прадедов тупой;
Здесь книги выписные,
Там жесткая постель —
Всё утвари простые,
Всё рухлая скудель!
Скудель!.. Но мне дороже,
Чем бархатное ложе
И вазы богачей!..

Отеческие боги!
Да к хижине моей
Не сыщет ввек дороги
Богатство с суетой,
С наемною душой
Развратные счастливцы,
Придворные друзья
И бледны горделивцы,
Надутые князья!
Но ты, о мой убогой
Калека и слепой,
Идя путем-дорогой
С смиренною клюкой,
Ты смело постучися,
О воин, у меня,
Войди и обсушися
У яркого огня.
О старец, убеленный
Годами и трудом,
Трикраты уязвленный
На приступе штыком!
Двуструнной балалайкой
Походы прозвени
Про витязя с нагайкой,
Что в жупел и в огни
Летал перед полками,
Как вихорь на полях,
И вкруг его рядами
Враги ложились в прах!..
И ты, моя Лилета,
В смиренный уголок
Приди под вечерок
Тайком переодета!

Под шляпою мужской
И кудри золотые
И очи голубые,
Прелестница, сокрой!
Накинь мой плащ широкой,
Мечом вооружись
И в полночи глубокой
Внезапно постучись...
Вошла — наряд военный
Упал к ее ногам,
И кудри распущенны
Взвевают по плечам;
И грудь ее открылась
С лилейной белизной:
Волшебница явилась
Пастушкой предо мной!
И вот с улыбкой нежной
Садится у огня,
Рукою белоснежной
Склонившись на меня,
И алыми устами,
Как ветер меж листами,
Мне шепчет: «Я твоя,
Твоя, мой друг сердечной!..»
Блажен в сени беспечной,
Кто милою своей,
Под кровом от ненастья,
На ложе сладострастья,
До утренних лучей
Спокойно обладает,
Спокойно засыпает
Близ друга сладким сном!..

Уже потухли звезды
В сиянии дневном,
И пташки теплы гнезды,
Что свиты под окном,
Щебеча покидают
И негу отрясают
Со крылышек своих;
Зефир листы колышет,
И все любовью дышет
Среди полей моих;

Все с утром оживает,
А Лила почивает
На ложе из цветов...
И ветер тиховейной
С груди ее лилейной
Сдул дымчатый покров...
И в локоны златые
Две розы молодые
С нарциссами вплелись;
Сквозь тонкие преграды
Нога, ища прохлады,
Скользит по ложу вниз...
Я Лилы пью дыханье
На пламенных устах,
Как роз благоуханье,
Как нектар на пирах!..
Покойся, друг прелестной,
В объятиях моих!
Пускай в стране безвестной,
В тени лесов густых,
Богинею слепою
Забыт я от пелен,
Но дружбой и тобою
С избытком награжден!
Мой век спокоен, ясен;
В убожестве с тобой
Мне мил шалаш простой,
Без злата мил и красен
Лишь прелестью твоей!

Без злата и честей
Доступен добрый гений
Поэзии святой
И часто в мирной сени
Беседует со мной.
Небесно вдохновенье,
Порыв крылатых дум!
(Когда страстей волненье
Уснет... и светлый ум,
Летая в поднебесной,
Земных свободен уз,
В Аонии прелестной

Сретает хоры муз!)
Небесно вдохновенье,
Зачем летишь стрелой
И сердца упоенье
Уносишь за собой?
До розовой денницы
В отрадной тишине,
Парнасские царицы,
Подруги будьте мне!
Пускай веселы тени
Любимых мне певцов,
Оставя тайны сени
Стигийских берегов
Иль области эфирны,
Воздушною толпой
Слетят на голос лирный
Беседовать со мной!..
И мертвые с живыми
Вступили в хор един!..
Что вижу? Ты пред ними,
Парнасский исполин,
Певец героев, славы,
Вслед вихрям и громам,
Наш лебедь величавый,
Плывешь по небесам.
В толпе и муз и граций,
То с лирой, то с трубой,
Наш Пиндар, наш Гораций
Сливает голос свой.
Он громок, быстр и силен,
Как Суна средь степей,
И нежен, тих, умилен,
Как вешний соловей.
Фантазии небесной
Давно любимый сын,
То повестью прелестной
Пленяет Карамзин,
То мудрого Платона
Описывает нам
И ужин Агатона
И наслажденья храм,
То древню Русь и нравы
Владимира времян,

И в колыбели славы
Рождение славян.
За ними сильф прекрасной,
Воспитанник харит,
На цитре сладкогласной
О Душеньке бренчит;
Мелецкого с собою
Улыбкою зовет
И с ним, рука с рукою,
Гимн радости поет!..
С эротами играя,
Философ и пиит,
Близ Федра и Пильпая
Там Дмитриев сидит;
Беседуя с зверями,
Как счастливый дитя,
Парнасскими цветами
Скрыл истину шутя.
За ним в часы свободы
Поют среди певцов
Два баловня природы,
Хемницер и Крылов.
Наставники-пииты,
О Фебовы жрецы!
Вам, вам плетут хариты
Бессмертные венцы!
Я вами здесь вкушаю
Восторги пиерид
И в радости взываю:
О музы! я пиит!

А вы, смиренной хаты
О лары и пенаты!
От зависти людской
Мое сокройте счастье,
Сердечно сладострастье,
И негу и покой!
Фортуна, прочь с дарами
Блистательных сует!
Спокойными очами
Смотрю на твой полет:
Я в пристань от ненастья
Челнок мой проводил

И вас, любимцы счастья,
Навеки позабыл...
Но вы, любимцы славы,
Наперсники забавы,
Любви и важных муз,
Беспечные счастливцы,
Философы-ленивцы,
Враги придворных уз,
Друзья мои сердечны!
Придите в час беспечный
Мой домик навестить —
Поспорить и попить!
Сложи печалей бремя,
Жуковский добрый мой!
Стрелою мчится время,
Веселие — стрелой!
Позволь же дружбе слезы
И горесть усладить
И счастья блеклы розы
Эротам оживить.
О Вяземский! цветами
Друзей твоих венчай.
Дар Вакха перед нами:
Вот кубок — наливай!
Питомец муз надежный,
О Аристиппов внук!
Ты любишь песни нежны
И рюмок звон и стук!
В час неги и прохлады
На ужинах твоих
Ты любишь томны взгляды
Прелестниц записных.
И все заботы славы,
Сует и шум и блажь
За быстрый миг забавы
С поклонами отдашь.
О! дай же ты мне руку,
Товарищ в лени мой,
И мы... потопим скуку
В сей чаше золотой!
Пока бежит за нами
Бог времени седой
И губит луг с цветами

Безжалостной косой,
Мой друг! скорей за счастьем
В путь жизни полетим,
Упьемся сладострастьем
И смерть опередим;
Сорвем цветы украдкой
Под лезвием косы
И ленью жизни краткой
Продлим, продлим часы!
Когда же парки тощи
Нить жизни допрядут
И нас в обитель нощи
Ко прадедам снесут,—
Товарищи любезны!
Не сетуйте о нас,
К чему рыданья слезны,
Наемных ликов глас?
К чему сии куренья,
И колокола вой,
И томны псалмопенья
Над хладною доской?
К чему?.. Но вы толпами
При месячных лучах
Сберитесь и цветами
Усейте мирный прах;
Иль бросьте на гробницы
Богов домашних лик,
Две чаши, две цевницы
С листами повилик:
И путник угадает
Без надписей златых,
Что прах тут почивает
Счастливцев молодых!

1811—1812

К ЖУКОВСКОМУ

Прости, балладник мой!
Белева мирный житель!
Да будет Феб с тобой,
Наш давний покровитель!
Ты счастлив средь полей
И в хижине укромной.
Как юный соловей
В прохладе рощи темной
С любовью дни ведет,
Гнезда не покидая,
Невидимый поет,
Невидимо пленяя
Веселых пастухов
И жителей пустынных,—
Так ты, краса певцов,
Среди забав невинных
В отчизне золотой
Прелестны гимны пой!
О! пой, любимец счастья,
Пока веселы дни
И розы сладострастья
Кипридою даны
И роскошь золотая,
Все блага рассыпая
Обильною рукой,
Тебе подносит вины,
И портер выписной,
И сочны апельсины,
И с трюфлями пирог —
Весь Амальтеи рог,

Вовек неистощимый,
На жирный твой обед!
А мне... покоя нет!
Смотри! неумолимый
Домашний Гиппократ,
Наперсник парки бледной,
Попов слуга усердной,
Чуме и смерти брат,
Поклявшися латынью
И практикой своей,
Поит меня полынью
И супом из костей;
Без дальнего старанья
До смерти запоит
И к вам писать посланья
Отправит за Коцит!
Все в жизни изменило,
Что сердцу сладко льстило,
Все, все прошло, как сон:
Здоровье легкокрыло,
Любовь и Аполлон!
Я стал подобен тени,
К смирению сердец,
Сух, бледен, как мертвец;
Дрожат мои колени,
Спина дугой к земле,
Глаза потухли, впали,
И скорби начертали
Морщины на челе;
Навек исчезла сила
И доблесть прежних лет.
Увы, мой друг, и Лила
Меня не узнает.
Вчера с улыбкой злою
Мне молвила она
(Как древле Громобою
Коварный сатана):
«Усопший! мир с тобою!
Усопший, мир с тобою!»
Ах! это ли одно
Мне роком суждено
За древни прегрешенья?..
Нет, новые мученья,

Достойные бесов!
Свои стихотворенья
Читает мне Свистов;
И с ним певец досужий,
Его покорный бес,
Как он, на рифмы дюжий,
Как он, головорез!
Поют и напевают
С ночи до бела дня;
Читают и читают
И до смерти меня,
Убийцы, зачитают!..

1812

ОТВЕТ ТУРГЕНЕВУ

Ты прав! Поэт не лжец,
Красавиц воспевая.
Но часто наш певец,
В восторге утопая,
Рассудка строгий глас
Забудет для Армиды,
Для двух коварных глаз;
Под знаменем Киприды
Сей новый Дон Кишот
Проводит век с мечтами:
С химерами живет,
Беседует с духами,
С задумчивой луной
И мир смешит собой!
Для света равнодушен,
Для славы и честей,
Одной любви послушен,
Он дышит только ей.
Везде с своей мечтою,
В столице и в полях,
С поникшей головою,
С унынием в очах,
Как призрак бледный бродит;
Одно твердит, поет:
Любовь, любовь зовет...
И рифмы лишь находит!
Так! верно, Аполлон
Давно с любовью в ссоре,
И мститель Купидон
Судил поэтам горе.

Все нимфы строги к нам
За наши псалмопенья,
Как Дафна к богу пенья;
Мы лавр находим там
Иль кипарис печали,
Где счастья роз искали,
Цветущих не для нас.
Взгляните на Парнас:
Любовник строгой Лоры
Там в горести погас;
Скалы и дики горы
Его лишь знали глас
На берегах Воклюзы.
Там Душеньки певец,
Любимец нежный музы
И пламенных сердец,
Любил, вздыхал всечасно,
Везде искал мечты,
Но лирой сладкогласной
Не тронул красоты.
Лесбосская певица,
Прекрасная в женах,
Любви и Феба жрица,
Дни кончила в волнах...
И я — клянусь глазами,
Которые стихами
Мы взапуски поем,
Клянуся Хлоей в том,
Что русские поэты
Давно б на берег Леты
Толпами перешли,
Когда б скалу Левкада
В болота Петрограда
Судьбы перенесли!

1812

ХОР
ДЛЯ ВЫПУСКА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ СМОЛЬНОГО МОНАСТЫРЯ

Один голос

Прости, гостеприимный кров,
Жилище юности беспечной!
Где время средь забав, веселий и трудов
Как сон промчалось скоротечной.

Хор

Прости, гостеприимный кров,
Жилище юности беспечной!

Подруги! сердце в первый раз
Здесь чувства сладкие познало;
Здесь дружество навек златою цепью нас,
Подруги милые, связало...
Так! сердце наше в первый раз
Здесь чувства сладкие познало.

Виновница счастливых дней!
Прими сердец благодаренья:
К тебе летят сердца усердные детей
И тайные благословенья.
Виновница счастливых дней!
Прими сердец благодаренья!

Наш царь, подруги, посещал
Сие жилище безмятежно:
Он сам в глазах детей признательность читал
К его родительнице нежной.

Монарх великий посещал
Жилище наше безмятежно!

Простой, усердный глас детей
Прими, о боже, покровитель!
Источник новый благ и радости пролей
На мирную сию обитель.
И ты, о боже, глас детей
Прими, всесильный покровитель!

Мы чтили здесь от юных лет
Закон твой, благости зерцало;
Под сенью алтарей, тобой хранимый цвет,
Здесь юность наша расцветала.
Мы чтили здесь от юных лет
Закон твой, благости зерцало.

Финал

Прости же ты, священный кров,
Обитель юности беспечной,
Где время средь забав, веселий и трудов
Как сон промчалось скоротечной!
Где сердце в жизни в первый раз
От чувств веселья трепетало
И дружество навек златою цепью нас,
Подруги милые, связало!

1812

НА ПОЭМЫ ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ

Не странен ли судеб устав!
Певцы Петра — несчастья жертвы:
Наш Пиндар кончил жизнь, поэмы не скончав,
Другие живы все, но их поэмы мертвы!

[*1812*]

[НА ЧЛЕНОВ ВОЛЬНОГО ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ СЛОВЕСНОСТИ]

Гремит повсюду страшный гром,
Горами к небу вздуто море,
Стихии яростные в споре,
И тухнет *дальний солнцев дом,*
И звезды падают рядами.
Они покойны за столами,
Они покойны. Есть перо,
Бумага есть, и — все добро!
Не видят и не слышут
И все пером гусиным пишут!

1812

РАЗЛУКА

Гусар, на саблю опираясь,
В глубокой горести стоял;
Надолго с милой разлучаясь,
Вздыхая, он сказал:

«Не плачь, красавица! слезами
Кручине злой не пособить!
Клянуся честью и усами,
Любви не изменить!

Любви непобедима сила!
Она мой верный щит в войне;
Булат в руке, а в сердце Лила,—
Чего страшиться мне?

Не плачь, красавица! слезами
Кручине злой не пособить!
А если изменю... усами
Клянусь, наказан быть!

Тогда мой верный конь споткнися,
Летя во вражий стан стрелой,
Уздечка бранная порвися
И стремя под ногой!

Пускай булат в руке с размаха
Изломится, как прут гнилой,
И я, бледнея весь от страха,
Явлюсь перед тобой!»

Но верный конь не спотыкался
Под нашим всадником лихим,
Булат в боях не изломался —
И честь гусара с ним!

А он забыл любовь и слезы
Своей пастушки дорогой
И рвал в чужбине счастья розы
С красавицей другой.

Но что же сделала пастушка?
Другому сердце отдала.
Любовь красавицам игрушка,
А клятвы их — слова!

Все здесь, друзья! изменой дышет.
Теперь нет верности нигде!
Амур, смеясь, все клятвы пишет
Стрелою на воде.

1812—1813

К ДАШКОВУ

Мой друг! я видел море зла
И неба мстительного кары:
Врагов неистовых дела,
Войну и гибельны пожары.
Я видел сонмы богачей,
Бегущих в рубищах издранных,
Я видел бледных матерей,
Из милой родины изгнанных!
Я на распутье видел их,
Как, к персям чад прижав грудных,
Они в отчаянье рыдали
И с новым трепетом взирали
На небо рдяное кругом.
Трикраты с ужасом потом
Бродил в Москве опустошенной
Среди развалин и могил;
Трикраты прах ее священной
Слезами скорби омочил.
И там, где зданья величавы
И башни древние царей,
Свидетели протекшей славы
И новой славы наших дней;
И там, где с миром почивали
Останки иноков святых
И мимо веки протекали,
Святыни не касаясь их;
И там, где роскоши рукою,
Дней мира и трудов плоды,
Пред златоглавою Москвою
Воздвиглись храмы и сады,—

Лишь угли, прах и камней горы,
Лишь груды тел кругом реки,
Лишь нищих бледные полки
Везде мои встречали взоры!..
А ты, мой друг, товарищ мой,
Велишь мне петь любовь и радость,
Беспечность, счастье и покой
И шумную за чашей младость!
Среди военных непогод,
При страшном зареве столицы,
На голос мирныя цевницы
Сзывать пастушек в хоровод!
Мне петь коварные забавы
Армид и ветреных цирцей
Среди могил моих друзей,
Утраченных на поле славы!..
Нет, нет! Талант погибни мой
И лира, дружбе драгоценна,
Когда ты будешь мной забвенна,
Москва, отчизны край златой!
Нет, нет! Пока на поле чести
За древний град моих отцов
Не понесу я в жертву мести
И жизнь и к родине любовь;
Пока с израненным героем,
Кому известен к славе путь,
Три раза не поставлю грудь
Перед врагов сомкнутым строем,—
Мой друг, дотоле будут мне
Все чужды музы и хариты,
Венки, рукой любови свиты,
И радость шумная в вине!

1813

ПЕРЕХОД РУССКИХ ВОЙСК ЧЕРЕЗ НЕМАН 1 ЯНВАРЯ 1813 ГОДА

[*Отрывок из большого стихотворения*]

Снегами погребен, угрюмый Неман спал.
Равнину льдистых вод, и берег опустелый,
И на брегу покинутые села
Туманный месяц озарял.
Все пусто... Кое-где на снеге труп чернеет,
И брошенных костров огонь, дымяся, тлеет,
И хладный, как мертвец,
Один среди дороги
Сидит задумчивый беглец
Недвижим, смутный взор вперив на мертвы ноги.

И всюду тишина... И се, в пустой дали
Сгущенных копий лес возникнул из земли!
Он движется. Гремят щиты, мечи и брони,
И грозно в сумраке ночном
Чернеют знамена, и ратники, и кони:
Несут полки славян погибель за врагом,
Достигли Немана — и копья водрузили.
Из снега возросли бесчисленны шатры,
И на брегу зажженные костры
Все небо заревом багровым обложили.
И в стане царь младой
Сидел между вождями,
И старец-вождь пред ним, блестящий сединами
И бранной в старости красой.

[*1813*]

[ОТРЫВОК ИЗ ШИЛЛЕРОВОЙ ТРАГЕДИИ «DIE BRAUT VON MESSINA» (МЕССИНСКАЯ НЕВЕСТА)]

Донна Изабелла, дон Эммануил и дон Цезарь (ее дети).

Д. Изабелла
(выступая с сынами)

Проникни с горней высоты,
Заступница печальных смертных,
И сердце удержи мое
В границах должного смиренья!
Я матерь: в радости могу,
Взирая на сынов, забыться
И жертвой гордости упасть.
Ах, в первый жизни раз
Их совокупно обнимаю;
До сей минуты вожделенной
Таила в сердце глубоко
Горячность верную к сынам,
Равно для матери бесценным!
В объятьях одного другой
Мне должен был казаться мертвым;
Два сына мне дала судьба,
Но сердце, их любить, одно...
Ах, дети, молвите: могу ли
Вас обоих равно обнять
В восторгах радости безмерной?
(к д. Эммануилу)
Не раню ль ревность я твою,
Сжимая Цезареву руку?
(к д. Цезарю)
Скажи, обидели ль тебя
Любви моей ко брату знаки?

Я трепещу: моя любовь
В вас злобы пламень раздувает!
Чего мне ждать? Вещайте, дети!
С какою мыслию стеклись?
Иль древняя вражда воспрянет,
Непримиримая и здесь,
В дому родителей священном?
Или за прагом меч и нож,
И гнев, скрежещущий зубами,
Вас ожидают, несчастливцы?
Что шаг от матери, то смерть,
Что шаг, то новы преступленья!

Хор

Мир или злоба? Жребий не вынут;
Скрыто глубоко, что будет, от нас:
Меч иль оливу братья отринут —
Мы не трепещем и станем за вас!

Д. Изабелла

Какие злобны восклицанья!
Что мужи бранные хотят?
Или войну готовят здесь
У алтарей гостеприимных?
К чему мечи, когда с любовью
Здесь матерь обняла детей?
Или в объятиях ее
Страшитесь адския измены
И змий-предателей?.. Враги —
Так, не друзья — толпы наемных,
Слепые слуги мести вашей,
Раздор несущи по следам!
Нет, не друзья, не верьте им:
Не молвят доброго совета!
Одна боязнь и вечный страх
Куют им раболепны руки,
Всегда готовые на зло.
Вы научитесь, дети, знать
Сей род и низкий и строптивый:
Он кровожадный власти червь,
Он силы тайный поедатель!
О дети, сколь опасен мир:
Он полон лести и лукавства.

Какие узы прочны здесь?
Где постоянны человеки,
Поклонники корысти бренной?
Природа лишь одна верна
На якоре своем нетленном,
И счастлив тот, кому дает
Сопутником всей жизни брата!

Хор

Други, вещала вам правду она,
Ей вся открыта сердец глубина!
Мы же, как снасти лишенные челны,
Летим на погибель в житейские волны!

Д. Изабелла
(к д. Цезарю)

О ты, прижавший меч во длани,
Склонивший ниц ревнивый взор,
Воззри окрест и будь судья:
Кто брату красотой подобен?
(к д. Эммануилу)
Ответствуй мне; из сей толпы
Кто Цезаря затмит красою?
Вы оба, юноши, равно
Наделены рукой природы.
Молю, воззрите на себя,
Уверьтесь в истине очами!
Из тысячи твоя рука
Его как друга бы прижала
И братом сердце нарекло!
О, ослепление страстей,
Плод ревности и злости адской!
Когда судьбина в колыбели
Друг другом наделила вас,
Забыв родства и крови узы
В кипящих, как волкан, страстях,
К ногам повергнув дар природы,
Клевретов нарекли друзьями,
Врагам любовью поклялись!

Д. Эммануил

О, выслушай меня!

Д. Цезарь

(вступая в речь)

Дай слово
Мне молвить, матерь...

Д. Изабелла

Нет!
Слова не укротят вражды:
Здесь месть с обидою взаимны,
Здесь ненависть таится глубоко.
Кто знает, где огонь сей адский,
Объявший пламенем сердца,
Огонь ужасный, сокровенный,
Одетый лавой древних дней?
Обида с юной жизни здесь
Растет, мужает беспрестанно,
И муж за юношу — нам враг!
Увы, от младости безумной
Вы, братья, дышите на зло!
Лета б должны обезоружить
Враждующих. Воззрите вспять:
Где ненависти первой семя?
Среди гремушек, детских игр
И лепетания младенцев,
Там зла виновное начало,
Там горести источник вечный!
Но устыдитеся, вы — мужи!
(Берет обоих за руки.)
Желанный мною час настал!
Сойдитесь, милые! Решитесь
Вины взаимные забыть!
В душе великой, благородной
Прощенье выше всех побед.
В могилу древнего отца
Повергните вражды ехидну,
Готовую известь безумных;
Любви и миру дайте жизнь
И обновитеся сердцами!

(Отступает шаг назад, как будто желая дать место братьям приблизиться взаимно; но они оба неподвижны, взоры их устремлены в землю.)

Хор

Братья, почтите матери волю!
Слово святое вам зарекла:
Кончить годину мести и зла.
Братья, иль снова к ратному полю?
Слепо мы делим ваши судьбы:
Вы — властелины, мы же — рабы.

Д. Изабелла

(В молчании, несколько минут напрасно ожидая примирения братьев, говорит с чувством глубокой горести)

Довольно! Силу слов
И заклинаний истощила!
В могиле тот, кто мог владеть
Строптивыми сынов сердцами.
Что я? Увы, печальная вдова!
Мой глас — бессильный глас молитвы!
Довольно! Полная свобода:
Отдайтесь демону вражды
На гнев, на новые обиды!
Чего стыдиться вам? Жены,
Сих стен, сих алтарей безмолвных?
Под сенью их, где ваши колыбели
На радость некогда стояли,
Братоубийством осквернитесь,
Облейтесь кровию своей
И грудь на грудь, в неистовом пылу,
Как Полиник, как Этеокл проклятый,
Друг друга задушите вы
В объятиях, достойных ада... *

Хор

О ужас, что матерь вам здесь зарекла!
Годину печали, тревоги и зла,
А в жизни грядущей и скрежет и муки!
Да будут же чисты от гибели руки,
Да с миром вас примет родителей дом!
Смиритесь, о братья, есть на небе гром!

---

* Здесь нескольких стихов недостает. *(Прим. П. А. Вяземского.)*

Д. Цезарь
(не смотря на брата)

Ты — старший брат, начни же речь,
Я отвечать тебе готов!

Д. Эммануил
(в подобном положении)

Сам молви ласковое слово,
Ты — младший, дай любви пример!

Д. Цезарь

Не потому, что я виновен
Иль брата старшего слабей?

Д. Эммануил

Всем доблесть рыцаря известна:
Ты скромен, следственно не слаб.

Д. Цезарь

Или так мыслишь ты о брате
Воистину?

Д. Эммануил

Не знаю лжи;
Как ты, душою выше чванства.

Д. Цезарь

Презренья не могу снести;
Но ты в пылу жестокой распри
О брате низко не вещал!

Д. Эммануил

Моей ты смерти не алкал.
Я знаю: ты казнил монаха,
Что мне готовил тайно яд.

Д. Цезарь

О, если б брата прежде знал!
Что было... верно б, не случилось!

Д. Эммануил

Не зная сердца твоего,
Я матерь горестно обидел.

Д. Цезарь

Ты мне жестоким был описан.

Д. Эммануил

Несчастие; князей клевреты
Владеют тайно их душой!

Д. Цезарь
(быстро)

Всему виновники они...

Д. Эммануил

Два сердца разлучивши злобой...

Д. Цезарь

Наветом, хитрой клеветой...

Д. Эммануил

И ядом лести и коварства...

Д. Цезарь

Питая яростную рану...

Д. Эммануил

Нас сделали рабами их...

Д. Цезарь

Игралищем страстей чужих.

Д. Эммануил

Так, правда! чуждый друг неверен!

Д. Цезарь

Опасный: матерь нам вещала.

Д. Эммануил

Так дай же руку, милый брат!

Д. Цезарь

Она твоя навеки, брат!

Д. Эммануил

Чем боле на тебя смотрю,
Тем боле, с сладким удивленьем,
Сретаю матери черты...

Д. Цезарь

Вглядись, как сходен ты со мной:
Бесценное для брата сходство!

Д. Эммануил

Ты ль это, брат? Твои ли речи
И ласки к младшему, скажи?

Д. Цезарь

Ты ль это, юноша прелестный,
Столь злобный некогда мне враг?

Д. Эммануил

Как права, требуя коней
Из славного отца наследства,
Ты рыцаря прислал за ними,
И я дал рыцарю отказ.

Д. Цезарь

Они твои, не мыслю боле...

Д. Эммануил

Нет! нет! твои, и колесница...
Прими как брата первый дар!

Д. Цезарь

Приму, но ты сей твердый замок,
Воздвигнутый над морем шумным,
Вражды источник обоюдный,
Прими как дань любви моей!

Д. Эммануил

Я не приму, но вместе там,
Как братья, станем жить отныне!

Д. Цезарь

Ты прав, к чему добром делиться,
Когда два сердца заодно?

Д. Эммануил

Союзом будем мы сильнее;
Против врагов, против судьбины
Нам дружба неизменный щит!

Д. Цезарь

Отныне мой ты стал навеки!

Хор

Но что мы, клевреты, стоим в неприязни?
Примеры благие дают нам князья:
Сомкнем же десницы без низкой боязни
И будем отныне навеки друзья!

[*1813*]

ПЕВЕЦ В БЕСЕДЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО СЛОВА

Певец

Друзья! Все гости по домам!
От чтенья охмелели;
Конец и прозе и стихам
До будущей недели!
Мы здесь одни!.. Что делать? Пить
Вино из полной чаши!
Давайте взапуски хвалить
Славянски оды наши.

Сотрудники

Мы здесь одни... Что делать? Пить
(и проч.).

Певец

Сей кубок чадам древних лет!
Вам слава, наши деды!
Друзья! Почто покойных нет
Певцов среди Беседы!
Их вирши сгнили в кладовых,
Иль съедены мышами,
Иль продают на рынке в них
Салакушку с сельдями.
Но дух отцов воскрес в сынах,
Мы все для славы дышем,
Давно здесь в прозе и стихах,
Как Тредьяковский, пишем.

Сотрудники

Но дух отцов воскрес в сынах
(и проч.).

Певец

Чья тень парит под потолком
Над нашими главами?
За ней, пред ней... о, страх! кругом
Поэты со стихами!
Се Тредьяковский в парике
Засаленном, с кудрями,
С Телемахидою в руке,
С Ролленем за плечами!
Почто на нас, о муж седой!
Вперил ты грозны очи?
Мы все клялись, клялись тобой,
С утра до полуночи
Писать, как ты, тебе служить;
Мы все с рассудком в споре.
Для славы будем жить и пить,
Нам по колено море!
Напьемся пьяны музе в дань,
Так пили наши деды!
Рассудку — гибель, вкусу — брань,
Хвала — сынам Беседы!
Пусть Ломоносов был умен,
И нас еще умнее;
За пьянство стал бессмертен он,
А мы его пьянее.

Сотрудники

Для славы будем жить и пить.
Врагу беда и горе!
Почто рассудок нам щадить?
Нам по колено море.

Певец

Друзья! большой бокал отцов
За лавку Глазунова!
Там царство вечное стихов
Шихматова лихова.
Родного крова милый свет,

Знакомые подвалы,
Златые игры прежних лет —
Невинны мадригалы!
Что вашу прелесть заменит?
О лавка дорогая!
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?

Сотрудники

Что вашу прелесть заменит
(и проч.).

Певец

Там все знакомо для певцов,
Там наши дети милы,
Кладбище мирное стихов,
Бумажные могилы;
Там царство тленья и мышей,
Там Николев почтенный,
И древний прах календарей,
И прах газет священный.
Да здравствует Беседы царь!
Цвети твоя держава!
Бумажный трон твой — наш алтарь,
Пред ним обет наш — слава!
Не изменим: мы от отцов
Прияли глупость с кровью;
Сумбур! здесь сонм твоих сынов,
К тебе горим любовью!
Наш каждый писарь — славянин,
Галиматьею дышет,
Бежит, предатель сих дружин,
И галлицизмы пишет!

Сотрудники

Наш каждый писарь — славянин
(и проч.).

Певец

Тот наш, кто каждый день кадит
И нам молебны служит,—

Пусть публика его бранит,
  Но он о том не тужит!
За нас стоит гора горой,
  В Беседе не зевает.
Прямой сотрудник, брат прямой
  И в брани помогает!
Хвала тебе, славенофил,
  О муж неукротимой!
Ты здесь рассудок победил
  Рукой неутомимой.
О, сколь с наморщенным челом
  В Беседе он прекрасен,
И сколь он хладен пред столом
  И критикам ужасен!
Упрямство в нем старинных лет,
  Хвала седому деду!
Друзья! он, он родил на свет
  Славянскую Беседу!

Сотрудники

Он нас, сироток, воскормил!

Потемкин

Меня читать он учит.

Жихарев

Моих он «Бардов» похвалил.

Шихматов

Меня в Пиндары крючит.

Певец

Хвала тебе, о дед седой!
  Хвала и многи лета!
Ошую пусть сидит с тобой
  Осьмое чудо света,
Твой сын, наперсник и клеврет —
  Шихматов безглагольный.
Как ты, славян краса и цвет,
  Как ты, собой довольный!
Хвала тебе, о Шаховской,
  Холодных шуб родитель!

Отец талантов, муж прямой,
Ежовой покровитель!
Телец, упитанный у нас,
О ты, болван болванов!
Хвала тебе, хвала сто раз,
Раздутый Карабанов!
Хвала, читателей тиран,
Хвостов неистощимый!
Стихи твои — наш барабан,
Для слуха нестерпимый;
Везде с стихами ты готов,
Везде ты волком рыщешь,
Пускаешь притчу в тыл врагов,
Стихами в уши свищешь;
Лишь за поэму — прочь идут,
За оду — засыпают,
Ты за посланье — все бегут
И уши затыкают.
Хвала, псаломщик наш, старик,
Захаров-преложитель!
Ревет он так, как волк иль бык,
Лугов пустынных житель;
Хвала тебе, протяжный Львов,
Ковач речений смелый!
И Палицын, гроза певцов,
В Поповке поседелый!
Хвала, наш пасмурный Гервей,
Обруганный Станевич,
И с польской музыкой своей,
Халуй Анастасевич!
Друзья, сей полный ковш пивной
За здравье Соколова!
Он, право, чтец у нас лихой
И создан для Хвостова.
В его устах стихи ревут,
Как волны в уши плещут;
От грома их невольно тут
Все барыни трепещут.
Хвала, беседы сей дьячок,
Бездушный Политковский!
Жует, гнусит и вдруг стишок
Родит Славянорусский.

. . . .

. . . .

Их груди каменной хвала!
Хвала скуле железной!

Сотрудники

. . . .

. . . .

Их груди каменной хвала!
Хвала скуле железной!
Но месть тому, кто нас бранит
И пишет эпиграммы,
Кто пишет так, как говорит,
Кого читают дамы.

Певец

Сей кубок мщенью! Други! в строй!
И мигом — перья в длани!
Сразить иль пасть — наш роковой
Обет в чернильной брани.
Вотще свои, о Карамзин,
Ты издал сочиненья:
Я, я на Пинде властелин
И жажду лишь отмщенья!
Нет логики у нас в домах,
Грамматик не бывало;
Мы пролог в руки — гибни, враг,
С твоей дружиной вялой!
Отведай, дерзкий, что сильней —
Рассудок или мщенье;
Пришлец! мы в родине своей,
За глупых — провиденье!
Друзья! прощанью сей стакан,
Уж свечи погасили,
Пробили зорю в барабан,
К заутрени звонили;
Пора домой, пора ко сну,
От хмеля я шатаюсь.

Хвостов

Дай басню я прочту одну
И после распрощаюсь.

Все

Ах нет, друзья, домой, домой!
Чу... петухи пропели.
Прощай, Шишков, наш дед седой,
Прощай, мы охмелели —.
И ты нас в путь благослови.
А вы, друзья,— лобзанья!
В завет — и новыя любви
И нового свиданья.

1813

ЭЛЕГИЯ ИЗ ТИБУЛЛА

Вольный перевод

Месалла! Без меня ты мчишься по волнам
С орлами римскими к восточным берегам;
А я, в Феакии оставленный друзьями,
Их заклинаю всем, и дружбой, и богами,
Тибулла не забыть в далекой стороне!
Здесь парка бледная конец готовит мне,
Здесь жизнь мою прервет безжалостной рукою...
Неумолимая! Нет матери со мною!
Кто будет принимать мой пепел от костра?
Кто будет без тебя, о милая сестра,
За гробом следовать в одежде погребальной
И миро изливать над урною печальной?
Нет друга моего, нет Делии со мной,—
Она и в самый час разлуки роковой
Обряды тайные и чары совершала:
В священном ужасе бессмертных вопрошала
И жребий счастливый нам отрок вынимал.
Что пользы от того? Час гибельный настал,
И снова Делия, печальна и уныла,
Слезами полный взор невольно обратила
На дальный путь. Я сам, лишенный скорбью сил,
«Утешься»,— Делии сквозь слезы говорил;
«Утешься!» — и еще с невольным трепетаньем
Печальную лобзал последним лобызаньем.
Казалось, некий бог меня остановлял:
То ворон мне беду внезапно предвещал,
То в день, отцу богов, Сатурну, посвященной,
Я слышал гром глухой за рощей отдаленной.

О вы, которые умеете любить,
Страшитеся любовь разлукой прогневить!
Но, Делия, к чему Изиде приношенья,
Сии в ночи глухой протяжны песнопенья,
И волхованье жриц, и меди звучный стон?
К чему, о Делия, в безбрачном ложе сон
И очищения священною водою?
Все тщетно, милая, Тибулла нет с тобою.
Богиня грозная! спаси его от бед,
И снова Делия мастики принесет,
Украсит дивный храм весенними цветами
И с распущенными по ветру волосами,
Как дева чистая, во ткань облечена,
Воссядет на помост: и звезды и луна,
До восхождения румяныя Авроры,
Услышат глас ее и жриц Фарийских хоры.
Отдай, богиня, мне родимые поля,
Отдай знакомый шум домашнего ручья,
Отдай мне Делию: и вам дары богаты
Я в жертву принесу, о лары и пенаты!
Зачем мы не живем в златые времена?
Тогда беспечные народов племена
Путей среди лесов и гор не пролагали
И ралом никогда полей не раздирали;
Тогда не мчалась ель на легких парусах,
Несома ветрами в лазоревых морях,
И кормчий не дерзал по хлябям разъяренным
С сидонским багрецом и с золотом бесценным
На утлом корабле скитаться здесь и там.
Дебелый вол бродил свободно по лугам,
Топтал душистый злак и спал в тени зеленой;
Конь борзый не кропил узды кровавой пеной;
Не зрели на полях столпов и рубежей,
И кущи сельские стояли без дверей;
Мед капал из дубов янтарною слезою;
В сосуды молоко обильною струею
Лилося из сосцов питающих овец...
О мирны пастыри, в невинности сердец
Беспечно жившие среди пустынь безмолвных!
При вас, на пагубу друзей единокровных,
На наковальне млат не изваял мечей
И ратник не гремел оружьем средь полей.
О, век Юпитеров! О, времена несчастны!

Война, везде война, и глад, и мор ужасный;
Повсюду рыщет смерть, на суше, на водах...
Но ты, державший гром и молнию в руках!
Будь мирному певцу Тибуллу благосклонен.
Ни словом, ни душой я не был вероломен;
Я с трепетом богов отчизны обожал,
И, если мой конец безвременный настал,—
Пусть камень обо мне прохожим возвещает:
«Тибулл, Месаллы друг, здесь с миром почивает».
Единственный мой бог и сердца властелин,
Я был твоим жрецом, Киприды милый сын!
До гроба я носил твои оковы нежны,
И ты, Амур, меня в жилища безмятежны,
В Элизий, приведешь таинственной стезей,
Туда, где вечный май меж рощей и полей,
Где расцветает нард и киннамона лозы,
И воздух напоен благоуханьем розы;
Там слышно пенье птиц и шум биющих вод;
Там девы юные, сплетяся в хоровод,
Мелькают меж древес, как легки привиденья;
И тот, кого постиг, в минуту упоенья,
В объятиях любви неумолимый рок,
Тот носит на челе из свежих мирт венок.
А там, внутри земли, во пропастях ужасных
Жилище вечное преступников несчастных,
Там реки пламенны сверкают по пескам,
Мегера страшная и Тизифона там
С челом, опутанным шипящими змиями,
Бегут на дикий брег за бледными тенями.
Где скрыться? Адский пес лежит у медных врат,
Рыкает зев его... и рой теней назад!..
Богами ввержены во пропасти бездонны,
Ужасный Энкелад и Тифий преогромный
Питает жадных птиц утробою своей.
Там хищный Иксион, окованный змией,
На быстром колесе вертится бесконечно;
Там в жажде пламенной Тантал бесчеловечной
Над хладною рекой сгорает и дрожит...
Все тщетно! вспять вода коварная бежит,
И черпают ее напрасно Данаиды,
Все жертвы вечные карающей Киприды.
Пусть там страдает тот, кто рушил наш покой
И разлучил меня, о Делия, с тобой!

Но ты, мне верная, друг милый и бесценной,
И в мирной хижине, от взоров сокровенной,
С наперсницей любви, с подругою твоей,
На миг не покидай домашних алтарей.
При шуме зимних вьюг, под сенью безопасной,
Подруга в темну ночь зажжет светильник ясной
И, тихо веретено кружа в руке своей,
Расскажет повести и были старых дней.
А ты, склоняя слух на сладки небылицы,
Забудешься, мой друг, и томные зеницы
Закроет тихий сон, и прялица из рук
Падет... и у дверей предстанет твой супруг,
Как небом посланный внезапно добрый гений.
Беги навстречу мне, беги из мирной сени,
В прелестной наготе явись моим очам:
Власы развеянны небрежно по плечам,
Вся грудь лилейная и ноги обнаженны...
Когда ж Аврора нам, когда сей день блаженный
На розовых конях, в блистанье принесет
И Делию Тибулл в восторге обоймет?

Не позднее 1814

ПЛЕННЫЙ

В местах, где Рона протекает
    По бархатным лугам,
Где мирт душистый расцветает,
    Склонясь к ее водам,
Где на горах роскошно зреет
    Янтарный виноград,
Златый лимон на солнце рдеет,
    И яворы шумят,—

В часы вечерния прохлады
    Любуяся рекой,
Стоял, склоня на Рону взгляды
    С глубокою тоской,
Добыча брани, русский пленный,
    Придонских честь сынов,
С полей победы похищенный
    Один — толпой врагов.

«Шуми,— он пел,— волнами, Рона,
    И жатвы орошай,
Но плеском волн — родного Дона
    Мне шум напоминай!
Я в праздности теряю время,
    Душою в людстве сир,
Мне жизнь — не жизнь, без славы — бремя,
    И пуст прекрасный мир!

Весна вокруг живит природу,
    Яснеет солнца свет,
Все славит счастье и свободу,
    Но мне свободы нет!

Шуми, шуми волнами, Рона,
И мне воспоминай
На берегах родного Дона
Отчизны милый край!

Здесь прелесть — сельские девицы!
Их взор огнем горит
И сквозь потупленны ресницы
Мне радости сулит.
Какие радости в чужбине?
Они в родных краях,
Они цветут в моей пустыне
И в дебрях и в снегах.

Отдайте ж мне мою свободу!
Отдайте край отцов,
Отчизны вьюги, непогоду,
На родине мой кров,
Покрытый в зиму ярким снегом!
Ах! дайте мне коня,
Туда помчит он быстрым бегом
И день и ночь меня!

На родину, в сей терем древний,
Где ждет меня краса
И под окном, в часы вечерни,
Глядит на небеса,
О друге тайно помышляет...
Иль робкою рукой
Коня ретивого ласкает,
Тебя, соратник мой!

Шуми, шуми волнами, Рона,
И жатвы орошай;
Но плеском волн — родного Дона
Мне шум напоминай!
О ветры, с полночи летите
От родины моей,
Вы, звезды севера, горите
Изгнаннику светлей!»

Так пел наш пленник одинокой
В виду лионских стен,
Где юноше судьбой жестокой
Назначен долгий плен.
Он пел — у ног сверкала Рона,
В ней месяц трепетал,
И на златых верхах Лиона
Луч солнца догорал.

[*1814*]

ТЕНЬ ДРУГА

Sunt aliquid manes: letum non omnia finit;
Luridaque evictos effugit umbra rogos.

Propertius [1].

Я берег покидал туманный Альбиона:
Казалось, он в волнах свинцовых утопал.
За кораблем вилася гальциона,
И тихий глас ее пловцов увеселял.
Вечерний ветр, валов плесканье,
Однообразный шум и трепет парусов,
И кормчего на палубе взыванье
Ко страже, дремлющей под говором валов,—
Все сладкую задумчивость питало.
Как очарованный, у мачты я стоял
И сквозь туман и ночи покрывало
Светила севера любезного искал.
Вся мысль моя была в воспоминанье
Под небом сладостным отеческой земли,
Но ветров шум и моря колыханье
На вежды томное забвенье навели.
Мечты сменялися мечтами
И вдруг... то был ли сон?.. предстал товарищ мне,
Погибший в роковом огне
Завидной смертию, над плейсскими струями.
Но вид не страшен был; чело
Глубоких ран не сохраняло,
Как утро майское веселием цвело
И все небесное душе напоминало.

[1] Души усопших не призрак: не все кончается смертью;
Бледная тень ускользает, скорбный костер победив.
Проперций *(лат.)*.

«Ты ль это, милый друг, товарищ лучших дней!
Ты ль это? — я вскричал,— о воин вечно милой!
Не я ли над твоей безвременной могилой,
При страшном зареве Беллониных огней,
Не я ли с верными друзьями
Мечом на дереве твой подвиг начертал
И тень в небесную отчизну провождал
С мольбой, рыданьем и слезами?
Тень незабвенного! Ответствуй, милый брат!
Или протекшее все было сон, мечтанье;
Все, все — и бледный труп, могила и обряд,
Свершенный дружбою в твое воспоминанье?
О! Молви слово мне! Пускай знакомый звук
Еще мой жадный слух ласкает,
Пускай рука моя, о незабвенный друг!
Твою с любовию сжимает...»
И я летел к нему... Но горний дух исчез
В бездонной синеве безоблачных небес,
Как дым, как метеор, как призрак полуночи,
Исчез — и сон покинул очи.

Все спало вкруг меня под кровом тишины.
Стихии грозные казалися безмолвны.
При свете облаком подернутой луны
Чуть веял ветерок, едва сверкали волны.
Но сладостный покой бежал моих очей,
И все душа за призраком летела,
Все гостя горнего остановить хотела:
Тебя, о милый брат! о лучший из друзей!

1814

ХОР ЖЕН ВОИНОВ
ИЗ «СЦЕН ЧЕТЫРЕХ ВОЗРАСТОВ»

О, верные подруги!
Свиданья близок час.
Спешат, спешат супруги
Обнять с любовью нас.
Уже, веселья полны,
Летят чрез сини волны...
Свиданья близок час!
По суше рьяны кони
Полки героев мчат.
Звенят златые брони,
В руке блестит булат,
Шеломы их блистают,
Знамена развевают...
Свиданья близок час!

1814

НА РАЗВАЛИНАХ ЗАМКА В ШВЕЦИИ

Уже светило дня на западе горит
    И тихо погрузилось в волны!..
Задумчиво луна сквозь тонкий пар глядит
    На хляби и брега безмолвны.
И все в глубоком сне поморие кругом,
Лишь изредка рыбарь к товарищам взывает,
Лишь эхо глас его протяжно повторяет
    В безмолвии ночном.

Я здесь, на сих скалах, висящих над водой,
    В священном сумраке дубравы
Задумчиво брожу и вижу пред собой
    Следы протекших лет и славы:
Обломки, грозный вал, поросший злаком ров,
Столбы и ветхий мост с чугунными цепями,
Твердыни мшистые с гранитными зубцами
    И длинный ряд гробов.

Все тихо: мертвый сон в обители глухой,
    Но здесь живет воспоминанье,
И путник, опершись на камень гробовой,
    Вкушает сладкое мечтанье.
Там, там, где вьется плющ по лестнице крутой
И ветр колышет стебль иссохшия полыни,
Где месяц осребрил угрюмые твердыни
    Над спящею водой,—

Там воин некогда, Одена храбрый внук,
    В боях приморских поседелый,
Готовил сына в брань и стрел пернатых пук,
    Броню заветну, меч тяжелый

Он юноше вручил израненной рукой
И громко восклицал, подъяв дрожащи длани:
«Тебе он обречен, о бог, властитель брани,
Всегда и всюду твой!

А ты, мой сын, клянись мечом своих отцов
И Гелы клятвою кровавой
На западных струях быть ужасом врагов
Иль пасть, как предки пали, с славой!»
И пылкий юноша меч прадедов лобзал,
И к персям прижимал родительские длани,
И в радости, как конь, при звуке новой брани,
Кипел и трепетал.

Война, война врагам отеческой земли! —
Суда наутро восшумели.
Запенились моря, и быстры корабли
На крыльях бури полетели!
В долинах Нейстрии раздался браней гром,
Туманный Альбион из края в край пылает,
И Гела день и ночь в Валкалу провождает
Погибших бледный сонм.

Ах, юноша! спеши к отеческим брегам,
Назад лети с добычей бранной;
Уж веет кроткий ветр вослед твоим судам,
Герой, победою избранной!
Уж скальды пиршество готовят на холмах,
Уж дубы в пламени, в сосудах мед сверкает,
И вестник радости отцам провозглашает
Победы на морях.

Здесь, в мирной пристани, с денницей золотой
Тебя невеста ожидает,
К тебе, о юноша, слезами и мольбой
Богов на милость преклоняет...
Но вот в тумане там, как стая лебедей,
Белеют корабли, несомые волнами;
О, вей, попутный ветр, вей тихими устами
В ветрила кораблей!

Суда у берегов; на них уже герой
С добычей жен иноплеменных;
К нему спешит отец с невестою младой
И лики скальдов вдохновенных.
Красавица стоит, безмолствуя, в слезах,
Едва на жениха взглянуть украдкой смеет,
Потупя ясный взор, краснеет и бледнеет,
Как месяц в небесах...

И там, где камней ряд, седым одетый мхом,
Помост обрушенный являет,
Повременно сова в безмолвии ночном
Пустыню криком оглашает,—
Там чаши радости стучали по столам,
Там храбрые кругом с друзьями ликовали,
Там скальды пели брань, и персты их летали
По пламенным струнам.

Там пели звук мечей, и свист пернатых стрел,
И треск щитов, и гром ударов,
Кипящу брань среди опустошенных сел
И грады в зареве пожаров;
Там старцы жадный слух склоняли к песне сей,
Сосуды полные в десницах их дрожали,
И гордые сердца с восторгом вспоминали
О славе юных дней.

Но все покрыто здесь угрюмой ночи мглой,
Все время в прах преобратило!
Где прежде скальд гремел на арфе золотой,
Там ветер свищет лишь уныло!
Где храбрый ликовал с дружиною своей,
Где жертвовал вином отцу и богу брани,
Там дремлют, притаясь, две трепетные лани
До утренних лучей.

Где ж вы, о сильные, вы, галлов бич и страх,
Земель полнощных исполины,
Роальда спутники, на бренных челноках
Протекши дальные пучины?
Где вы, отважные толпы богатырей,
Вы, дикие сыны и брани и свободы,
Возникшие в снегах, средь ужасов природы,
Средь копий, средь мечей?

Погибли сильные! Но странник в сих местах
Не тщетно камни вопрошает
И руны тайные, останки на скалах
Угрюмой древности, читает.
Оратай ближних сел, склонясь на посох свой,
Гласит ему: «Смотри, о сын иноплеменный,
Здесь тлеют праотцев останки драгоценны:
Почти их гроб святой!»

1814

СУДЬБА ОДИССЕЯ

Средь ужасов земли и ужасов морей
Блуждая, бедствуя, искал своей Итаки
Богобоязненный страдалец Одиссей;
Стопой бестрепетной сходил Аида в мраки;
Харибды яростной, подводной Сциллы стон
   Не потрясли души высокой.
Казалось, победил терпеньем рок жестокой
И чашу горести до капли выпил он;
Казалось, небеса карать его устали
   И тихо сонного домчали
До милых родины давно желанных скал.
Проснулся он: и что ж? отчизны не познал.

1814

НОВЫЙ РОД СМЕРТИ

За чашей пуншевой, в политику с друзьями
Пустился Бавий наш, присяжный стихотвор.
Одомаратели все сделались судьями,
И каждый прокричал свой умный приговор,
Как ныне водится, Наполеону:
  «Сорвем с него корону!»
  «Повесим!» — «Нет, сожжем!»
«Нет, это жестоко... в Каэну отвезем
  И медленным отравим ядом».
«Очнется!» — «Как же быть?» — «Пускай истает гладом!»
«От жажды!..» — «Нет! — вскричал насмешливый Филон,—
Нет! с большей лютостью дни изверга скончайте!
На Эльбе виршами до смерти зачитайте,
Ручаюсь: с двух стихов у вас зачахнет он!»

1814

МЩЕНИЕ

Из Парни

Неверный друг и вечно милый!
Зарю моих счастливых дней,
И слезы радости, и клятвы легкокрылы —
Все время унесло с любовию твоей!
И все погибло невозвратно,
Как сладкая мечта, как утром сон приятной!
Но все любовью здесь исполнено моей
И клятвы страшные твои напоминает.
Их помнят и леса, их помнит и ручей,
И эхо томное их часто повторяет.
Взгляни: здесь в первый раз я встретился с тобой,
Ты здесь, подобная лилее белоснежной,
Взлелеянной в садах Авророй и весной,
Под сенью безмятежной,
Цвела невинностью близ матери твоей.
Вот здесь я в первый раз вкусил надежды сладость;
Здесь жертвы приносил у мирных алтарей.
Когда твою грозила младость
Болезнь жестокая во цвете погубить,
Здесь клялся, милый друг, тебя не пережить!
Но с новой прелестью ты к жизни воскресала
И в первый раз «люблю», краснеяся, сказала
(Тому сей дикий бор немый свидетель был).
Твоя рука в моей то млела, то пылала,
И первый поцелуй с душою душу слил.
Там взор потупленный назначил мне свиданье
В зеленом сумраке развесистых древес,
Где льется в воздухе сирен благоуханье
И облако цветов скрывает свод небес.

Там ночь ненастная спустила покрывало,
И страшно загремел над нами ярый гром;
Все небо в пламени зарделося кругом,
    И в роще сумрачной сверкало.
Напрасно! ты была в объятиях моих,
И к новым радостям ты воскресала в них!
О, пламенный восторг! О, страсти упоенье!
О, сладострастие... себя, всего забвенье!
С ее любовию утраченны навек! —
Вы будете всегда изменнице упрек.
    Воспоминанье ваше,
От времени еще прелестнее и краше,
Ее преступное блаженство помрачит
И сердцу за меня коварному отмстит
Неизлечимою, жестокою тоскою.
Так! всюду образ мой увидишь пред собою
Не в виде прежнего любовника в цепях,
Который с нежностью сквозь слезы упрекает
    И жребий с трепетом читает
    В твоих потупленных очах.
Нет, в лютой ревности карая преступленье,
Явлюсь, как бледное в полуночь привиденье,
И всюду следовать я буду за тобой:
В безмолвии лесов, в полях уединенных,
В веселых пиршествах, тобой одушевленных,
Где юность пылкая и взор считает твой.
В глазах соперника, на ложе Гименея —
Ты будешь с ужасом о клятвах вспоминать;
  При имени моем бледнея,
        Невольно трепетать.
Когда ж безвременно, с полей кровавой битвы,
К Коциту позовет меня судьбины глас,
Скажу: «Будь счастлива» — в последний жизни час, —
И тщетны будут все любовника молитвы!

1814—1815

ВАКХАНКА

Все на праздник Эригоны
Жрицы Вакховы текли;
Ветры с шумом разнесли
Громкий вой их, плеск и стоны.
В чаще дикой и глухой
Нимфа юная отстала;
Я за ней — она бежала
Легче серны молодой.
Эвры волосы взвивали,
Перевитые плющом,
Нагло ризы поднимали
И свивали их клубком.
Стройный стан, кругом обвитый
Хмеля желтого венцом,
И пылающи ланиты
Розы ярким багрецом,
И уста, в которых тает
Пурпуровый виноград,—
Все в неистовой прельщает,
В сердце льет огонь и яд!
Я за ней... она бежала
Легче серны молодой;
Я настиг — она упала!
И тимпан под головой!
Жрицы Вакховы промчались
С громким воплем мимо нас;
И по роще раздавались
Эвое! и неги глас!

[*1814—1815*]

СТРАНСТВОВАТЕЛЬ И ДОМОСЕД

Объехав свет кругом,
Спокойный домосед, перед моим камином
Сижу и думаю о том,
Как трудно быть своих привычек властелином;
Как трудно век дожить на родине своей
Тому, кто в юности из края в край носился,
Все видел, все узнал — и что ж? Из-за морей
Ни лучше, ни умней
Под кров домашний воротился:
Поклонник суетным мечтам,
Он осужден искать... чего — не знает сам!
О страннике таком скажу я повесть вам.

Два брата, Филалет и Клит, смиренно жили
В предместии Афин, под кровлею одной;
В довольстве,— не скажу, но с бодрою душой
Встречали день и ночь спокойно проводили,
Затем что по трудах всегда приятен сон.
Вдруг умер дядя их, афинский Гарпагон,
И братья-бедняки — о радость! — получили
Не помню сколько мин монеты золотой
Да кучу серебра: сосуды и амфоры
Отделки мастерской.
Наследственным добром свои насытя взоры,
Такие завели друг с другом разговоры:
«Как думаешь своей казной расположить? —
Клит спрашивал у брата.—
А я так дом хочу купить
И в нем тихохонько с женою век прожить
Под сенью отчего пената.

Землицы уголок не будет лишний нам:
От детства я люблю ходить за виноградом,
Водиться знаю с стадом,
И детям я мой плуг в наследство передам.
А ты как думаешь?» — «О! я с тобой несходен;
Я пресмыкаться неспособен
В толпе граждан простых
И с помощью наследства
Для дальних замыслов моих,
Благодаря богам, теперь имею средства!»
«Чего же хочешь ты?» — «Я?.. славен быть хочу».
«Но чем?» — «Как чем? — умом, делами,
И красноречьем, и стихами,
И мало ль чем еще? Я в Мемфис полечу
Делиться мудростью с жрецами:
Зачем сей создан мир? Кто правит им и как?
Где кончится земля? Где гордый Нил родится?
Зачем под пеленой сокрыт Изиды зрак,
Зачем горящий Феб все к западу стремится? —
Какое счастье, милый брат!
Я буду в мудрости соперник Пифагора!
В Афинах обо мне тогда заговорят,
В Афинах? Что сказал! От Нила до Босфора
Прославится твой брат, твой верный Филалет!
Какое счастье! десять лет
Я стану есть траву и нем как рыба буду;
Но красноречья дар, конечно, не забуду.
Ты знаешь, я всегда красноречив бывал
И площадь нашу посещал
Недаром.
Не стану я моим превозноситься даром,
Как наш Алкивиад, оратор слабых жен,
Или надутый Демосфен,
Кичася в пурпуре пред царскими послами.
Нет! нет! я каждого полезными речами
На площади градской намерен просвещать.
Ты сам, оставя плуг, придешь меня внимать.
С народом шумные восторги разделяя,
И слезы радости под мантией скрывая,
Красноречивейшим из греков называть.
Ты обоймешь меня дрожащею рукою,
Когда... поверишь ли? Гликерия сама
На площади с толпою

Меня провозгласит оракулом ума,
Ума и, может быть, любезности... Конечно,
Любезностью сердечной
Я буду нравиться и в сорок лет еще.
Тогда афиняне забудут Демосфена,
И Кратеса в плаще,
И бочку шута Диогена,
Которую, смотри... он катит мимо нас!»
«Прощай же, братец, в добрый час!
Счастливого пути к премудрости желаю,—
Клит молвил краснобаю,—
Я вижу, нам тебя ничем не удержать!»
Вздохнул, пожал плечьми и к городу опять
Пошел — домашний быт и домик снаряжать.
А Филалет? — К Пирею,
Чтоб судно тирское застать
И в Мемфис полететь с румяною зарею.
Признаться, он вздохнул, начавши Одиссею...
Но кто не пожалел об отческой земле,
Надолго расставаясь с нею?
Семь дней на корабле,
Зевая,
Проказник наш сидел
И на море глядел,
От скуки сам с собой вполголос рассуждая.
«Да где ж тритоны все? где стаи нереид?
Где скрылися они с толпой океанид?
Я ни одной не вижу в море!»
И не увидел их. Но ветер свежий вскоре
В Египет странника принес;
Уже он в Мемфисе, в обители чудес;
Уже в святилище премудрости вступает,
Как мумия сидит среди бород седых
И десять дней зевает
За поученьем их
О жертвах каменной Изиде,
Об Аписе-быке иль грозном Озириде,
О псах Анубису, о чесноке святом,
Усердно славимом на Ниле,
О кровожадном крокодиле
И... о коте большом!..
«Какие глупости! какое заблужденье!
Клянуся Пóллуксом! нет слушать боле сил!» —

Грек молвил, потеряв и важность и терпенье,
С скамьи как бешеный вскочил
И псу священному — о ужас! — наступил
На божескую лапу...
Скорее в руки посох, шляпу,
Скорей из Мемфиса бежать
От гнева старцев разъяренных,
От крокодилов, псов и луковиц священных
И между греков просвещенных
Любезной мудрости искать.
На первом корабле он полетел в Кротону.
В Кротоне бьет челом смиренно Агатону,
Мудрейшему из мудрецов,
Жестокому врагу и мяса и бобов
(Их в гневе Пифагор, его учитель славный,
Проклятьем страшным поразил,
Затем что у него желудок неисправный
Бобов и мяса не варил).
«Ты мудрости ко мне, мой сын, пришел учиться? —
У грека старец вопросил
С усмешкой хитрою,— итак, прошу садиться
И слушать пенье сфер: ты слышишь?» — «Ничего!»
«А видишь ли в девятом мире
Духов, летающих в эфире?»
«И менее того!»
«Увидишь, попостись ты года три, четыре,
Да лет с десяток помолчи;
Тогда, мой сын, тогда обнимешь бренным взором
Все тайной мудрости лучи;
Обнимешь, я тебе клянуся Пифагором...»
«Согласен, так и быть!»
Но греку шутка ли и день не говорить?
А десять лет молчать, молчать да все поститься —
Зачем? чтоб мудрецом,
С морщинным от поста и мудрости челом,
В Афины возвратиться?
О нет!
Чрез сутки возопил голодный Филалет:
«Юпитер дал мне ум с рассудком
Не для того, чтоб я ходил с пустым желудком;
Я мудрости такой покорнейший слуга;
Прощайте ж навсегда, кротонски берега!»—

Сказал и к Этне путь направил,—
За делом! чтоб на ней узнать, зачем и как
Изношенный башмак
Философ Эмпедокл пред смертью там оставил?
Узнал — и с вестью сей
Он в Грецию скорей
С усталой от забот и праздности душою.
Повсюду гость среди людей,
Везде за трапезой чужою,
Наш странник обходил
Поля, селения и грады,
Но счастия не находил
Под небом счастливым Эллады.
Спеша из края в край, он игры посещал,
Забавы, зрелища, ристанья
И даже прорицанья
Без веры вопрошал;
Но хижину отцов нередко вспоминал,
В ненастье по лесам бродя с своей клюкою,
Как червем, тайною снедаемый тоскою.
Притом же кошелек
У грека стал легок;
А ночью, как он шел через лаконски горы,
Отбили у него
И остальное воры.
Счастлив еще, что жизнь не отняли его!
«Но жизнь без денег что? Мученье нестерпимо!» —
Так думал Филалет,
Тащась полунагой в степи необозримой.
Три раза солнца свет
Сменялся мраком ночи,
Но странника не зрели очи
Ни жила, ни стези: повсюду степь и степь
Да гор в дали туманной цепь,
Илотов и воров ужасные жилища.
Что делать в горе? что начать?
Придется умирать
В пустыне, одному, без помощи, без пищи.
«Нет, боги, нет! —
Терзая грудь, вопил несчастный Филалет,—
Я знаю, как покинуть свет!
Не стану голодом томиться!»
И меж кустов реку завидя вдалеке,

Он бросился к реке —
Топиться!
«Что, что ты делаешь, слепец? —
Несчастному вскричал скептический мудрец,
Памфил седобородой,
Который над водой, любуяся природой,
Один с клюкой тихонько брел
И, к счастью, странника нашел
На крае гибельной напасти. —
Топиться хочешь ты? Согласен; но сперва
Поведай мне, твоя спокойна ль голова?
Рассудок ли тебя влечет в реку, иль страсти?
Рассудок: но его что нам вещает глас?
Что жизнь и смерть равны для нас.
Равны — так незачем топиться.
Дай руку мне, мой сын, и не стыдись учиться
У старца, чем мудрец здесь может быть счастлив».
Кто жить советует — всегда красноречив,
И наш герой остался жив.
В расселинах скалы, висящей над водою,
В тени приветливой смоковниц и олив,
Построен был шалаш Памфиловой рукою,
Где старец десять лет
Провел в молчании глубоком
И в вечность проницал своим орлиным оком,
Забыв людей и свет.
Вот там-то ужин иль обед
Простой, но очень здравый,
Находит Филалет:
Орехи, желуди и травы,
Большой сосуд воды — и только. Боже мой!
Как сладостно искать для трапезы такой
В утехах мудрости приправы!
Итак, в том дива нет, что с путником Памфил
Об атараксии * тотчас заговорил.
«Все призрак! — под конец хозяин заключил, —
Богатство, честь и власти,
Болезнь и нищета, несчастия и страсти,
И я, и ты, и целый свет —
Все призрак!» — «Сновиденье!» —
Со вздохом повторял унылый Филалет;

* Душевное спокойствие.

Но, глядя на сухой обед,
Вскричал: «Я голоден!» — «И это заблужденье,
Все грубых чувств обман; не сомневайся в том».
Неделю попостясь с брадатым мудрецом,
Наш *призрак* Филалет решился из пустыни
Отправиться в Афины.
Пора, пора блеснуть на площади умом!
Пора с философом расстаться,
Который нас недаром научил,
Как жить и в жизни сомневаться.
Услужливый Памфил
Монет с десяток сам бродяге предложил,
Котомкой с желудьми сушеными ссудил
И в час румяного рассвета
Сам вывел по тропам излучистым Тайгета
На путь афинский Филалета.
Вот странник наш идет и день и ночь один;
Проходит Арголиду,
Коринф и Мегариду;
Вот — Аттика, и вот — дым сладостный Афин,
Керамик с рощами... предместия начало...
Там... воды Иллиса!.. В нем сердце задрожало:
Он грек, то мудрено ль, что родину любил,
Что землю целовал с горячими слезами,
В восторге, вне себя, с деревьями, с домами
Заговорил!..
Я сам, друзья мои, дань сердца заплатил,
Когда, волненьями судьбины
В отчизну брошенный из дальных стран чужбины,
Увидел, наконец, адмиралтейский шпиц,
Фонтанку, этот дом... и столько милых лиц,
Для сердца моего единственных на свете!
Я сам... Но дело все теперь о Филалете,
Который, опершись на каферру, стоит
И ждет опять денницы
На милой площади аттической столицы.
Заметьте, милые друзья,
Что греки снаряжать тогда войну хотели;
С каким царем, не помню я,
Но знаю только то, что риторы гремели,
Предвестники народных бед.
Так речью их сразить желая, Филалет
Всех раньше на помост погибельный взмостился.

И вот блеснул Авроры свет,
А с ним и шум дневной родился.
Народ зашевелился.
В Афинах, как везде, час утра — час сует.
На площадь побежал ремесленник, поэт,
Поденщик, говорун, с товарами купчина,
Софист, архонт и Фрина
С толпой невольниц и сирен,
И бочку прикатил насмешник Диоген,—
На площадь всяк идет для дела и без дела,
Нахлынули — вся площадь закипела.
Вы помните, бульвар кипел в Париже так
Народа праздными толпами,
Когда по нем летал с нагайкою козак
Иль северный Амур с колчаном и стрелами.
Так точно весь народ толпился и жужжал
Перед ораторским амвоном.
Знак подан. Начинай! Рой шумный замолчал,
И ритор возвестил высокопарным тоном,
Что Аттике война
Погибельна, вредна;
Потом велеречиво, ясно
По пальцам доказал, что в мире быть... опасно.
«Что ж делать?» — закричал с досадою народ.
«Что делать?.. сомневаться.
Сомненье мудрости есть самый зрелый плод.
Я вам советую, граждане, колебаться —
И не мириться и не драться!..»
Народ всегда нетерпелив.
Сперва наш краснобай услышал легкий ропот,
Шушуканье, а там поближе громкий хохот,
А там... Но он стоит уже ни мертв ни жив,
Разинув рот, потупив взгляды,
Мертвее во сто раз, чем мертвецы баллады.
Еще проходит миг —
«Ну, что же? *продолжай!*» Оратор все ни слова:
От страха — где язык!
Зато какой в толпе поднялся страшный крик!
Какая туча там готова!
На кафедру летит град яблоков и фиг,
И камни уж свистят над жертвой...
И жалкий Филалет, избитый, полумертвой,

С ступени на ступень в отчаянье летит
И падает без чувств под верную защиту
В объятия отверсты... к Клиту! —
Итак, тщеславного спасает бедный Клит,
Простяк, неграмотный, презренный,
В Афинах дни влачить без славы осужденный!
Он, он, прижав его к груди,
Нахальных крикунов толкает на пути,
Одним грозит, у тех пощады просит
И брата своего, как старика Эней,
К порогу хижины своей
На раменах доносит.
Как брата в хижине лелеет добрый Клит!
Не сводит глаз с него, с ним сладко говорит
С простым, но сильным чувством.
Пред дружбой ничего и Гиппократ с искусством!
В три дни страдалец наш оправился и встал
И брату кинулся на шею со слезами.
А брат гостей назвал
И жертву воскурил пред отчими богами.
Весь домик в суетах! Жена и рой детей
Веселых, резвых и пригожих,
Во всем на мать свою похожих,
На пиршество несут для радостных гостей
Простой, но щедрый дар наследственных полей,
Румяное вино, янтарный мед Гимета —
И чаша поднялась за здравье Филалета!
«Пей, ешь и веселись, нежданный сердца гость!» —
Все гости заодно с хозяином вскричали.
И что же? Филалет, забыв народа злость,
Беды, проказы и печали,
За чашей круговой опять заговорил
В восторге о тебе, великолепный Нил!
А дней через пяток, не боле,
Наскуча видеть все одно и то же поле,
Все те же лица всякий день,
Наш грек,— поверите ль? — как в клетке стосковался.
Он начал по лесам прогуливать уж лень,
На горы ближние взбираться,
Бродить всю ночь, весь день шататься;
Потом Афины стал тихонько посещать,
На милой площади опять
Зевать,

С софистами о том, об этом толковать;
Потом... проведав он от старых грамотеев,
Что в мире есть страна,
Где вечно царствует весна,
За розами побрел — в снега Гипербореев.
Напрасно Клит с женой ему кричали вслед
С домашнего порога:
«Брат, милый, воротись, мы просим, ради бога!
Чего тебе искать в чужбине? новых бед?
Откройся, что тебе в отечестве не мило?
Иль дружество тебя, жестокий, огорчило?
Останься, милый брат, останься, Филалет!»
Напрасные слова — чудак не воротился,
Рукой махнул... и скрылся.

1814—1815

ПОСЛАНИЕ И. М. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

Ты прав, любимец муз! от первых впечатлений,
От первых, свежих чувств заемлет силу гений
И им в теченье дней своих не изменит!
Кто б ни был: пламенный оратор иль пиит,
Светильник мудрости, науки обладатель,
Иль кистью естества немого подражатель,
Наперсник муз,— познал от колыбельных дней,
Что должен быть жрецом парнасских алтарей.
Младенец счастливый, уже любимец Феба,
Он с жадностью взирал на свет лазурный неба,
На зелень, на цветы, на зыбку сень древес,
На воды быстрые и полный мрака лес.
Он, к лону матери приникнув, улыбался,
Когда веселый май цветами убирался
И жаворонок вился над зеленью полей.
Златая ль радуга, пророчица дождей,
Весь свод лазоревый подернет облистаньем —
Ее приветствовал невнятным лепетаньем,
Ее манил к себе младенческой рукой;
Что видел в юности, пред хижиной родной,
Что видел, чувствовал, как новый мира житель,
Того в душе своей, до поздних дней хранитель,
Желает в песнях муз потомству передать.
Мы видим первых чувств волшебную печать
В твореньях гения, испытанных веками:
Из мест, где Мантуа красуется лугами
И Минций в камышах недвижимый стоит,
От милых лар своих отторженный пиит,
В чертоги Августа судьбой перенесенной,
Жалел о вас, ручьи отчизны незабвенной,

О древней хижине, где юность провождал
И Титира свирель потомству передал.
Но там ли, где всегда роскошная природа
И раскаленный Феб с безоблачного свода
Обилием поля счастливые дарит,
Таланта колыбель и область пиерид?
Нет! Нет! И в Севере любимец их не дремлет,
Но гласу громкому самой природы внемлет,
Свершая славный путь, предписанный судьбой.
Природы ужасы, стихий враждебных бой,
Ревущие со скал угрюмых водопады,
Пустыни снежные, льдов вечные громады
Иль моря шумного необозримый вид —
Все, все возносит ум, все сердцу говорит
Красноречивыми, но тайными словами
И огнь поэзии питает между нами.
Близ Колы пасмурной, средь диких рыбарей
В трудах воспитанный уже от юных дней,
Наш Пиндар чувствовал сей пламень потаенный,
Сей огнь зиждительный, дар бога драгоценный,
От юности в душе небесного залог,
Которым Фебов жрец исполнен; как пророк,
Он сладко трепетал, когда сквозь мрак тумана
Стремился по зыбям холодным океана
К необитаемым, бесплодным островам
И мрежи расстилал по новым берегам.
Я вижу мысленно, как отрок вдохновенной
Стоит в безмолвии над бездной разъяренной
Среди мечтания и первых сладких дум,
Прислушивая волн однообразный шум...
Лицо горит его, грудь тягостно вздыхает,
И сладкая слеза ланиту орошает,
Слеза, известная таланту одному!
В красе божественной любимцу своему,
Природа! ты не раз на Севере являлась
И в пламенной душе навеки начерталась.
Исполненный всегда виденьем первых лет,
Как часто воспевал восторженный поэт:
«Дрожащий, хладный блеск полунощной Авроры
И льдяные, в морях носимы ветром, горы,
И Уну, спящую средь звонких камышей,
И день, чудесный день, без ночи, без зарей!..»
В Пальмире Севера, в жилище шумной славы,

Державин камские воспоминал дубравы,
Отчизны сладкий дым и древний град отцов.
На тучны пажити приволжских берегов
Как часто Дмитриев, расторгнув светски узы,
Водил нас по следам своей счастливой музы,
Столь чистой, как струи царицы светлых вод,
На коих в первый раз зрел солнечный восход
Певец сибирского Пизарра вдохновенный!..
Так, свыше нежною душою одаренный,
Пиит, от юности до cребряных вла́сов,
Лелеет в памяти страну своих отцов.
На жизненном пути ему дарует гений
Неиссякаемый источник наслаждений
Взамену счастия и скудных мира благ:
С ним муза тайная живет во всех местах
И в мире дивный мир любимцу созидает.
Пускай свирепый рок по воле им играет:
Пускай незнаемый, без злата и честей,
С главой поникшею он бродит меж людей;
Пускай Фортуною от детства удостоен,
Он будет судия, министр иль в поле воин,—
Но музам и себе нигде не изменит.
В самом молчании он будет все пиит.
В самом бездействии он с деятельным духом,
Все сильно чувствует, все ловит взором, слухом,
Всем наслаждается, и всюду, наконец,
Готовит Фебу дань его грядущий жрец.

1814—1815

К ДРУЗЬЯМ

Вот список мой стихов,
Который дружеству быть может драгоценен.
Я добрым гением уверен,
Что в сем Дедале рифм и слов
Недостает искусства:
Но дружество найдет мои, взамену, чувства,
Историю моих страстей,
Ума и сердца заблужденья,
Заботы, суеты, печали прежних дней
И легкокрылы наслажденья;
Как в жизни падал, как вставал,
Как вовсе умирал для света,
Как снова мой челнок Фортуне поверял...
И, словом, весь журнал
Здесь дружество найдет беспечного поэта,
Найдет и молвит так:
«Наш друг был часто легковерен;
Был ветрен в Пафосе; на Пинде был чудак;
Но дружбе он зато всегда остался верен;
Стихами никому из нас не докучал
(А на Парнасе это чудо!)
И жил так точно, как писал...
Ни хорошо, ни худо!»

1815

ТАВРИДА

Друг милый, ангел мой! сокроемся туда,
Где волны кроткие Тавриду омывают
И Фебовы лучи с любовью озаряют
Им древней Греции священные места.
Мы там, отверженные роком,
Равны несчастием, любовию равны,
Под небом сладостным полуденной страны
Забудем слезы лить о жребии жестоком;
Забудем имена Фортуны и честей.
В прохладе ясеней, шумящих над лугами,
Где кони дикие стремятся табунами
На шум студеных струй, кипящих под землей,
Где путник с радостью от зноя отдыхает
Под говором древес, пустынных птиц и вод,—
Там, там нас хижина простая ожидает,
Домашний ключ, цветы и сельский огород.
Последние дары Фортуны благосклонной,
Вас пламенны сердца приветствуют стократ!
Вы краше для любви и мраморных палат
Пальмиры Севера огромной!
Весна ли красная блистает средь полей,
Иль лето знойное палит иссохши злаки,
Иль, урну хладную вращая, водолей
Валит шумящий дождь, седый туман и мраки,—
О, радость! Ты со мной встречаешь солнца свет
И, ложе счастия с денницей покидая,
Румяна и свежа, как роза полевая,
Со мною делишь труд, заботы и обед.
Со мной в час вечера, под кровом тихой ночи
Со мной, всегда со мной; твои прелестны очи

Я вижу, голос твой я слышу, и рука
    В твоей покоится всечасно.
Я с жаждою ловлю дыханье сладострастно
Румяных уст, и если хоть слегка
Летающий Зефир власы твои развеет
И взору обнажит снегам подобну грудь,
    Твой друг не смеет и вздохнуть:
Потупя взор стоит, дивится и немеет.

1815

МОЙ ГЕНИЙ

О память сердца! ты сильней
Рассудка памяти печальной
И часто сладостью своей
Меня в стране пленяешь дальной.
Я помню голос милых слов,
Я помню очи голубые,
Я помню локоны златые
Небрежно вьющихся власов.
Моей пастушки несравненной
Я помню весь наряд простой,
И образ милый, незабвенной
Повсюду странствует со мной.
Хранитель гений мой — любовью
В утеху дан разлуке он:
Засну ль? приникнет к изголовью
И усладит печальный сон.

1815

РАЗЛУКА

Напрасно покидал страну моих отцов,
Друзей души, блестящие искусства
И в шуме грозных битв, под тению шатров
Старался усыпить встревоженные чувства.
Ах! небо чуждое не лечит сердца ран!
    Напрасно я скитался
Из края в край, и грозный океан
    Кругом меня роптал и волновался;
Напрасно, от брегов пленительных Невы
    Отторженный судьбою,
Я снова посещал развалины Москвы,
Москвы, где я дышал свободою прямою!
Напрасно я спешил от северных степей,
    Холодным солнцем освещенных,
В страну, где Тирас бьет излучистой струей,
Сверкая между гор, Церерой позлащенных,
И древние поит народов племена.
Напрасно: всюду мысль преследует одна
    О милой, сердцу незабвенной,
    Которой имя мне священно,
Которой взор один лазоревых очей
Все — неба на земле — блаженства отверзает
И слово, звук один, прелестный звук речей
    Меня мертвит и оживляет.

1815

ПРОБУЖДЕНИЕ

Зефир последний свеял сон
С ресниц, окованных мечтами,
Но я — не к счастью пробужден
Зефира тихими крылами.
Ни сладость розовых лучей
Предтечи утреннего Феба,
Ни кроткий блеск лазури неба,
Ни запах, веющий с полей,
Ни быстрый лет коня ретива
По скату бархатных лугов
И гончих лай и звон рогов
Вокруг пустынного залива —
Ничто души не веселит,
Души, встревоженной мечтами,
И гордый ум не победит
Любви холодными словами.

1815

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА

В полях блистает май веселый!
Ручей свободно зажурчал,
И яркий голос Филомелы
Угрюмый бор очаровал:
Все новой жизни пьет дыханье!
Певец любви, лишь ты уныл!
Ты смерти верной предвещанье
В печальном сердце заключил;
Ты бродишь слабыми стопами
В последний раз среди полей,
Прощаясь с ними и с лесами
Пустынной родины твоей.
«Простите, рощи и долины,
Родные реки и поля!
Весна пришла, и час кончины
Неотразимой вижу я!
Так! Эпидавра прорицанье
Вещало мне: в последний раз
Услышишь горлиц воркованье
И гальционы тихий глас:
Зазеленеют гибки лозы,
Поля оденутся в цветы,
Там первые увидишь розы,
И с ними вдруг увянешь ты.
Уж близок час... Цветочки милы,
К чему так рано увядать?
Закройте памятник унылый,
Где прах мой будет истлевать;
Закройте путь к нему собою
От взоров дружбы навсегда.

Но если Делия с тоскою
К нему приблизится, тогда
Исполните благоуханьем
Вокруг пустынный небосклон
И томным листьев трепетаньем
Мой сладко очаруйте сон!»
В полях цветы не увядали,
И гальционы в тихий час
Стенанья рощи повторяли;
А бедный юноша... погас!
И дружба слез не уронила
На прах любимца своего,
И Делия не посетила
Пустынный памятник его.
Лишь пастырь в тихий час денницы,
Как в поле стадо выгонял,
Унылой песнью возмущал
Молчанье мертвое гробницы.

[*1815*]

ВОСПОМИНАНИЯ

Отрывок

. . . .
Я чувствую, мой дар в поэзии погас,
И муза пламенник небесный потушила;
Печальна опытность открыла
Пустыню новую для глаз.
Туда влечет меня осиротелый гений,
В поля бесплодные, в непроходимы сени,
Где счастья нет следов,
Ни тайных радостей, неизъяснимых снов,
Любимцам Фебовым от юности известных,
Ни дружбы, ни любви, ни песней муз прелестных,
Которые всегда душевну скорбь мою,
Как лотос, силою волшебной врачевали.
Нет, нет! себя не узнаю
Под новым бременем печали!
Как странник, брошенный на брег из ярых волн,
Встает и с ужасом разбитый видит челн,
Рукою трепетной он мраки вопрошает,
Ногой скользит над пропастями он,
И ветер буйный развевает
Молений глас его, рыдания и стон...—
На крае гибели так я зову в спасенье
Тебя, последняя надежда, утешенье!
Тебя, последний сердца друг!
Средь бурей жизни и недуг
Хранитель ангел мой, оставленный мне богом!..
Твой образ я таил в душе моей залогом
Всего прекрасного... и благости творца,
Я с именем твоим летел под знамя брани

Искать иль славы, иль конца.
В минуты страшные чистейши сердца дани
Тебе я приносил на марсовых полях:
И в мире и в войне, во всех земных краях
Твой образ следовал с любовию за мною;
С печальным странником он неразлучен стал.
Как часто в тишине, весь занятый тобою,
В лесах, где Жувизи гордится над рекою
И Сейна по цветам льет сребреный кристалл,
Как часто средь толпы и шумной и беспечной,
В столице роскоши, среди прелестных жен,
Я пенье забывал волшебное сирен
И о тебе одной мечтал в тоске сердечной.
Я имя милое твердил
В прохладных рощах Альбиона
И эхо называть прекрасную учил
В цветущих пажитях Ричмона.
Места прелестные и в дикости своей,
О камни Швеции, пустыни скандинавов,
Обитель древняя и доблести и нравов!
Ты слышала обет и глас любви моей,
Ты часто странника задумчивость питала,
Когда румяная денница отражала
И дальные скалы гранитных берегов,
И села пахарей, и кущи рыбаков
Сквозь тонки, утренни туманы
На зеркальных водах пустынной Троллетаны.
. . . .

[*1815*]

* * *

Памфил забавен за столом,
Хоть часто и назло рассудку;
Веселостью обязан он желудку,
А памяти — умом.

1815

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ ГРАФА ЭММАНУИЛА СЕН-ПРИ

От родины его отторгнула судьбина;
Но лилиям отцов он всюду верен был:
И в нашем стане воскресил
Баярда древний дух и доблесть Дюгесклина.

1815

НАДЕЖДА

Мой дух! доверенность к творцу!
Мужайся, будь в терпенье камень.
Не он ли к лучшему концу
Меня провел сквозь бранный пламень?
На поле смерти чья рука
Меня таинственно спасала
И жадный крови меч врага
И град свинцовый отражала?
Кто, кто мне силу дал сносить
Труды, и глад, и непогоду,
И силу — в бедстве сохранить
Души возвышенной свободу?
Кто вел меня от юных дней
К добру стезею потаенной
И в буре пламенных страстей
Мой был вожатый неизменной?

Он! он! Его все дар благой!
Он есть источник чувств высоких,
Любви к изящному прямой
И мыслей чистых и глубоких!
Все дар его, и краше всех
Даров — надежда лучшей жизни!
Когда ж узрю спокойный брег,
Страну желанную отчизны?
Когда струей небесных благ
Я утолю любви желанье,
Земную ризу брошу в прах
И обновлю существованье?

[*1815*]

К ДРУГУ

Скажи, мудрец младой, что прочно на земли?
Где постоянно жизни счастье?
Мы область призраков обманчивых прошли,
Мы пили чашу сладострастья.

Но где минутный шум веселья и пиров?
В вине потопленные чаши?
Где мудрость светская сияющих умов?
Где твой Фалерн и розы наши?

Где дом твой, счастья дом?.. Он в буре бед исчез,
И место поросло крапивой;
Но я узнал его; я сердца дань принес
На прах его красноречивой.

На нем, когда окрест замолкнет шум градской
И яркий Веспер засияет
На темном севере, твой друг в тиши ночной
В душе задумчивость питает.

От самой юности служитель алтарей
Богини неги и прохлады,
От пресыщения, от пламенных страстей
Я сердцу в ней ищу отрады.

Поверишь ли? я здесь, на пепле храмин сих,
Венок веселия слагаю
И часто в горести, в волненье чувств моих,
Потупя взоры, восклицаю:

Минутны странники, мы ходим по гробам,
Все дни утратами считаем,
На крыльях радости летим к своим друзьям —
И что ж?.. их урны обнимаем.

Скажи, давно ли здесь, в кругу твоих друзей,
Сияла Лила красотою?
Благие небеса, казалось, дали ей
Все счастье смертной под луною:

Нрав тихий ангела, дар слова, тонкий вкус,
Любви и очи и ланиты,
Чело открытое одной из важных муз
И прелесть девственной хариты.

Ты сам, забыв и свет и тщетный шум пиров,
Ее беседой наслаждался
И в тихой радости, как путник средь песков,
Прелестным цветом любовался.

Цветок, увы! исчез, как сладкая мечта!
Она в страданиях почила
И, с миром в страшный час прощаясь навсегда,
На друге взор остановила.

Но дружба, может быть, ее забыла ты!..
Веселье слезы осушило,
И тень чистейшую дыханье клеветы
На лоне мира возмутило.

Так все здесь суетно в обители сует!
Приязнь и дружество непрочно!
Но где, скажи, мой друг, прямой сияет свет?
Что вечно чисто, непорочно?

Напрасно вопрошал я опытность веков
И Клии мрачные скрижали,
Напрасно вопрошал всех мира мудрецов:
Они безмолвны пребывали.

Как в воздухе перо кружится здесь и там,
Как в вихре тонкий прах летает,
Как судно без руля стремится по волнам
И вечно пристани не знает,—

Так ум мой посреди сомнений погибал.
Все жизни прелести затмились:
Мой гений в горести светильник погашал,
И музы светлые сокрылись.

Я с страхом вопросил глас совести моей...
И мрак исчез, прозрели вежды:
И вера пролила спасительный елей
В лампаду чистую надежды.

Ко гробу путь мой весь, как солнцем, озарен:
Ногой надежною ступаю
И, с ризы странника свергая прах и тлен,
В мир лучший духом возлетаю.

[*1815*]

ПЕСНЬ ГАРАЛЬДА СМЕЛОГО

Мы, други, летали по бурным морям,
От родины милой летали далеко!
На суше, на море мы бились жестоко;
И море и суша покорствуют нам!
О други! как сердце у смелых кипело,
Когда мы, содвинув стеной корабли,
Как птицы, неслися станицей веселой
Вкруг пажитей тучных Сиканской земли!..
А дева русская Гаральда презирает.

О други! я младость не праздно провел!
С сынами Дронтгейма вы помните сечу?
Как вихорь, пред вами я мчался навстречу
Под камни и тучи свистящие стрел.
Напрасно сдвигались народы; мечами
Напрасно о наши стучали щиты:
Как бледные класы под ливнем, упали
И всадник и пеший... владыка, и ты!..
А дева русская Гаральда презирает.

Нас было лишь трое на легком челне;
А море вздымалось, я помню, горами;
Ночь черная в полдень нависла с громами,
И Гела зияла в соленой волне.
Но волны напрасно, яряся, хлестали,
Я черпал их шлемом, работал веслом:
С Гаральдом, о други, вы страха не знали
И в мирную пристань влетели с челном!
А дева русская Гаральда презирает.

Вы, други, видали меня на коне?
Вы зрели, как рушил секирой твердыни,
Летая на бурном питомце пустыни
Сквозь пепел и вьюгу в пожарном огне?
Железом я ноги мои окрыляя,
И лань упреждаю по звонкому льду;
Я хладную влагу рукой рассекая,
Как лебедь отважный, по морю иду...
А дева русская Гаральда презирает.

Я в мирных родился полночи снегах;
Но рано отбросил доспехи ловитвы —
Лук грозный и лыжи — и в шумные битвы
Вас, други, с собою умчал на судах.
Не тщетно за славой летали далеко
От милой отчизны по диким морям;
Не тщетно мы бились мечами жестоко:
И море и суша покорствуют нам!
А дева русская Гаральда презирает.

1816

ПОСЛАНИЕ К ТУРГЕНЕВУ

О ты, который средь обедов,
Среди веселий и забав
Сберег для дружбы кроткий нрав,
Для дел — характер честный дедов!
О ты, который при дворе,
В чаду успехов или счастья,
Найти умел в одном добре
Души прямое сладострастье!
О ты, который с похорон
На свадьбы часто поспеваешь,
Но, бедного услыша стон,
Ушей не затыкаешь!
Услышь, мой верный доброхот,
Певца смиренного моленье,
Доставь крупицу от щедрот
Сироткам двум на прокормленье!
Замолви слова два за них
Красноречивыми устами:
Лишь дайте им! промолви — вмиг
Они очутятся с рублями.
Но кто *они?* — Скажу точь-в-точь
Всю повесть их перед тобою.
Они — вдова и дочь,
Чета, забытая судьбою.
Жил некто в мире сем Попов,
Царя усердный воин.
Был беден. Умер. От долгов
Он, следственно, спокоен.
Но в мире он забыл жену
С грудным ребенком и одну

Суму оставил им в наследство...
Но здесь не все для бедных бедство!
Им добры люди помогли,
Согрели, накормили
И, словом, как могли.
Сироток приютили.
Прекрасно! славно! спору нет!
Но... здешний свет
Не рай — мне сказывал мой дед.
Враги нахлынули рекою,
С землей сравнялася Москва...
И бедная вдова
Опять пошла с клюкою...
А между тем все дочь растет,
И нужды с нею подрастают.
День за день все идет, идет,
Недели, месяцы мелькают;
Старушка клонится, а дочь
Пышнее розы расцветает
И стала... Грация точь-в-точь!
Прелестный взор, глаза большие,
Румянец Флоры на щеках,
И кудри льняно-золотые
На алебастровых плечах.
Что слово молвит — то приятство,
Что ни наденет — все к лицу!
Краса — увы! — ее богатство
И все приданое к венцу,
А крохи нет насущной хлеба!
Тургенев, друг наш! Ради неба —
Приди на помощь красоте,
Несчастию и нищете!
Они пред образом, конечно,
Затеплят чистую свечу —
За чье здоровье,— умолчу:
Ты угадаешь, друг сердечной!

1816

К ЦВЕТАМ НАШЕГО ГОРАЦИЯ

Ни вьюги, ни морозы
Цветов твоих не истребят.
Бог лиры, бог любви и музы мне твердят:
В саду Горация не увядают розы.

1816

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ ЖУКОВСКОГО

Под знаменем Москвы пред падшею столицей
Он храбрым гимны пел, как пламенный Тиртей;
        В дни мира, новый Грей,
Пленяет нас задумчивой цевницей.

1816

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕЙН

Меж тем как воины вдоль идут по полям,
Завидя вдалеке твои, о Реин, волны,
  Мой конь, веселья полный,
От строя отделясь, стремится к берегам,
  На крыльях жажды прилетает,
  Глотает хладную струю
  И грудь усталую в бою
  Желанной влагой обновляет...

О, радость! я стою при реинских водах!
И, жадные с холмов в окрестность брося взоры,
  Приветствую поля, и горы,
И замки рыцарей в туманных облаках,
  И всю страну, обильну славой,
  Воспоминаньем древних дней,
  Где с Альпов вечною струей
  Ты льешься, Реин величавой!
Свидетель древности, событий всех времен,
О Реин, ты поил несчетны легионы,
  Мечом писавшие законы
  Для гордых Германа кочующих племен;
  Любимец счастья, бич свободы,
  Здесь Кесарь бился, побеждал,
  И конь его переплывал
  Твои священны, Реин, воды.

Века мелькнули: мир крестом преображен,
Любовь и честь в душах суровых пробудились.
  Здесь витязи вооружились
Копьем за жизнь сирот, за честь прелестных жен;

Тут совершались их турниры,
Тут бились храбрые — и здесь
Не умер, мнится, и поднесь
Звук сладкой трубадуров лиры.
Так, здесь под тению смоковниц и дубов,
При шуме сладостном нагорных водопадов,
В тени цветущих сел и градов
Восторг живет еще средь избранных сынов.
Здесь все питает вдохновенье:
Простые нравы праотцов,
Святая к родине любовь
И праздной роскоши презренье.

Все, все — и вид полей и вид священных вод,
Туманной древности и бардам современных,
Для чувств и мыслей дерзновенных
И силу новую и крылья придает.
Свободны, горды, полудики,
Природы верные жрецы,
Тевтонски пели здесь певцы...
И смолкли их волшебны лики.
Ты сам, родитель вод, свидетель всех времен,
Ты сам, до наших дней, спокойный, величавый,
С падением народной славы,
Склонил чело, увы! познал и стыд и плен...
Давно ли брег твой под орлами
Атиллы нового стенал
И ты уныло протекал
Между враждебными полками?

Давно ли земледел вдоль красных берегов,
Средь виноградников заветных и священных,
Полки встречал иноплеменных
И ненавистный взор зареинских сынов?
Давно ль они, кичася, пили
Вино из синих хрусталей
И кони их среди полей
И зрелых нив твоих бродили?
И час судьбы настал! Мы здесь, сыны снегов,
Под знаменем Москвы с свободой и с громами!..
Стеклись с морей, покрытых льдами,
От струй полуденных, от Каспия валов,

От волн Улеи и Байкала,
От Волги, Дона и Днепра,
От града нашего Петра,
С вершин Кавказа и Урала!..

Стеклись, нагрянули за честь своих граждан,
За честь твердынь, и сел, и нив опустошенных,
И берегов благословенных,
Где расцвело в тиши блаженство россиян,
Где ангел мирный, светозарной
Для стран полуночи рожден
И провиденьем обречен
Царю, отчизне благодарной.
Мы здесь, о Реин, здесь! ты видишь блеск мечей!
Ты слышишь шум полков и новых коней ржанье,
Ура победы и взыванье
Идущих, скачущих к тебе богатырей.
Взвивая к небу прах летучий,
По трупам вражеским летят
И вот — коней лихих поят,
Кругом заставя дол зыбучий.

Какой чудесный пир для слуха и очей!
Здесь пушек светла медь сияет за конями,
И ружья длинными рядами,
И стяги древние средь копий и мечей.
Там шлемы воев оперенны,
Тяжелой конницы строи,
И легких всадников рои —
В текучей влаге отраженны!
Там слышен стук секир — и пал угрюмый лес!
Костры над Реином дымятся и пылают!
И чаши радости сверкают,
И клики воинов восходят до небес!
Там ратник ратника объемлет;
Там точит пеший штык стальной;
И конный грозною рукой
Крылатый дротик свой колеблет.
Там всадник, опершись на светлу сталь копья,
Задумчив и один, на береге высоком
Стоит и жадным ловит оком
Реки излучистой последние края.

Быть может, он воспоминает
Реку своих родимых мест —
И на груди свой медный крест
Невольно к сердцу прижимает...
Но там готовится, по манию вождей,
Бескровный жертвенник средь гибельных трофеев,
И богу сильных Маккавеев
Коленопреклонен служитель алтарей:
Его, шумя, приосеняет
Знамен отчизны грозный лес,
И солнце юное с небес
Алтарь сияньем осыпает.

Все крики бранные умолкли, и в рядах
Благоговение внезапу воцарилось,
Оружье долу преклонилось,
И вождь, и ратники чело склонили в прах:
Поют владыке вышней силы,
Тебе, подателю побед,
Тебе, незаходимый свет!
Дымятся мирные кадилы.
И се подвигнулись — валит за строем строй!
Как море шумное, волнуется все войско;
И эхо вторит крик геройской,
ДоселЬ неслышанный, о Реин, над тобой!
Твой стонет брег гостеприимной,
И мост под воями дрожит!
И враг, завидя их, бежит,
От глаз в дали теряясь дымной!..

[*1816—1817*]

ГЕЗИОД И ОМИР — СОПЕРНИКИ

Посвящено А. Н. О. Любителю древности.

Народы, как волны, в Халкиду текли,
Народы счастливой Эллады!
Там сильный владыка, над прахом отца
Оконча печальны обряды,
Ристалище славы бойцам отверзал.
Три раза с румяной денницей
Бойцы выступали с бойцами на бой;
Три раза стремили возницы
Коней легконогих по звонким полям,
И трижды владетель Халкиды
Достойным оливны венки раздавал.
Но солнце на лоно Фетиды
Склонялось, и новый готовился бой.
Очистите поле, возницы!
Спешите! Залейте студеной струей
Пылающи оси и спицы,
Коней отрешите от тягостных уз
И в стойлы прохладны ведите;
Вы, пылью и потом покрыты, бойцы,
При пламени светлом вздохните,
Внемлите, народы, Эллады сыны,
Высокие песни внемлите!

Пройдя из края в край гостеприимный мир,
Летами древними и роком удрученный,
Здесь песней царь, Омир,
И юный Гезиод, каменам драгоценный,
Вступают в славный бой.
Колебля маслину священную рукой,

Певец Аскреи гимн высокий начинает
(Он с лирой никогда свой глас не сочетает).

Гезиод

Безвестный юноша, с стадами я бродил
Под тенью пальмовой близ чистой Иппокрены,
Там пастыря нашли прелестные камены,
И я в обитель их священную вступил.

Омир

Мне снилось в юности: орел громометатель
От Мелеса меня играючи унес
На край земли, на край небес,
Вещая: ты земли и неба обладатель.

Гезиод

Там лавры хижину простую осенят,
В пустынях процветут Темпейские долины,
Куда вы бросите свой благотворный взгляд,
О нежны дочери суровой Мнемозины!

Омир

Хвала отцу богов! Как ясный свод небес
Над царством высится плачевного Эреба,
Как радостный Олимп стоит превыше неба,—
Так выше всех богов властитель их, Зевес!..

Гезиод

В священном сумраке, в сиянии Дианы,
Вы, музы, любите сплетаться в хоровод
Или, торжественный в Олимп свершая ход,
С бессмертными вкушать напиток Гебы рьяный...

Омир

Не знает смерти он: кровь алая тельцов
Не брызнет под ножом над Зевсовой гробницей;
И кони бурные со звонкой колесницей
Пред ней не будут прах крутить до облаков.

Гезиод

А мы все смертные, все паркам обреченны,
Увидим области подземного царя
И реки спящие, Тенаром заключенны,
Не льющи дань свою в бездонные моря.

Омир

Я приближаюся к мете сей неизбежной.
Внемли, о юноша! ты пел Труды и Дни...
Для старца ветхого уж кончились они!

Гезиод

Сын дивный Мелеса! И лебедь белоснежной
На синем Стримоне, провидя страшный час,
Не слаще твоего поет в последний раз!
Твой гений проницал в Олимп: и вечны боги
Отверзли для тебя заоблачны чертоги.
И что ж? В юдоли сей страдалец искони,
Ты роком обречен в печалях кончить дни.
Певец божественный, скитаяся, как нищий,
В печальном рубище, без крова и без пищи,
Слепец всевидящий! ты будешь проклинать
И день, когда на свет тебя родила мать!

Омир

Твой глас подобится амврозии небесной,
Что Геба юная сапфирной чашей льет.
Певец! в устах твоих поэзии прелестной
Сладчайший Ольмия благоухает мед.
Но... Муз любимый жрец!.. страшись руки злодейской,
Страшись любви, страшись Эвбеи берегов:
Твой близок час: увы! тебя Зевес Немейской,
Как жертву славную готовит для врагов.

Умолкли. Облако печали
Покрыло очи их... Народ рукоплескал.
Но снова сладкий бой поэты начинали
При шуме радостных похвал.
Омир, возвыся глас, воспел народов брани,
Народов, гибнущих по прихоти царей;
Приама древнего, с мольбой несуща дани
Убийце грозному и кровных и детей;
Мольбу смиренную и быструю обиду,
Харит и легких ор, и страшную эгиду,
Нептуна области, Олимп и дикий ад.
А юный Гезиод, взлелеянный Парнасом,
С чудесной прелестью воспел веселым гласом
Весну роскошную — сопутницу гиад,

Как Феб торжественно вселенну обтекает,
Как дни и месяцы родятся в небесах,
Как нивой золотой Церера награждает
Труды годичные оратая в полях.
Заботы сладкие при сборе винограда;
Тебя, желанный мир, лелеятель долин,
Благословенных сел, и пастырей, и стада
Он пел. И слабый царь, Халкиды властелин,
От самой юности воспитанный средь мира,
Презрел высокий гимн бессмертного Омира
И пальму первенства сопернику вручил.
Счастливый Гезиод в награду получил
За песни, мирною каменой вдохновенны,
Сосуды сребряны, треножник позлащенный
И черного овна, красу веселых стад.
За ним, пред ним сыны ахейские, как волны,
На край ристалища обширного спешат,
Где победитель сам, благоговенья полный,
При возлияниях, овна младую кровь
Довременно богам подземным посвящает
И музам светлые сосуды предлагает
Как дар, усердный дар певца за их любовь.
До самой старости преследуемый роком,
Но духом царь, не раб разгневанной судьбы,
Омир скрывается от суетной толпы,
Снедая грусть свою в молчании глубоком.
Рожденный в Самосе убогий сирота
Слепца из края в край, как сын усердный, водит;
Он с ним пристанища в Элладе не находит...
И где найдут его талант и нищета?

1816—1817

УМИРАЮЩИЙ ТАСС

Элегия

...E come alpestre e rapido torrente,
Come acceso baleno
In notturno sereno,
Come aura o fumo, o come stral repente,
Volan le nostre fame: ed ogni onore
Sembra languido fiore!
Che più spera, o che s'attende omai?
Dopo trionfo e palma
Sol qui restano all'alma
Lutto e lamenti, e lagrimosi lai.
Che più giova amicizia o giova amore!
Ahi lagrime! ahi dolore!

Torrismondo, Tragedia di T. Tasso [1].

Какое торжество готовит древний Рим?
Куда текут народа шумны волны?
К чему сих аромат и мирры сладкий дым,
Душистых трав кругом кошницы полны?
До Капитолия от Тибровых валов,
Над стогнами всемирныя столицы,

[1] ...Подобно быстрому горному потоку,
Подобно зарнице, вспыхнувшей
В ясных ночных небесах,
Подобно ветерку, или дыму, или стремительной стреле
Проносится наша слава; всякая почесть
Похожа на хрупкий цветок!
На что надеешься, чего ждешь ты сегодня?
После триумфа и пальмовых ветвей
Только одно осталось душе —
Печаль, и жалобы, и слезные пени.
Что мне в дружбе и что мне в любви!
О, слезы! О, горе!

«Торрисмондо», трагедия Т. Тассо *(итал.)*.

К чему раскинуты средь лавров и цветов
Бесценные ковры и багряницы?
К чему сей шум? К чему тимпанов звук и гром?
Веселья он или победы вестник?
Почто с хоругвией течет в молитвы дом
Под митрою апостолов наместник?
Кому в руке его сей зыблется венец,
Бесценный дар признательного Рима?
Кому триумф? Тебе, божественный певец!
Тебе сей дар... певец Ерусалима!
И шум веселия достиг до кельи той,
Где борется с кончиною Торквато,
Где над божественной страдальца головой
Дух смерти носится крылатой.
Ни слезы дружества, ни иноков мольбы,
Ни почестей столь поздние награды —
Ничто не укротит железныя судьбы,
Не знающей к великому пощады.
Полуразрушенный, он видит грозный час,
С веселием его благословляет,
И, лебедь сладостный, еще в последний раз
Он, с жизнию прощаясь, восклицает:

«Друзья, о дайте мне взглянуть на пышный Рим,
Где ждет певца безвременно кладбище!
Да встречу взорами холмы твои и дым,
О древнее квиритов пепелище!
Земля священная героев и чудес!
Развалины и прах красноречивый!
Лазурь и пурпуры безоблачных небес,
Вы, тополи, вы, древние оливы,
И ты, о вечный Тибр, поитель всех племен,
Засеянный костьми граждан вселенной —
Вас, вас приветствует из сих унылых стен
Безвременной кончине обреченной!

Свершилось! Я стою над бездной роковой
И не вступлю при плесках в Капитолий,
И лавры славные над дряхлой головой
Не усладят певца свирепой доли.
От самой юности игралище людей,
Младенцем был уже изгнанник;

Под небом сладостным Италии моей
Скитаяся, как бедный странник,
Каких не испытал превратностей судеб?
Где мой челнок волнами не носился?
Где успокоился? Где мой насущный хлеб
Слезами скорби не кропился?
Сорренто! Колыбель моих несчастных дней,
Где я в ночи, как трепетный Асканий,
Отторжен был судьбой от матери моей,
От сладостных объятий и лобзаний,—
Ты помнишь, сколько слез младенцем пролил я!
Увы! с тех пор добыча злой судьбины,
Все горести узнал, всю бедность бытия.
Фортуною изрытые пучины
Разверзлись подо мной, и гром не умолкал!
Из веси в весь, из стран в страну гонимый,
Я тщетно на земли пристанища искал:
Повсюду перст ее неотразимый!
Повсюду молнии, карающей певца!
Ни в хижине оратая простого,
Ни под защитою Альфонсова дворца,
Ни в тишине безвестнейшего крова,
Ни в дебрях, ни в горах не спас главы моей,
Бесславием и славой удрученной,
Главы изгнанника, от колыбельных дней
Карающей богине обреченной...

Друзья! но что мою стесняет страшно грудь?
Что сердце так и ноет и трепещет?
Откуда я? какой прошел ужасный путь,
И что за мной еще во мраке блещет?

Феррара... фурии... и зависти змия!..
Куда? куда, убийцы дарованья!
Я в пристани. Здесь Рим. Здесь братья и семья!
Вот слезы их и сладки лобызанья...
И в Капитолии — Виргилиев венец!
Так, я свершил назначенное Фебом.
От первой юности его усердный жрец,
Под молнией, под разъяренным небом
Я пел величие и славу прежних дней,
И в узах я душой не изменился.

Муз сладостный восторг не гас в душе моей,
И гений мой в страданьях укрепился.
Он жил в стране чудес, у стен твоих, Сион,
На берегах цветущих Иордана;
Он вопрошал тебя, мятущийся Кедрон,
Вас, мирные убежища Ливана!
Пред ним воскресли вы, герои древних дней,
В величии и в блеске грозной славы:
Он зрел тебя, Готфред, владыка, вождь царей,
Под свистом стрел спокойный, величавый;
Тебя, младый Ринальд, кипящий, как Ахилл,
В любви, в войне счастливый победитель.
Он зрел, как ты летал по трупам вражьих сил,
Как огнь, как смерть, как ангел-истребитель...

И Тартар низложен сияющим крестом!
О, доблести неслыханной примеры!
О, наших праотцев, давно почивших сном,
Триумф святой! победа чистой веры!
Торквато вас исторг из пропасти времен:
Он пел — и вы не будете забвенны;
Он пел: ему венец бессмертья обречен,
Рукою муз и славы соплетенный.

Но поздно! Я стою над бездной роковой
И не вступлю при плесках в Капитолий,
И лавры славные над дряхлой головой
Не усладят певца свирепой доли!»

Умолк. Унылый огнь в очах его горел,
Последний луч таланта пред кончиной;
И умирающий, казалося, хотел
У парки взять триумфа день единой.
Он взором все искал капитолийских стен,
С усилием еще приподнимался;
Но мукой страшною кончины изнурен,
Недвижимый на ложе оставался.
Светило дневное уж к западу текло
И в зареве багряном утопало;
Час смерти близился... и мрачное чело
В последний раз страдальца просияло.
С улыбкой тихою на запад он глядел...
И, оживлен вечернею прохладой,

Десницу к небесам внимающим воздел,
Как праведник, с надеждой и отрадой.
«Смотрите,— он сказал рыдающим друзьям,—
Как царь светил на западе пылает!
Он, он зовет меня к безоблачным странам,
Где вечное светило засияет...
Уж ангел предо мной, вожатый оных мест;
Он осенил меня лазурными крылами...
Приближьте знак любви, сей та́инственный крест...
Молитеся с надеждой и слезами...
Земное гибнет все... и слава и венец...
Искусств и муз творенья величавы,
Но там все вечное, как вечен сам творец,
Податель нам венца небренной славы!
Там все великое, чем дух питался мой,
Чем я дышал от самой колыбели.
О братья! о друзья! не плачьте надо мной:
Ваш друг достиг давно желанной цели.
Отыдет с миром он и, верой укреплен,
Мучительной кончины не приметит:
Там, там... о, счастие!.. средь непорочных жен,
Средь ангелов, Элеонора встретит!»

И с именем любви божественный погас.
Друзья над ним в безмолвии рыдали,
День тихо догорал... и колокола глас
Разнес кругом по стогнам весть печали.
«Погиб Торквато наш!—воскликнул с плачем Рим,—
Погиб певец, достойный лучшей доли!..»
Наутро факелов узрели мрачный дым,
И трауром покрылся Капитолий.

1817

БЕСЕДКА МУЗ

Под тению черемухи млечной
И золотом блистающих акаций
Спешу восстановить алтарь и муз и граций,
Сопутниц жизни молодой.

Спешу принесть цветы, и ульев сот янтарный,
И нежны первенцы полей:
Да будет сладок им сей дар любви моей
И гимн поэта благодарный!

Не злата молит он у жертвенника муз:
Они с Фортуною не дружны,
Их крепче с бедностью заботливой союз,
И боле в шалаше, чем в тереме, досужны.

Не молит славы он сияющих даров
Увы! талант его ничтожен.
Ему отважный путь за стаею орлов,
Как пчелке, невозможен.

Он молит муз — душе, усталой от сует,
Отдать любовь утраченну к искусствам,
Веселость ясную первоначальных лет
И свежесть — вянущим беспрестанно чувствам.

Пускай забот свинцовый груз
    В реке забвения потонет
И время жадное в сей тайной сени муз
    Любимца их не тронет.

Пускай и в сединах, но с бодрою душой,
Беспечен, как дитя всегда беспечных граций,
Он некогда придет вздохнуть в сени густой
    Своих черемух и акаций.

1817

К НИКИТЕ

Как я люблю, товарищ мой,
Весны роскошной появленье
И в первый раз над муравой
Веселых жаворонков пенье.
Но слаще мне среди полей
Увидеть первые биваки
И ждать беспечно у огней
С рассветом дня кровавой драки.
Какое счастье, рыцарь мой,
Узреть с нагорныя вершины
Необозримый наших строй
На яркой зелени долины!
Как сладко слышать у шатра
Вечерней пушки гул далекий
И погрузиться до утра
Под теплой буркой в сон глубокий.
Когда по утренним росам
Коней раздастся первый топот
И ружей протяженный грохот
Пробудит эхо по горам.
Как весело перед строями
Летать на ухарском коне
И с первыми в дыму, в огне
Ударить с криком за врагами!
Как весело внимать: «Стрелки,
Вперед! Сюда, донцы! Гусары!
Сюда, летучие полки,
Башкирцы, горцы и татары!»
Свисти теперь, жужжи, свинец!
Летайте ядры и картечи!

Что вы для них? для сих сердец,
Природой вскормленных для сечи?
И вот... о зрелище прекрасно!
Колонны сдвинулись как лес.
Идут — безмолвие ужасно!
Идут — ружье наперевес;
Идут... ура! И всё сломили,
Рассеяли и разгромили.
Ура! Ура! И где же враг?..
Бежит, а мы в его домах,
О радость храбрых! киверами
Вино некупленное пьем
И под победными громами
«*Мы хвалим господа*» поем!..

Но ты трепещешь, юный воин,
Склонясь на сабли рукоять:
Твой дух встревожен, беспокоен,
Он рвется лавры пожинать;
С Суворовым он вечно бродит
В полях кровавыя войны
И в вялом мире не находит
Отрадной сердцу тишины.
Спокойся: с первыми громами
К знаменам славы полетишь;
Но там, о горе, не узришь
Меня, как прежде, под шатрами!
Забытый шумною молвой,
Сердец мучительницей милой,
Я сплю, как труженик унылой,
Не оживляемый хвалой.

1817

МЕЧТА

Подруга нежных муз, посланница небес,
Источник сладких дум и сердцу милых слез,
Где ты скрываешься, мечта, моя богиня?
Где тот счастливый край, та мирная пустыня,
К которым ты стремишь таинственный полет?
Иль дебри любишь ты, сих грозных скал хребет,
Где ветр порывистый и бури шум внимаешь?
Иль в муромских лесах задумчиво блуждаешь,
Когда на западе зари мерцает луч
И хладная луна выходит из-за туч?
Или, влекомая чудесным обаяньем
В места, где дышит все любви очарованьем,
Под тенью яворов ты бродишь по холмам,
Студеной пеною Воклюза орошенным?
Явись, богиня, мне, и с трепетом священным
        Коснуся я струнам,
        Тобой одушевленным!
Явися! ждет тебя задумчивый пиит,
В безмолвии ночном сидящий у лампады!
Явись и дай вкусить сердечныя отрады!
Любимца твоего, любимца аонид,
        И горесть сладостна бывает:
        Он в горести *мечтает*.

То вдруг он пренесен во Сельмские леса,
        Где ветр шумит, ревет гроза,
Где тень Оскарова, одетая туманом,
По небу стелется над пенным океаном;
        То, с чашей радости в руках,
Он с бардами поет: и месяц в облаках

И Кромлы шумный лес безмолвно им внимает,
И эхо по горам песнь звучну повторяет.

Или в полночный час
Он слышит скальдов глас
Порывистый и томный.
Зрит: юноши безмолвны,
Склоняся на щиты, стоят кругом костров,
Зажженных в поле брани;
И древний царь певцов
Простер на арфу длани.
Могилу указав, где вождь героев спит,
«Чья тень, чья тень,— гласит
В священном исступленье,—
Там с девами плывет в туманных облаках?
Се ты, младый Иснель, иноплеменных страх,
Днесь падший на сраженье!
Мир, мир тебе, герой!
Твоей секирою стальной
Пришельцы гордые разбиты,
Но сам ты пал на грудах тел,
Пал витязь знаменитый
Под тучей вражьих стрел!..
Ты пал! И над тобой посланницы небесны,
Валкирии прелестны,
На белых, как снега Биармии, конях,
С златыми копьями в руках
В безмолвии спустились!
Коснулись до зениц копьем своим, и вновь
Глаза твои открылись!
Течет по жилам кровь
Чистейшего эфира;
И ты, бесплотный дух,
В страны безвестны мира
Летишь стрелой... и вдруг —
Открылись пред тобой те радужны чертоги,
Где уготовали для сонма храбрых боги
Любовь и вечный пир.
При шуме горних вод и тихострунных лир,
Среди полян и свежих сеней,
Ты будешь поражать там скачущих еленей
И златорогих серн!»
Склонясь на злачный дерн,

С дружиною младою,
Там снова с арфой золотою
В восторге скальд поет
О славе древних лет,
Поет, и храбрых очи,
Как звезды тихой ночи,
Утехою блестят.
Но вечер притекает,
Час неги и прохлад,
Глас скальда замолкает.
Замолк — и храбрых сонм
Идет в Оденов дом,
Где дочери Веристы,
Власы свои душисты
Раскинув по плечам,
Прелестницы младые,
Всегда полунагие,
На пиршества гостям
Обильны яства носят
И пить умильно просят
Из чаши сладкий мед...
Так древний скальд поет,
Лесов и дебрей сын угрюмый:
Он счастлив, погрузясь о счастье в сладки думы!

О сладкая мечта! О неба дар благой!
Средь дебрей каменных, средь ужасов природы,
Где плещут о скалы Ботнические воды,
В краях изгнанников... я счастлив был тобой.
Я счастлив был, когда в моем уединеньи
Над кущей рыбаря, в час полночи немой,
Раздастся ветров свист и вой
И в кровлю застучит и град и дождь осенний.
Тогда на крылиях мечты
Летал я в поднебесной,
Или, забывшися на лоне красоты,
Я сон вкушал прелестной
И, счастлив наяву, был счастлив и в мечтах!

Волшебница моя! дары твои бесценны
И старцу в лета охлажденны,
С котомкой нищему и узнику в цепях.
Заклепы страшные с замками на дверях,

Соломы жесткий пук, свет бледный пепелища,
Изглоданный сухарь, мышей тюремных пища,
Сосуды глиняны с водой —
Все, все украшено тобой!..
Кто сердцем прав, того ты ввек не покидаешь:
За ним во все страны летаешь
И счастием даришь любимца своего.
Пусть миром позабыт! Что нужды для него?
Но с ним задумчивость, в день пасмурный, осенний,
На мирном ложе сна,
В уединенной сени,
Беседует одна.
О тайных слез неизъяснима сладость!
Что пред тобой сердец холодных радость,
Веселий шум и блеск честей
Тому, кто ничего не ищет под луною,
Тому, кто сопряжен душою
С могилою давно утраченных друзей!

Кто в жизни не любил?
Кто раз не забывался,
Любя, мечтам не предавался
И счастья в них не находил?
Кто в час глубокой ночи,
Когда невольно сон смыкает томны очи,
Всю сладость не вкусил обманчивой мечты?
Теперь, любовник, ты,
На ложе роскоши с подругой боязливой,
Ей шепчешь о любви и пламенной рукой
Снимаешь со груди ее покров стыдливой,
Теперь блаженствуешь и счастлив ты — мечтой!
Ночь сладострастия тебе дает призраки
И нектаром любви кропит ленивы маки.

Мечтание — душа поэтов и стихов,
И едкость сильная веков
Не может прелестей лишить Анакреона,
Любовь еще горит во пламенных мечтах
Любовницы Фаона;
А ты, лежащий на цветах
Меж нимф и сельских граций,
Певец веселия, Гораций!
Ты сладостно мечтал,

Мечтал среди пиров, и шумных и веселых,
И смерть угрюмую цветами увенчал!
Как часто в Тибуре, в сих рощах устарелых,
          На скате бархатных лугов,
В счастливом Тибуре, в твоем уединенье,
Ты ждал Глицерию и в сладостном забвенье,
Томимый негою на ложе из цветов,
При воскурении мастик благоуханных,
          При пляске нимф венчанных,
          Сплетенных в хоровод,
          При отдаленном шуме
          В лугах журчащих вод,
          Безмолвен, в сладкой думе,
          Мечтал... и вдруг, мечтой
          Восторжен сладострастной,
У ног Глицерии стыдливой и прекрасной
          Победу пел любви
          Над юностью беспечной
          И первый жар в крови,
          И первый вздох сердечной
          Счастливец! воспевал
          Цитерские забавы,
          И все заботы славы
          Ты ветрам отдавал!

          Ужели в истинах печальных
Угрюмых стоиков и скучных мудрецов,
          Сидящих в платьях погребальных
          Между обломков и гробов,
          Найдем мы жизни нашей сладость?
          От них, я вижу, радость
Летит, как бабочка от терновых кустов;
Для них нет прелести и в прелестях природы.
Им девы не поют, сплетяся в хороводы:
          Для них, как для слепцов,
Весна без радости и лето без цветов...
Увы! Но с юностью исчезнут и мечтанья,
          Исчезнут граций лобызанья,
Надежда изменит и рой крылатых снов.
          Увы! там нет уже цветов,
Где тусклый опытность светильник зажигает
И время старости могилу открывает.

Но ты — пребудь верна, живи еще со мной!
Ни свет, ни славы блеск пустой,
Ничто даров твоих для сердца не заменит!
Пусть дорого глупец сует блистанье ценит,
Лобзая прах златый у мраморных палат,—
Но я и счастлив и богат,
Когда снискал себе свободу и спокойство,
А от сует ушел забвения тропой!
Пусть будет навсегда со мной
Завидное поэтов свойство:
Блаженство находить в убожестве мечтой!
Их сердцу малость драгоценна:
Как пчелка, медом отягченна,
Летает с травки на цветок,
Считая морем ручеек,
Так хижину свою поэт дворцом считает
И счастлив — *он мечтает.*

1817

[К С. С. УВАРОВУ]

Среди трудов и важных муз,
Среди учености всемирной
Он не утратил нежный вкус;
Еще он любит голос лирной,
Еще в душе его огонь,
И сердце наслаждений просит,
И борзый Аполлонов конь
От муз его в Цитеру носит.
От пепла древнего Афин,
От гордых памятников Рима,
С развалин Трои и Солима,
Умом вселенной гражданин,
Он любит отдыхать с Эратой
Разнообразной и живой
И часто водит нас с собой
В страны фантазии крылатой.
Ему легко: он награжден,
Благословен, взлелеян Фебом;
Под сумрачным родился небом,
Но будто в Аттике рожден.

1817

НА КНИГУ ПОД НАЗВАНИЕМ «СМЕСЬ»

По чести, это *смесь:*
Тут проза, и стихи, и авторская спесь.

Не позднее 1817

ЗАПРОС АРЗАМАСУ

Три Пушкина в Москве, и все они — поэты.
Я полагаю, все одни имеют леты.
Талантом, может быть, они и не равны,
Один другого больше пишет,
Один живет с женой, другой и без жены,
А третий об жене и весточки не слышит
(Последний — промеж нас я молвлю — страшный плут,
И прямо в ад ему дорога!) —
Но дело не о том: скажите, ради бога,
Которого из них *Бобрищевым* зовут?

1817

[НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ
КН. П. А. ВЯЗЕМСКОГО]

Кто это, так насупя брови,
Сидит растрепанный и мрачный, как Федул?
О чудо! Это он!.. Но кто же? Наш Катулл,
Наш Вяземский, певец веселья и любови!

1817

ПОСЛАНИЕ

От практического мудреца мудрецу Астафьическому с мудрецом Пушкиническим

Счастлив, кто в сердце носит рай,
Неизменяемый страстями!
Тому всегда блистает май
И не скудеет жизнь цветами!
Ты помнишь, как в плаще издранном Эпиктет
Не знал, что барометр пророчит непогоду,
Что изменяется кругом моральный свет
И Рим готов пожрать вселенныя свободу.
В трудах он, закалив и плоть свои и дух,
От зноя не потел, на дождике был сух!
Я буду твердостью превыше Эпиктета.
В шинель терпенья облекусь
И к вам нечаянно явлюсь
С лучами первыми рассвета.
Да! Да! Увидишь ты меня перед крыльцом
С стоическим лицом.
Не станет дело за умом!
Я ум возьму в Сенеке,
Дар красноречия мне ссудит Соковнин,
Любезность светскую Ильин,
А философию я заказал... в аптеке!

1817

[П. А. ВЯЗЕМСКОМУ]

Я вижу тень Боброва:
Она передо мной,
Нагая, без покрова,
С заразой и с чумой;
Сугубым вздором дышет
И на скрижалях пишет
Бессмертные стихи,
Которые в мехи
Бог ветров собирает
И в воздух выпускает
На гибель для певцов;
Им дышет граф Хвостов,
Шихматов оным дышет,
И друг твой, если пишет
Без мыслей кучи слов.

[*1817*]

[ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ АНТОЛОГИИ]

I

В обители ничтожества унылой,
О незабвенная! прими потоки слез
И вопль отчаянья над хладною могилой
И горсть, как ты, минутных роз!
Ах! тщетно все! Из вечной сени
Ничем не призовем твоей прискорбной тени:
Добычу не отдаст завистливый Аид.
Здесь онемение; все хладно, все молчит,
Надгробный факел мой лишь мраки освещает...
Что, что вы сделали, властители небес?
Скажите, что краса так рано погибает!
Но ты, о мать-земля! с сей данью горьких слез
Прими почившую, поблеклый цвет весенний,
Прими и успокой в гостеприимной сени!

II

Свидетели любви и горести моей,
О розы юные, слезами омоченны!
Красуйтеся в венках над хижиной смиренной,
Где милая таится от очей!
Помедлите, венки! еще не увядайте!
Но если явится — пролейте на нее
Все благовоние свое
И локоны ее слезами напитайте:
Пусть остановится в раздумье и вздохнет.
А вы, цветы, благоухайте
И милой локоны слезами напитайте!

III

Свершилось: Никагор и пламенный Эрот
За чашей Вакховой Аглаю победили...
О, радость! Здесь они сей пояс разрешили,
Стыдливости девической оплот.
Вы видите: кругом рассеяны небрежно
Одежды пышные надменной красоты;
Покровы легкие из дымки белоснежной,
И обувь стройная, и свежие цветы:
Здесь все развалины роскошного убора,
Свидетели любви и счастья Никагора!

IV

ЯВОР К ПРОХОЖЕМУ

Смотрите, виноград кругом меня как вьется!
Как любит мой полуистлевший пень!
Я некогда ему давал отрадну тень;
Завял: но виноград со мной не расстается.
Зевеса умоли,
Прохожий, если ты для дружества способен,
Чтоб друг твой моему был некогда подобен
И пепел твой любил, оставшись на земли.

V

НЕРЕИДЫ НА РАЗВАЛИНАХ КОРИНФА

Где слава, где краса, источник зол твоих?
Где стогны шумные и граждане счастливы?
Где зданья пышные и храмы горделивы,
Мусия, золото, сияющие в них?
Увы! погиб навек, Коринф столповенчанной!
И самый пепел твой развеян по полям.
Все пусто: мы одни взываем здесь к богам,
И стонет Алкион один в дали туманной!

VI

«Куда, красавица?» — «За делом, не узнаешь!»
«Могу ль надеяться?» — «Чего?» — «Ты понимаешь!»
«Не время!» — «Но взгляни: вот золото, считай!»
«Не боле? Шутишь! Так прощай».

VII

Сокроем навсегда от зависти людей
Восторги пылкие и страсти упоенье.
Как сладок поцелуй в безмолвии ночей,
Как сладко тайное в любови насладденье!

VIII

В Лаисе нравится улыбка на устах,
Ее пленительны для сердца разговоры,
Но мне милей ее потупленные взоры
И слезы горести внезапной на очах.
Я в сумерки, вчера, одушевленный страстью,
У ног ее любви все клятвы повторял
И с поцелуем к сладострастью
На ложе роскоши тихонько увлекал...
Я таял, и Лаиса млела...
Но вдруг уныла, побледнела
И — слезы градом из очей!
Смущенный, я прижал ее к груди моей:
«Что сделалось, скажи, что сделалось с тобою?»
«Спокойся, ничего, бессмертными клянусь;
Я мыслию была встревожена одною:
Вы все обманчивы, и я... тебя страшусь».

IX

К ПОСТАРЕЛОЙ КРАСАВИЦЕ

Тебе ль оплакивать утрату юных дней?
Ты в красоте не изменилась
И для любви моей
От времени еще прелестнее явилась.
Твой друг не дорожит неопытной красой,
Незрелой в таинствах любовного искусства.
Без жизни взор ее стыдливый и немой,
И робкий поцелуй без чувства.
Но ты, владычица любви,
Ты страсть вдохнешь и в мертвый камень;
И в осень дней твоих не погасает пламень,
Текущий с жизнию в крови.

X

Увы! глаза, потухшие в слезах,
Ланиты, впалые от долгого страданья,
Родят в тебе не чувство состраданья,—
Жестокую улыбку на устах...
Вот горькие плоды любови страстной,
Плоды ужасные мучений без отрад,
Плоды любви, достойные наград,
Не участи для сердца столь ужасной...
Увы! как молния внезапная небес,
В нас страсти жизнь младую пожирают
И в жертву безотрадных слез,
Коварные, навеки покидают.
Но ты, прелестная, которой мне любовь
Всего — и юности и счастия дороже,
Склонись, жестокая, и я... воскресну вновь,
Как был или еще бодрее и моложе.

XI

Улыбка страстная и взор красноречивый,
В которых вся душа как в зеркале видна,
Сокровища мои... она
Жестоким Аргусом со мной разлучена!
Но очи страсти прозорливы:
Ревнивец злой, страшись любви очей!
Любовь мне таинство быть счастливым открыла,
Любовь мне скажет путь к красавице моей,—
Любовь тебя читать в сердцах не научила.

XII

Изнемогает жизнь в груди моей остылой.
Конец борению; увы! всему конец.
Киприда и Эрот, мучители сердец!
Услышьте голос мой последний и унылой.
Я вяну и еще мучения терплю:
Полмертвый, но сгораю;
Я вяну, но еще так пламенно люблю
И без надежды умираю!

Так, жертву обхватив кругом,
На алтаре огонь бледнеет, умирает
И, вспыхнув ярче пред концом,
На пепле погасает.

XIII

С отвагой на челе и с пламенем в крови
Я плыл, но с бурей вдруг предстала смерть ужасна!
О юный плаватель, сколь жизнь твоя прекрасна!
Вверяйся челноку! плыви!

1817—1818

ПОДРАЖАНИЕ АРИОСТУ

(La verginella è simile alla rosa)

Девица юная подобна розе нежной,
Взлелеянной весной под сению надежной:
Ни стадо алчное, ни взоры пастухов
Не знают тайного сокровища лугов,
Но ветер сладостный, но рощи благовонны,
Земля и небеса прекрасной благосклонны.

[*1817—1818*]

ПОСЛАНИЕ К А. И. ТУРГЕНЕВУ

Есть дача за Невой,
Верст двадцать от столицы,
У Выборгской границы,
Близ Парголы крутой:
Есть дача или мыза,
Приют для добрых душ,
Где добрая Элиза
И с ней почтенный муж,
С открытою душою
И с лаской на устах,
За трапезой простою
На бархатных лугах,
Без дальнего наряда,
В свой маленький приют
Друзей из Петрограда
На праздник сельский ждут.
Так муж с супругой нежной
В час отдыха от дел
Под кров свой безмятежной
Муз к грациям привел.
Поэт, лентяй, счастливец
И тонкий философ,
Мечтает там Крылов
Под тению березы
О басенных зверях
И рвет парнасски розы
В приютинских лесах.
И Гнедич там мечтает
О греческих богах,
Меж тем как замечает

Кипренский лица их
И кистию чудесной,
С беспечностью прелестной,
Вандиков ученик,
В один крылатый миг
Он пишет их портреты,
Которые от Леты
Спасли бы образцов,
Когда бы сам Крылов
И Гнедич сочиняли,
Как пишет Тянислов
Иль Балдусы писали,
Забыв и вкус и ум.
Но мы забудем шум
И суеты столицы,
Изладим колесницы,
Ударим по коням
И пустимся стрелою
В Приютино с тобою.
Согласны? По рукам!

[*1817—1818*]

К ТВОРЦУ «ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО»

Когда на играх Олимпийских,
В надежде радостных похвал,
Отец истории читал,
Как грек разил вождей азийских
И силы гордых сокрушал,—
Народ, любитель шумной славы,
Забыв ристанье и забавы,
Стоял и весь вниманье был.
Но в сей толпе многонародной
Как старца слушал Фукидид,
Любимый отрок аонид,
Надежда крови благородной!
С какою жаждою внимал
Отцов деянья знамениты
И на горящие ланиты
Какие слезы проливал!

И я так плакал в восхищенье,
Когда скрижаль твою читал
И гений твой благословлял
В глубоком, сладком умиленье...
Пускай талант — не мой удел!
Но я для муз дышал недаром,
Любил прекрасное и с жаром
Твой гений чувствовать умел.

1818

[КНЯЗЮ П. И. ШАЛИКОВУ

(при получении от него в подарок книги, им переведенной)]

Чем заплачу вам, милый князь,
Чем отдарю почтенного поэта?
Стихами? Но давно я с музой рушил связь
И без нее кругом летаю света,
С востока к западу, от севера на юг —
Не там, где вы, где граций круг,
Где Аполлон с парнасскими сестрами,
Нет, нет,— в стране иной,
Где ввек не повстречаюсь с вами:
В пыли, в грязи, на тряской мостовой,
«В картузе с козырьком, с небритыми усами»,
Как Пушкина герой,
Воспетый им столь сильными стихами.
Такая жизнь для мыслящего — ад.
Страданий вам моих не в силах я исчислить.
Скачи туда, сюда, хоть рад или не рад,—
Где ж время чувствовать и мыслить?
Но время, к счастью, есть любить
Друзей, их славу и успехи
И в дружбе находить
Неизъяснимые для черствых душ утехи.
Вот мой удел, почтенный мой поэт:
Оставя отчий край, увижу новый свет,
И небо новое, и незнакомы лицы,
Везувий в пламени, и Этны вечный дым,

Кастратов, оперу, фигляров, папский Рим
И прах, священный прах всемирныя столицы.
Но где б я ни был (так я молвлю в добрый час),
Не изменясь, душою тот же буду
И, умирая, не забуду
Москву, отечество, друзей моих и вас!

1818

* * *

Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы
При появлении Аврориных лучей,
Но не отдаст тебе багряная денница
Сияния протекших дней,
Не возвратит убежищей прохлады,
Где нежились рои красот,
И никогда твои порфирны колоннады
Со дна не встанут синих вод.

1819

* * *

Есть наслаждение и в дикости лесов,
Есть радость на приморском бреге,
И есть гармония в сем говоре валов,
Дробящихся в пустынном беге.
Я ближнего люблю, но ты, природа-мать,
Для сердца ты всего дороже!
С тобой, владычица, привык я забывать
И то, чем был, как был моложе,
И то, чем ныне стал под холодом годов.
Тобою в чувствах оживаю:
Их выразить душа не знает стройных слов,
И как молчать об них, не знаю.

1819—1820

НАДПИСЬ ДЛЯ ГРОБНИЦЫ ДОЧЕРИ МАЛЫШЕВОЙ

О милый гость из отческой земли!
Молю тебя, заметь сей памятник безвестный;
Здесь матерь и отец надежду погребли,
Здесь я покоюся, младенец их прелестный.
Им молви от меня: «Не сетуйте, друзья!
Моя завидна скоротечность;
Не знала жизни я —
И знаю вечность».

1820

ПОДРАЖАНИЯ ДРЕВНИМ

I

Без смерти жизнь не жизнь: и что она? Сосуд,
Где капля меду средь полыни;
Величествен сей понт! Лазурный царь пустыни,
О солнце! чудно ты среди небесных чуд!
И на земле прекрасного столь много!
Но все поддельное иль втуне серебро:
Плачь, смертный! плачь! Твое добро
В руке у Немезиды строгой!

II

Скалы чувствительны к свирели;
Верблюд прислушивать умеет песнь любви,
Стеня под бременем; румянее крови —
Ты видишь — розы покраснели
В долине Иемена от песней соловья...
А ты, красавица... Не постигаю я.

III

Взгляни: сей кипарис, как наша степь, бесплоден —
Но свеж и зелен он всегда.
Не можешь, гражданин, как пальма дать плода?
Так буди с кипарисом сходен:
Как он уединен, осанист и свободен.

IV

Когда в страдании девица отойдет,
И труп синеющий остынет:
Напрасно на него любовь и амвру льет
И облаком цветов окинет.

Бледна, как лилия, в лазури васильков,
    Как восковое изваянье;
Нет радости в цветах для вянущих перстов,
    И суетно благоуханье.

V

О смертный! хочешь ли безбедно перейти
    За море жизни треволненной?
Не буди горд: и в ветр попутный опусти
    Свой парус, счастием надменной.
Не покидай руля, как свистнет ярый ветр!
Будь в счастье — Сципион, в тревоге брани —
Петр.

VI

Ты хочешь меду, сын? — так жала не страшись;
    Венца победы? — смело к бою!
Ты перлов жаждешь? — так спустись
    На дно, где крокодил зияет под водою.
Не бойся! Бог решит. Лишь смелым он отец,
Лишь смелым перлы, мед иль гибель... иль венец.

1821

* * *

Жуковский, время все поглотит,
Тебя, меня и славы дым,
Но то, что в сердце мы храним,
В реке забвенья не потопит!
Нет смерти сердцу, нет ее!
Доколь оно для блага дышет!..
А чем исполнено твое,
И сам Плетаев не опишет.

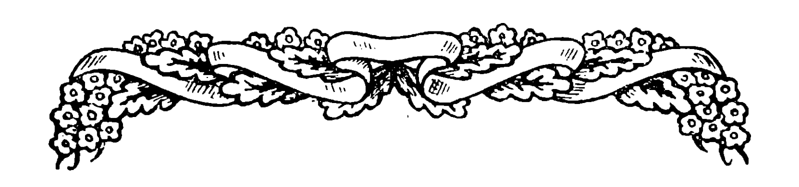
1821

ИЗРЕЧЕНИЕ МЕЛЬХИСЕДЕКА

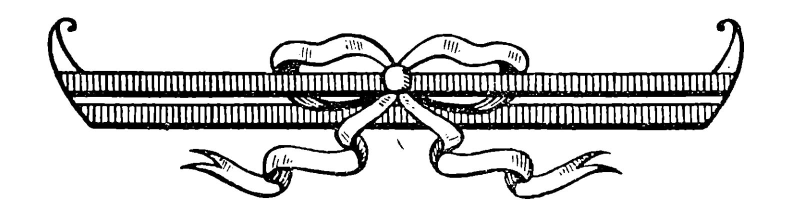
Ты знаешь, что изрек,
Прощаясь с жизнию, седой Мельхиседек?
Рабом родится человек,
Рабом в могилу ляжет,
И смерть ему едва ли скажет,
Зачем он шел долиной чудной слез,
Страдал, рыдал, терпел, исчез.

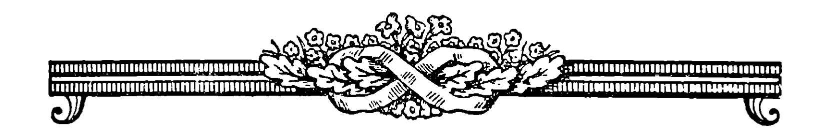
[*1821*]





ПРОЗАИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ





[ПРОГУЛКА ПО МОСКВЕ]

Ты желаешь от меня описания Москвы, любезнейший друг,— вещи совершенно невозможной (для меня, разумеется) по двум весьма важным причинам. Первое — потому, что я не в силах удовлетворить твоему любопытству за неимением достаточных сведений исторических и пр. и пр., которые необходимо нужны, ибо здесь на всяком шагу мы встречаем памятники веков протекших, но сии памятники безмолвны для невежды, а я притворяться ученым не умею. Вторая причина — леность, причина весьма важная! Итак, мимоходом, странствуя из дома в дом, с гулянья на гулянье, с ужина на ужин, я напишу несколько замечаний о городе и о нравах жителей, не соблюдая ни связи, ни порядку, и ты прочтешь оные с удовольствием: они напомнят тебе о добром приятеле,

Который посреди рассеяний столицы
Тихонько замечал характеры и лицы
Забавных москвичей;
Который год зевал на балах богачей,
Зевал в концерте и в собранье,
Зевал на скачке, на гулянье,
Везде равно зевал,
Но дружбы и тебя нигде не забывал.

Теперь, на досуге, не хочешь ли со мною прогуляться в Кремль? Дорогою я невольно восклицать буду на каждом шагу: это исполинский город, построенный великанами; башня на башне, стена на стене, дворец возле дворца! Странное смешение древнего и новейшего зодчества, нищеты и богатства, нравов европейских с нравами и обычаями восточными! Дивное, непостижимое слияние суетности,

тщеславия и истинной славы и великолепия, невежества и просвещения, людкости и варварства. Не удивляйся, мой друг: Москва есть вывеска или живая картина нашего отечества. Посмотри: здесь, против зубчатых башен древнего Китай-города, стоит прелестный дом самой новейшей итальянской архитектуры; в этот монастырь, построенный при царе Алексее Михайловиче, входит какой-то человек в длинном кафтане, с окладистой бородою, а там к булевару кто-то пробирается в модном фраке; и я, видя отпечатки древних и новых времен, воспоминая прошедшее, сравнивая оное с настоящим, тихонько говорю про себя: «Петр Великий много сделал и ничего не кончил».

Войдем теперь в Кремль. Направо, налево мы увидим величественные здания с блестящими куполами, с высокими башнями, и все это обнесено твердою стеною. Здесь все дышит древностию; все напоминает о царях, о патриархах, о важных происшествиях; здесь каждое место ознаменовано печатию веков протекших. Здесь все противное тому, что мы видим на Кузнецком мосту, на Тверской, на булеваре и пр. Там книжные французские лавки, модные магазины, которых уродливые вывески заслоняют целые домы, часовые мастера, погреба, и, словом, все снаряды моды и роскоши. В Кремле все тихо, все имеет какой-то важный и спокойный вид; на Кузнецком мосту всё в движении:

Корнеты, чепчики, мужья и сундуки.

А здесь одни монахи, богомольцы, должностные люди и несколько часовых. Хочешь ли видеть единственную картину? Когда вечернее солнце во всем великолепии склоняется за Воробьевы горы, то войди в Кремль и сядь на высокую деревянную лестницу. Вся панорама Москвы за рекою! Направо Каменный мост, на котором беспрестанно волнуются толпы проходящих; далее — Голицынская больница, прекрасное здание, дома гр. Орловой с тенистыми садами и, наконец, Васильевский огромный замок, примыкающий к Воробьевым горам, которые величественно довершают сию картину,— чудесное смешение зелени с домами, цветущих садов с высокими замками древних бояр; чудесная противуположность видов городских с сельскими видами. Одним словом, здесь представляется взорам картина, достойная величайшей в мире столицы, построенной величайшим народом на приятнейшем месте. Тот, кто, стоя в Кремле

и холодными глазами смотрев на исполинские башни, на древние монастыри, на величественное Замоскворечье, не гордился своим отечеством и не благословлял России, для того (и я скажу это смело) чуждо все великое, ибо он был жалостно ограблен природою при самом его рождении; тот поезжай в Германию и живи и умирай в маленьком городке, под тенью приходской колокольни, с мирными германцами, которые, углубясь в мелкие политические расчеты, протянули руки и выи для принятия оков гнуснейшего рабства.

Но солнце медленно сокрывается за рощами. Взглянем еще на Кремль, которого золотые куполы и шпицы колоколен ярко отражают блистание зари вечерней. Шум городской замирает вместе с замирающим днем. Кругом нас все тихо; изредка пройдет человек. Здесь нищий отдыхает на красном крыльце, положив голову на котомку; он отдыхает беспечно у подножия палат царских, не зная даже, кому они некогда принадлежали. Теперь встает и медленно входит в монастырь, где раздается мрачное пение иноков и где целыми рядами стоят гробы великих князей и царей русских (некогда обитавших в ближних палатах). Печальный образ славы человеческой... Но мы не станем делать восклицаний вместе с модными писателями, которые проводят целые ночи на гробах и бедное человечество пугают привидениями, духами, страшным судом, а более всего своим слогом; мы не предадимся мрачным рассуждениям о бренности вещей, которые позволено делать всякому *в нынешнем веке меланхолии*, а пойдем потихоньку на Кузнецкий мост, где всё в движении, все спешит, а куда? — посмотрим.

Эта большая дедовская карета, запряженная шестью чалыми тощими клячами, остановилась у дверей модной лавки. Вот из нее вылезает пожилая женщина в большом чепце, мадам, конечно француженка, и три молодые девушки. Они входят в лавку — и мы за ними. «Дайте нам головных уборов, покажите нам эти шляпки, да по христианской совести, госпожа мадам!» И торговка, окинув взорами своих гостей, узнает, что они из степи, продает им лежалую старину вдвое, втрое дороже обыкновенного. Старушка сердится и покупает.

Зайдем оттуда в конфетный магазин, где жид или гасконец Гоа продает мороженое и всякие сласти. Здесь мы видим большое стечение московских франтов в лакированных сапогах, в широких английских фраках и в очках и без очков,

и растрепанных и причесанных. Этот, конечно, англичанин: он разиня рот смотрит на восковую куклу. Нет! он русак и родился в Суздале. Ну, так этот — француз: он картавит и говорит с хозяйкой о знакомом ей чревовещателе, который в прошлом году забавлял весельчаков парижских. Нет, это старый франт, который не езжал далее Макарья и, промотав родовое имение, наживает новое картами. Ну, так это — немец, этот бледный, высокий мужчина, который вошел с прекрасною дамою? Ошибся! И он русской, а только молодость провел в Германии. По крайней мере жена его иностранка: она насилу говорит по-русски. Еще раз ошибся! Она русская, любезный друг, родилась в приходе Неопалимой Купины и кончит жизнь свою на святой Руси. Отчего же они все хотят прослыть иностранцами, картавят и кривляются? Отчего?.. Я на это буду отвечать после, а теперь прошу заметить этого пожилого человека в шпорах. Он изобрел прошлого года новые подковы для своих рысаков, дрожки о двух колесах и карету без козел. Он живет на конюшне, завтракает с любимым бегуном и ездил нарочно в Лондон, чтобы посоветоваться с известным коновалом о болезни своей английской кобылы.

Вздохнем, любезный друг, от глубины сердца и скажем с Ариостом:

Дурачься, смертных род! В луне рассудок твой!

Теперь мы видим перед собою иностранные книжные лавки. Их множество, и ни одной нельзя назвать богатою в сравнении с петербургскими. Книги дороги, хороших мало, древних писателей почти вовсе нет, но зато есть мадам Жанлис и мадам Севинье — два катехизиса молодых девушек — и целые груды французских романов — достойное чтение тупого невежества, бессмыслия и разврата. Множество книг мистических, назидательных, казуистских и пр., писанных расстригами попами (ci-devant soit disant jésuites)[1] на чердаках парижских в пользу добрых женщин. Их беспрестанно раскупают и в Москве, ибо наши модницы не уступают парижским в благочестии и с жадностию читают глупые и скучные проповеди, лишь бы только они были написаны на языке *медоточивого* Фенелона, сладостного друга почтенной девицы Гион. Но мы, разговаривая, пришли в

[1] Бывшими так называемыми иезуитами *(франц.)*.

город. Какое стечение народа, какое разнообразие! Это совершенный базар восточный! Здесь мы видим грека, татарина, турка в чалме и в туфлях; там сухого француза в башмаках, искусно перескакивающего с камня на камень, тут важного персианина, там ямщика, который бранится с торговкою, здесь бедного селянина, который устремил оба глаза на великолепный цуг, между тем как его товарищ рассматривает народные картины и любуется их замысловатыми надписями. Вот и целый ряд русских книжных лавок; иные весьма бедны. Кто не бывал в Москве, тот не знает, что можно торговать книгами точно так, как рыбой, мехами, овощами и пр., без всяких сведений в словесности; тот не знает, что здесь есть фабрика переводов, фабрика журналов и фабрика романов и что книжные торгаши покупают ученый товар, то есть переводы и сочинения, на вес, приговаривая бедным авторам: не качество, а количество! не слог, а число листов! Я боюсь заглянуть в лавку, ибо, к стыду нашему, думаю, что ни у одного народа нет и никогда не бывало столь безобразной словесности. К счастию, многие книги здесь, в Москве, родятся и здесь умирают или по крайней мере на ближайших ярмонках. Теперь мы выходим на Тверской булевар, который составляет часть обширного вала. Вот жалкое гульбище для обширного и многолюдного города, какова Москва; но стечение народа, прекрасные утра апрельские и тихие вечера майские привлекают сюда толпы праздных жителей. Хороший тон, мода требуют пожертвований: и франт, и кокетка, и старая вестовщица, и жирный откупщик скачут в первом часу утра с дальних концов Москвы на Тверской булевар. Какие странные наряды, какие лица! Здесь вы видите приезжего из Молдавии офицера, внука этой придворной ветхой красавицы, наследника этого подагрика, которые не могут налюбоваться его пестрым мундиром и невинными шалостями; тут вы видите провинциального щеголя, который приехал перенимать моды и который, кажется, пожирает глазами счастливца, прискакавшего на почтовых с берегов Секваны, в голубых панталонах и в широком безобразном фраке. Здесь красавица ведет за собою толпу обожателей, там старая генеральша болтает с своей соседкою, а возле их откупщик, тяжелый и задумчивый, который твердо уверен в том, что бог создал одну половину рода человеческого для винокурения, а другую для пьянства, идет медленными шагами с прекрасною женою и с карлом. Университетский профессор в епанче,

которая бы могла сделать честь покойному Кратесу, пробирается домой или на пыльную кафедру. Шалун напевает водевили и травит прохожих своим пуделем, между тем как записной стихотворец читает эпиграмму и ожидает похвалы или приглашения на обед. Вот гулянье, которое я посещал всякий день, и почти всегда с новым удовольствием. Совершенная свобода ходить взад и вперед с кем случится, великое стечение людей знакомых и незнакомых имели всегда особенную прелесть для ленивцев, для праздных и для тех, которые любят замечать физиономии. А я из числа первых и последних. Прибавлю к этому: на гулянье приезжают одни, чтоб отдыхать от забот, другие — ходить и дышать свежим воздухом; женщины приезжают собирать похвалы, мужчины — удивляться, и лицы всех почти спокойны. Здесь страсти засыпают, люди становятся людьми; одно самолюбие не дремлет, оно всегда на часах; но и оно имеет здесь привлекательный вид, и оно заставляет улыбнуться старого игрока гораздо приветливее, нежели за карточным столом. Наконец, на гулянье все кажутся счастливыми, и это меня радует как ребенка, ибо я никогда не любил скучных и заботливых лиц.

Теперь мы опять вышли на улицу. Взгляни направо, потом налево и делай сам замечания, ибо увидишь вдруг всю Москву со всеми ее противуположностями.

Вот большая карета, которую насилу тянет четверня: в ней чудотворный образ, перед ним монах с большою свечой. Вот старинная Москва и остаток древнего обряда прародителей!

Посторонись! Этот ландо нас задавит: в нем сидит щеголь и красавица; лошади, лакей, кучера — всё в последнем вкусе. Вот и новая Москва, новейшие обычаи!

Взгляни сюда, счастливец! Возле огромных чертогов вот хижина, жалкая обитель нищеты и болезней. Здесь целое семейство, изнуренное нуждами, голодом и стужей,— дети полунагие, мать за прялицей, отец, старый заслуженный офицер, в изорванном майорском камзоле, починивает старые башмаки и ветхий плащ затем, чтоб поутру можно было выйти на улицу просить у прохожих кусок хлеба, а оттуда пробраться к человеколюбивому лекарю, который посещает его больную дочь. Вот Москва, большой город, жилище роскоши и нищеты.

Но здесь пред нами огромные палаты с высокими мраморными столбами, с большим подъездом. Этот дом

открыт для всякого, кто может сказать роскошному Амфитриону:

Joignez un peu votre inutilit
A ce fardeau de mon oisiveté[1].

Хозяин целый день зевает у камина, между тем как вокруг его всё в движении, роговая музыка гремит на хорах, вся челядь в галунах, и роскошь опрокинула на стол полный рог изобилия. В этом человеке все страсти исчезли, его сердце, его ум и душа износились и обветшали. Самое самолюбие его оставило. Он, конечно, великий философ, если совершенное равнодушие посреди образованного общества можно назвать мудростию. Он окружен ласкателями, иностранцами и шарлатанами, которых он презирает от всей души, но без них обойтиться не может. Его тупоумие невероятно. Пользуясь всеми выгодами знатного состояния, которым он обязан предкам своим, он даже не знает, в каких губерниях находятся его деревни; зато знает по пальцам все подробности двора Людовика XIV по запискам Сен-Симона, перечтет всех любовниц его и регента, одну после другой, и назовет все парижские улицы. Его дом можно назвать гостиницей праздности, шума и новостей, посреди которых хозяин осужден на вечную скуку и вечное бездействие. Вот следствие роскоши и праздности в сей обширнейшей из столиц, в сем малом мире!

Я думаю, что ни один город не имеет ниже малейшего сходства с Москвою. Она являет редкие противуположности в строениях и нравах жителей. Здесь роскошь и нищета, изобилие и крайняя бедность, набожность и неверие, постоянство дедовских времен и ветреность неимоверная, как враждебные стихии, в вечном несогласии и составляют сие чудное, безобразное, исполинское *целое*, которое мы знаем под общим именем: *Москва*. Но праздность есть нечто общее, исключительно принадлежащее сему городу; она более всего приметна в каком-то беспокойном любопытстве жителей, которые беспрестанно ищут нового рассеяния. В Москве *отдыхают*, в других городах трудятся менее или более и потому-то в Москве знают скуку со всеми ее мучениями. Здесь хвалятся гостеприимством, но — между нами — что значит это слово? Часто — любопытство. В других городах вас узнают с хорошей стороны и приглашают навсегда,

[1] Присоедините частицу вашей бесполезности к бремени моего бездельничанья *(франц.)*.

в Москве сперва пригласят, а после узнают. Музыка прошлой зимы вскружила всем головы; вся Москва пела: я думаю, от скуки. Ныне вся Москва танцует — от скуки. Здесь все влюблены или стараются влюбляться: я бьюсь об заклад, что это делается от скуки. Молодые женщины играют на театре, а старухи ездят по монастырям — от скуки, и это всякому известно. Карусель, который стоил столько издержек, родился от скуки. Одним словом, здесь скуку можно назвать великою пружиною: она поясняет много странных обстоятельств. Для жителей московских необходимо нужны новые гулянья, новые праздники, новые зрелища и новые лица. Здесь славная актриса Жорж принята была с восторгом и скоро наскучила большому свету. Сию холодность к дарованию издатель «Русского вестника» готов приписать к патриотизму; он весьма грубо ошибается.

Москва есть большой провинциальный город, единственный, несравненный: ибо что значит имя столицы без двора? Москва идет сама собою к образованию, ибо на нее почти никакие обстоятельства влияния не имеют. Здесь всякий может дурачиться, как хочет, жить и умереть чудаком. Самый Лондон беднее Москвы по части нравственных карикатур. Какое обширное поле для комических авторов, и как они мало чувствуют цену собственной неистощимой руды. Надобно еще заметить, что здесь семейственная жизнь, которую можно назвать хранительницею нравов, придает какое-то добродушие и откровенность всем поступкам. Это заметил мне англичанин-путешественник, который называл Москву прелестнейшим городом в мире и прощался с нею со слезами.

Но время летит, и почти час обеда приходит. Мы опоздали зайти в этот дом, которого наружность вовсе не привлекательна. Здесь большой двор, заваленный сором и дровами; позади огород с простыми овощами, а под домом большой подъезд с перилами, как водилось у наших дедов. Войдя в дом, мы могли бы увидеть в прихожей слуг, оборванных, грубых и пьяных, которые от утра до ночи играют в карты. Комнаты без обоев, стулья без подушек, на одной стене большие портреты в рост царей русских, а напротив — Юдифь, держащая окровавленную голову Олоферна над большим серебряным блюдом, и обнаженная Клеопатра с большой змиею — чудесные произведения кисти домашнего маляра. Сквозь окны мы можем видеть накрытый стол, на котором стоят щи, каша в горшках, грибы и бутылки с квасом. Хозяин в тулупе, хозяйка в салопе; по правую сторону

приходской поп, приходской учитель и шут, а по левую — толпа детей, старуха-колдунья, мадам и гувернер из немцев. О! это дом старого москвича, богомольного князя, который помнит страх божий и воеводство. Пойдем далее. Вот маленький деревянный дом с палисадником, с чистым двором, обсаженным сиренями, акациями и цветами. У дверей нас встречает учтивый слуга не в богатой ливрее, но в простом опрятном фраке. Мы спрашиваем хозяина: войдите! Комнаты чисты, стены расписаны искусной кистию, а под ногами богатые ковры и пол лакированный. Зеркала, светильники, кресла, диваны — все прелестно и кажется отделано самим богом вкуса. Здесь и общество совершенно противно тому, которое мы видели в соседнем доме. Здесь обитает приветливость, пристойность и людскость. Хозяйка зовет нас к столу: мы сядем, где хотим, без принуждения, и, может быть, развеселенный старым вином, я скажу, только не вслух:

Налейте мне еще шампанского стакан,
Я сердцем славянин — желудком галломан!

Вот ударило шесть часов: мы можем идти в театр. Я скажу тебе, что я видел в Петербурге дурных актеров, слышал на сцене нестройные крики, провинциальное наречие, видел кривляния, подлые жесты и самые дурные навыки, видел, что актер не умел и не хотел понимать своей роли, читал в глазах его самое глубокое невежество; одним словом, я видел русскую комедию, русскую трагедию и оперу; видел и сказал: «Может ли что быть хуже этого?» Теперь, побывав в Московском театре, могу смело отвечать самому себе: «Может! — и есть хуже!» Здесь опера не хороша, комедия еще хуже, а трагедия и еще хуже комедии. Но французские актеры не лучше русских. Я видел Тезея, которому мне хотелось сказать: «Братец, вычисти мне сапоги!» Я бьюся об заклад, что он был честный артист-décrotteur [1] и, постепенно переходя из состояния в состояние, сделался, наконец, актером, вопреки уму и природе, и теперь весьма спокойно тиранит стихи Ивана Расина в белокаменной Москве. Я видел Ипполита, сего дикого скифа, которому в уста бессмертный автор Федры вложил прекраснейшие стихи, я видел сего гордого Ипполита в самом жалком положении: черные его волосы, которые до сих пор, падая по высокому стройному челу, вились кудрями,

[1] Чистильщик сапог *(франц.)*.

подобно кудрям Аполлона Бельведерского, сии волосы — порыжели! чистые пламенные глаза его сделались от времени свинцовыми. Конечно, наш скиф немного поразвратился. Ноги и руки жалким образом высохли и пожелтели. Голос звонкий, чистый, голос девственника Ипполита, сделался вял, тяжел и совершенно охрип. Одним словом, Ипполит Расинов или Эврипидов превратился в бедного Фаржа, француза, который живет на Кузнецком мосту в магазине духов и помад.

Занавес поднимается. Ты можешь поверить мои замечания или лучше, не дождавшись конца французской трагедии, воспользоваться прекрасным майским вечером на Пресне.

Пруды украшают город и делают прелестное гулянье. Там сбираются те, которые не имеют подмосковных, и гуляют до ночи. Посмотри, как эти мосты и решетки красивы. Жаль, что берега, украшенные столь миловидными домами и зеленым лугом, не довольно широки. Большое стечение экипажей со всех концов обширного города, певчие и роговая музыка делают сие гульбище одним из приятнейших. Здесь те же люди, что на булеваре, но с большею свободою. Какое множество прелестных женщин! Москву поистине можно назвать Цитерою. Посмотри! Этой малютке четырнадцать лет, и она так невинно улыбается! Но вот идет красавица: ее все знают под сим названием, теперь она первая по городу. За ней толпа — а муж, спокойно зевая позади, говорит о Турецкой войне и о травле медведей. Супруга его уронила перчатку, и молодой человек ее поднял. Жаль, что этого не видал старый болтун N..., отставной полковник, который промышляет новостями. Посторонитесь! Посторонитесь! Дайте дорогу куме-болтунье-спорщице, пожилой бригадирше, жарко нарумяненной, набеленной и закутанной в черную мантилью. Посторонитесь, вы, господа, и вы, молодые девушки! Она ваш Аргус неусыпный, ваша совесть, все знает, все замечает и завтра же поедет рассказывать по монастырям, что такая-то наступила на ногу такому-то, что этот побледнел, говоря с той, а та накануне поссорилась с мужем, потому что сегодня, разговаривая с его братом, разгорелась как роза. Какой это чудак, закутанный в шубу, в бархатных сапогах и в собольей шапке? За ним идет слуга с термометром. О, это человек, который более полувека как все простужается! Заметим этих щеголей; они так заняты собою! Один, в цветном платочке, с букетом цветов, с лорнетом, так нежно улыбается,

и в улыбке его виден след труда. Другой молчит, завсегда молчит: он умеет одеваться, ерошить волосы, а говорить не мастер. Там, вдали на лавке, сидит красавица полупоблеклая. Она вздохнула... еще раз... о том, что ее место заступила новая, которая идет мимо ее и гордо улыбается. Постой, прелестница! Еще две весны, и ты в свою очередь будешь сидеть одна на лавке; ты идешь, и время за тобою. Куда спешит этот пожилой холостяк? Он задыхается от жиру, и пот с него катится ручьями. Он спешит в Английский клуб пробовать нового повара и заморский по́ртер. А этот гусар о чем призадумался, опершись на свою саблю? О, причина важная! Вчера он был один во всей Москве,— теперь явился другой гусар, во сто раз милее и любезнее: по крайней мере так говорят в доме княгини N..., которая по произволению раздает ум и любезность — и его, бедного, забыла! Но кто это болтает палкою в пруде с большим успехом, ибо на него посмотрели две мимоидущие старухи, две столетние парки. О! не мешайте ему. Это тот важный, глубокомысленный человек, который мутил в делах государственных и теперь пузырит воду. Вот два чудака: один из них бранит погоду — а время очень хорошо; другой бранит людей — а люди всё те же; и оба бранят правительство, которое в них нужды не имеет и, что всего досаднее, не заботится о их речах. Оба они *недовольные*. Они очень жалки! Один имеет сто тысяч доходу, и желудок его варить не может. Другой прожился на фейерверках и называет людей неблагодарными за то, что они не собираются в его сад в глубокую полночь. Но кто этот пожилой человек, высокий и бледный, как покойный капитан Хин-Хилла. Старый щеголь, великий мастер делать визиты, который на погребениях и на свадьбах является как тень, как памятник времен екатерининских; он человек праздный, говорун скучный, ибо лгать не умеет за недостатком воображения, а молчать не может за недостатком мысленной силы.

Это гульбище имеет великое сходство с Полями Елисейскими. Здесь мы видим тени великих людей, которые, отыграв важные роли в свете, запросто прогуливаются в Москве. Многие из них пережили свою славу. Eheu, fugaces!..[1]

Но заря потухает. Все разъехались. Прости до будущей прогулки!

1811—1812

---

[1] Увы, быстротекущие... *(лат.)*

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗАМОК СИРЕЙ

Письмо из Франции к г. Дашкову

Из деревни Болонь, лежащей близ города Шомона, я поскакал верхом в Сонкур, где ожидали меня барон де Дамас и г. Писарев, с которыми накануне уговорился я посетить замок Сирей и поклониться теням Вольтера и его приятельницы. В окрестностях Сирея назначены были квартиры нашему отряду; полки тянулись по дороге, и мы их опередили в ближнем селении. Сначала погода нам вовсе не благоприятствовала: холодный и резкий ветер наносил снег и дождь; наконец, небо прояснилось, и солнце осветило прекрасные долины, рощи и горы. Мы проехали чрез местечко Виньори, где заметили развалины весьма древнего замка на высоком утесе, который господствует над селением и близлежащими долинами:

Ein bethürmtes Schloss, voll Majestät,
Auf des Berges Felsenstirn erhöht! [1]

«Кому принадлежит этот замок?» — спросил я у старика, сидящего на пороге сельского домика, тесно примыкающего к развалинам. «Какой-то старой дворянке»,— отвечал он, приподняв красный колпак, старый, изношенный и который, конечно, играл большую роль в бурные годы революции. Это замечание я сделал мимоходом и продолжал вопросы. «Когда построен замок?» — «Во время Шампанских графов, сказывал мне покойный дед *. Храбрые

---

[1] С башнями замок, величия полный,
Высится в скалах на темени гор *(нем.)*.

* Французы и теперь мало заботятся о древних памятниках. Развалины, временем сделанные, ничего в сравнении с опустошениями революции: бурные времена прошли, но невежество или корыстолюбие самое варварское пережили и революцию. Один путешественник, который недавно объехал всю полуденную Францию,

рыцари искали здесь убежища от народных возмущений и укрепили замок башнями, рвами, палисадами. Время и революция все разрушили. Здесь не одна была революция, господин офицер, не одна революция! Я на веку моем пережил одну; тяжелые времена... не лучше нынешних! Посадили дерево вольности... я сам имел честь садить его вон там, на зеленом лугу... Разорили храмы божии... У меня рука не поднималась на злое!.. Но чем же это все кончилось? Дерево срубили, а надписи на паперти церковной: *вольность, братство или смерть* мелом забелили. Чего я не насмотрелся в жизни? И неприятелей на родине моей увидел, и с офицером *козачьим* теперь разговариваю! Чудеса! По совести чудеса!» — «Ты разорился от войны, добрый старичок?» — «Много пострадал, а бедные соседи еще более. Мы все желаем мира».— «О! мы знаем это, но император ваш не желает».— «Прямой корсиканец! Знаете ли, что он объявил нам?» Здесь старик покачал головой, посмотрел на меня пристально и, конечно от робости, заикнулся. «Говори, говори!» — «Охотно, если прикажете. Император,— это было сказано важным и торжественным голосом,— император объявил нам, что он не хочет трактовать о мире с пленными, ибо он почитает вас в плену. Он нарочно завел вас сюда, чтобы истребить до последнего человека: это была военная хитрость, понимаете ли?.. военная хитрость, не что иное... Но вы смеетесь... И нам это смешно показалось, так смешно, что мы префекта, приехавшего сюда с этим объявлением, камнями и грязью закидали. Il s'en souviendra! [1] Но вам пора догонять товарищей. Добрый путь, господин офицер!»

Размышляя о странном характере французов, которые

уверял меня, что целые замки продаются на своз, и таким образом вдруг уничтожаются драгоценные исторические памятники. Напрасно правительство хотело остановить сии святотатства; ничто не помогало, ибо для нынешних французов ничего нет ни священного, ни святого — кроме денег, разумеется. Какая разница с немцами! В Германии вы узнаете от крестьянина множество исторических подробностей о малейшем остатке древнего замка или готической церкви. Все рейнские развалины описаны с возможною историческою точностию учеными путешественниками и художниками, и сии описания вы нередко увидите в хижине рыбака или земледельца. Притом же немцы издавна любят все сохранять, а французы — разрушать: верный знак, с одной стороны, доброго сердца, уважения к законам, к нравам и обычаям предков, а с другой стороны, легкомыслия, суетности и жестокого презрения ко всему, что не может насытить корыстолюбия — отца пороков.

[1] Он будет это помнить. *(франц.)*

смеются и плачут, режут ближних, как разбойники, и дают себя резать, как агнцы, я догнал моих товарищей.

Час от часу дорога становилась приятнее: холмы, одетые виноградником и плодоносными деревьями, между коими мелькали приятные сельские домики, напоминали нам Саксонию, благословенные долины Дрездена, места очаровательные! Разговаривая с товарищами и любуясь красотою видов, мы неприметно проехали несколько миль; каждый замок, каждое местечко мы принимали за Сирей и смеялись своей ошибке. Наконец, поворотя вправо с большой дороги, вдоль по речке Блез, мы увидели жилище славной нимфы сирейской, которой одно имя рождает столько приятных воспоминаний...

В ста шагах от селения возвышается замок на высоком уступе; кругом — рощи и кустарники. Все просто, но природа все украсила.

К замку примыкает английский сад и несколько тенистых аллей, к которым никогда не прикасались ножницы даже в те времена, когда безжалостный Ленотр остригал боскеты версальские, когда последний провинциальный дворянин рассаживал по шнуру смиренные акации и овощи в своем огороде. Вольтер, говоря о замке сирейском, описывая красоты его окрестностей,— кажется, в письме к королю прусскому,— прибавляет:

Trop d'art me révolte et m'ennuie:
J'aime mieux ces vastes forêts![1]

Эти леса и поныне украшают Сирей своею дикостию. Замок сохранил древнюю наружность; можно отличить новые пристройки и балконы. Они принадлежат к Вольтерову времени. На крутой кровле (à la mansarde) я заметил некоторые украшения и высокие продолговатые трубы, обложенные лепными изображениями, похожие на трубы замка Pont sur Seine, принадлежащего Летиции, матери Наполеона. Мы вошли в Сирей и удивились обширным залам, убранным в новейшем вкусе. Наружность того не обещала.

Замок принадлежит г-же де Семиан, женщине весьма умной, некогда прекрасной. Он был разграблен в революцию, и после того времени все строение возобновлено *.

---

[1] Искусственность досадна и скучна,
Милее мне обширные леса! *(франц.)*

* По отступлении русских Сирей был снова разграблен французами за то именно, что русские варвары его пощадили!

К сожалению, мы нашли мало следов прежней обладательницы и ее славного друга, который, как говорит Лебрюн, «утомил стогласную славу».

В столовой несколько картин, изображающих зверей и охоту. Эта живопись, довольно приятная, существовала уже при маркизе, и мы смотрели на нее с большим удовольствием. Пройдя несколько покоев, в правом флигеле замка нам отворили дверь в залу Вольтерову.

Здесь мы нашли большой мраморный камин, тот самый, который согревал Вольтера; несколько новых мебелей: клавесин, маленький орган и два комода. Окны до полу. Две круглые стеклянные двери в сад; одна из них украшена надписями, на камне высеченными. На фронтоне мы прочитали Виргилиев стих: Deus nobis haec otia fecit [1], из первой эклоги; на косяке несколько стихов из Попе, которого Вольтер всегда любил, и, наконец:

> Asile des beaux arts, solitude où mon coeur
> Est toujours occupé dans une paix profonde,
> C'est vous qui donnez le bonheur,
> Que promettait en vain le monde [2],—

стихи, написанные Вольтером в счастливую минуту наслаждения душевного, в глазах божественной Эмилии, единственной женщины, которую он любил наравне со славою, которой он был обязан всем и которая достойно гордилась дружбою творца Заиры *. Из окон сей залы видны ближние деревни и два ряда холмов, заключающих прелестную долину, по которой извивается речка Блез. В глубоком молчании и я и товарищи долго любовались приятным видом отдаленных гор, на которых потухали лучи вечернего солнца. Может быть, совершенная тишина, царствующая вокруг замка, печальное спокойствие зимнего вечера, зелень, коегде одетая снегом, высокие сосны и древние кедры, осеняющие балкон густыми наклоненными ветвями и едва колебле-

---

[1] Бог даровал нам эту мирную жизнь *(лат.)*.

[2] Искусств убежище, уединенье,
Где сердце глубокий покой вкушает,
Лишь вы даруете то наслажденье,
Которое тщетно нам свет обещает *(франц.)*.

* Напрасно мы искали в саду мраморного Амура, который некогда стоял под балконом, с надписью из антологии: „Qui que tu sois, voici ton maître“ и пр., которую перевел г. Дмитриев:

Кто б ни был ты, пади пред ним:
Был, есть иль будет он владыкою твоим!

мые дыханием вечернего ветра, наконец сладкие воспоминания о жителях Сирея, которых имена принадлежат истории, которых имена от детства нам были драгоценны, погрузили нас в тихую задумчивость.

«Здесь Фернейский мудрец,— так воскликнул г. Р — н, житель Сирея, прервав наше молчание,— здесь славнейший муж своего века, чудесный, единственный, который, как говорят, вырезывал на меди для потомства *, который все знал, все сказал **, который имел доброе, редкое сердце, ум гибкий, обширный, блестящий, способный на все, и, наконец, характер, вовсе несообразный ни с умом его, ни с сердцем,— здесь он жил, сей Протей ума человеческого: здесь во цвете лет своих наслаждался он уединением и свободой, которым знал цену, и долго не покидал их для *коронованной сирены*, для рукоплесканий и для прихожей г-жи Помпадур. Странный человек! Он многое предвидел, многое предсказал в политике; но мог ли он предвидеть, что несколько десятков лет спустя вы придете в замок Эмилии с оружием в руках, с толпою жителей берегов Волги и людей, пиющих воды сибирские, и что там, где маркиза прекрасною рукою поливала мак, розы и лилеи, кормила голубей ячменем, вот у этой самой голубятни; что там, где она любила отдыхать под тенью древних кедров, у входа в *Заирину* аллею ***, где Вольтер у ног ее в восторге читал первые стихи бессмертной трагедии и искал похвал и одобрения в голубых глазах своей Урании, в божественной ее улыбке,— там, милостивые государи, там вы расставите часовых с ужасными усами, гренадер и козаков, которые приводят в трепет всю Францию?..»

Мы засмеялись словам г. Р — на, и он продолжал, понизив немного свой голос:

«Здесь долгое время был счастлив Вольтер в объятиях муз и попечительной дружбы. *Там, где я обитаю, земной рай*,— писал он к приятелю своему Терио.— Немудрено! Представьте себе лучшее общество, ученейших людей во Франции, придворных остроумных поэтов, таких, например, как Сен-Ламбер, который умел соединять любезность с глубокими сведениями, философию с людскостию, и в кругу

* Qui gravait pour la postérité — выражение Паллисота, если не ошибаюсь.

** Qui a tout dit — Шатобриан, говоря о Вольтере.

*** И до сих пор одна аллея называется *Заириною*. Там сочинял Вольтер свою трагедию.

таких людей — маркизу, которая умела все одушевить своим присутствием, всему давала неизъяснимую прелесть,— и вы будете иметь понятие о земном рае Вольтера. «Она — чудо во Франции»,— говорил Вольтер *. Ум необыкновенный, лицо прекрасное, душа ангела, откровенность ребенка и ученость глубокая — все было очаровательно в этой волшебнице! Она, вопреки г-же Жанлис, вопреки журналисту Жоффруа и всем врагам философии, была достойна и пламенной любви Сен-Ламбера, и дружбы Вольтера, и славы века своего. Здесь маркиза кончила жизнь свою, на лоне дружества. Все жители плакали о ней, как о нежной, попечительной матери. У бедных память в сердце: они еще благословляли прах ее, когда литераторы наши начали возмущать его спокойствие клеветами и постыдным ругательством. Но Вольтер был неутешен. Вы помните его письмо, в котором он из Бар-Сюр-Оба уведомляет о болезни и потом о смерти маркизы. Беспорядок этого письма доказывал его глубокую горесть. И мог ли он не сожалеть об утрате единственной женщины, о которой и вы, иностранцы, неприятели, говорите с любовию, с уважением?»

Наш учтивый путеводитель продолжал бы более речь свою, если бы не позвали к обеду.

Столовая была украшена русскими знаменами... Но мы утешили пугливые тени сирейской нимфы и ее друга, прочитав несколько стихов из «Альзиры».

Таким образом, примирились мы с пенатами замка, и с некоторою гордостию, простительною воинам, в тех покоях, где Вольтер написал лучшие свои стихи, мы читали с восхищением оды певца Фелицы и бессмертного Ломоносова, в которых вдохновенные лирики славят чудесное величие России, любовь к отечеству сынов ее и славу меча русского.

> C'est du Nord à présent que nous vient la lumière [1].
>
> От Севера теперь сияет свет наук.

Обед продолжался долго. Вечер застал нас, как героев древнего Омера, с чашею в руках и в сладких разговорах,

---

* „Madame du Châtelet sera comptée au rang des choses qu'il faut voir en France, parmi celles, qu'on y regrettera toujours",— писал Вольтер к Кейзерлингу. [Мадам дю Шатле принадлежит к числу тех достопримечательностей, которые необходимо посмотреть во Франции, о которых будут там всегда вспоминать с сожалением *(франц.)*.]

[1] Несколько видоизмененный стих Вольтера.

основанных на откровенности сердечной, известных более добродушным воинам, нежели вам, жителям столицы и блестящего большого света.

Но мы еще воспользовались сумерками: обошли нижнее жилье замка, где живет г-жа де Семиан, осмотрели ее библиотеку — прекрасный и строгий выбор лучших писателей, составляющих любимое чтение сей умной женщины, достойной племянницы г-жи дю Шатле: любезность, ум и красота наследственны в этом семействе. Есть другая библиотека в нижнем этаже; она, кажется, предоставлена гостям. Древнее собрание книг, важное по многим отношениям, совершенно расхищено в революцию. Вольтеровых книг и не было в замке со времени его отъезда: по смерти маркизы он увез с собою книги, ему принадлежавшие, и некоторые рукописи. «Надобно ехать в Ферней,— говорил г. Р—н,—там, может быть, находятся сии драгоценности».— «Надобно ехать в Петербург,— заметил справедливо г. Писарев,— в Эрмитаже и рукописи и библиотека фернейские».

Стужа увеличилась с наступлением ночи. В Вольтеровой галерее мы развели большой огонь, который не мог нас согреть совершенно. Перед нами на столе лежали все Вольтеровы сочинения, и мы читали с большим удовольствием некоторые места его переписки, в которых он говорит о г-же дю Шатле. В шуме военном приятно отдохнуть мыслями на предмете, столь любви достойном. Глубокая ночь застала нас в разговорах о протекшем веке, о великой Екатерине, лучшем его украшении, о ссоре короля прусского со своим камергером и пр. у того самого камина, на том самом месте, где Вольтер сочинял свои послания к славным современникам и те бессмертные стихи, для которых единственно простит его памяти справедливо раздраженное потомство. Г. Писарев был в восхищении. Наконец, надобно было расстаться и думать о постели. Мне отвели комнату в верхнем жилье, весьма покойную, но где с трудом можно было развести огонь. Старый ключник объявил мне, что в этом покое обыкновенно живет г. Монтескьу, родственник хозяйки, весьма умный и благосклонный человек, и что он, ключник, радуется тому, что мне досталась его спальня. «Vous avez l'air d'un bon enfant, mon officier» [1],—продолжал он, дружелюбно ударив меня по плечу. Прекрасно, но от его *учтивостей* комната мне не показалась теплее. Во всю ночь я раскладывал

---

[1] Вы выглядите славным малым, господин офицер *(франц.)*.

огонь, проклинал французские камины и только на рассвете заснул *железным* сном, позабыв и Вольтера, и маркизу, и войну, и всю Францию.

Проснувшись довольно поздно, подхожу к окну и с горестью смотрю на окрестность, покрытую снегом.

Я не могу изъяснить того чувства, с которым, стоя у окна, высчитывал я все перемены, случившиеся в замке. Сердце мое сжалось. Все, что было приятно моим взорам накануне,— и луга, и рощи, и речка, близ текущая по долине, между веселых холмов, украшенных садами, виноградником и сельскими хижинами,— все нахмурилось, все уныло. Ветер шумит в кедровой роще, в темной аллее *Заириной* и клубит сухие листья вокруг цветников, истоптанных лошадьми и обезображенных снегом и грязью. В замке, напротив того, тишина глубокая. В камине пылают два дубовые корня и приглашают меня к огню. На столе лежат письма Вольтеровы, из сего замка писанные. В них все напоминает о временах прошедших, о людях, которые все исчезли с лица земного с своими страстями, с предрассудками, с надеждами и с печалями, неразлучными спутницами бедного человечества. К чему столько шуму, столько беспокойства? К чему эта жажда славы и почестей? — спрашиваю себя и страшусь найти ответ в собственном моем сердце.

На другой день.

Ввечеру я простился с товарищами, как будто предчувствуя, что их долго, долго не увижу. Печален

> Come navigante
> Ch'a detto a dolci amici addio [1].

На дворе ожидал меня козак с верховою лошадью. «Поздно мы пустились в путь!» — сказал он, как мертвец в балладе. «Что нужды? — отвечал я,— дорога известна». Притом же...

> Вот и месяц величавой
> Встал над тихою дубравой.

Топот конских ног раздался по мостовой обширного двора. Мы удалились от замка... Между тем ночь становилась темнее и темнее. С трудом находили мы дорогу, пробирались по высоким горам дремучим лесом, в виду древнего

---

[1] Как мореплаватель, который сказал „прости" милым друзьям *(итал.)*.

замка Виньори, где австрийцы расположились биваками посреди лошадей и высоких фур, в различных положениях, достойных кисти Орловского. Одни спокойно спали на соломе, которая начинала загораться; другие распевали тирольские и богемские песни вокруг пылающего пня, который осыпал их искрами при малейшем дуновении ветра; другие оборачивали вертел с большою частью барана, в ожидании товарищей, которые толпились вокруг маркитанта, разливающего им вино и водку. Одеяние и лица их еще страшнее казались, освещенные пламенем бивака, и напоминали мне Валленштейнов лагерь, описанный Шиллером, или сбиров Сальватора Розы. Из Виньори мы поворотили вправо по дороге, проложенной по лесу. Поднялась страшная буря: конь мой от страху останавливался, ибо вдали раздавался вой волков, на который собаки в ближних селениях отвечали протяжным лаем...

Вот, скажете вы, прекрасное предисловие к рыцарскому похождению! Бога ради, сбейся с пути своего, избавь какую-нибудь красавицу от разбойников или заезжай в древний замок. Хозяин его, старый дворянин, роялист, если тебе угодно, примет тебя, как странника, угостит в зале трубадуров, украшенной фамильными гербами, ржавыми панцырями, мечами и шлемами: хозяйка осыплет тебя ласками, станет расспрашивать о родине твоей, будет выхвалять дочь свою, прелестную, томную Агнесу, которая, потупя глаза, покраснеет, как роза, а за десертом, в угождение родителям, запоет древний романс о древнем рыцаре, который в бурную ночь нашел пристанище у неверных... и пр., и пр., и пр. Напрасно, милый друг! Со мной ничего подобного не случилось. Не стану следовать похвальной привычке путешественников, не стану украшать истину вымыслами, а скажу просто, что, не желая ночевать на дороге с волками, я пришпорил моего коня и благополучно возвратился в деревню Болонь, откуда пишу эти строки в сладостной надежде, что они напомнят вам о странствующем приятеле. Сказан поход — вдали слышны выстрелы. Простите!

26 февраля 1814 г.

ПРОГУЛКА В АКАДЕМИЮ ХУДОЖЕСТВ

Письмо старого московского жителя к приятелю в деревню его Н.

Ты требуешь от меня, мой старый друг, продолжения моих прогулок по Петербургу. Повинуюсь тебе.

На этот раз я буду говорить об Академии художеств, которая после двадцатилетнего нашего отсутствия из Петербурга столько переменилась... «Говори, говори об Академии художеств!» — так воскликнешь ты, начиная чтение моего болтливого письма. Мы издавна любили живопись и скульптуру, и в твоем маленьком домике на Пресне (которого теперь и следов не осталось!) мы часто заводили жаркие споры о голове Аполлона Бельведерского, о мизинце Гебы славного Кановы, о коне Петра Великого, о кисти Рафаэля, Корреджио, даже самого Сальватора Розы, Мурильо, Койпеля и пр. Так — я во многом с тобой соглашался, а ты ни в чем со мною, а еще менее с добрым живописцем Ализовым, с товарищем славного Лосенкова, который часто смешил и сердил нас своим упрямством и добродушием. Мы спорили; время летело в приятных разговорах. Счастливое, невозвратное время! Пожар Москвы поглотил и домик твой со всеми дурными картинами и эстампами, которые ты покупал за бесценок у торгашей на аукционах, а в Немецкой слободе у отставных стряпчих; он поглотил маленькую Венеру, в которой ты находил нечто божественное, и бюст Вольтеров с отбитым носом, и маленького амура с факелом, и бронзового фавна, которого Ализов отрыл... будто бы на развалинах какой-то бани близ Неаполя и которым он приводил в восхищение и тебя, и меня, и всех знатоков нашего квартала. Пожар, немилосердый пожар поглотил даже акациеву беседку, с красивыми скамейками, с дубовым столом, на котором мы, разливая чай, любовались прелестными видами:

Москвой-рекою, которая извивается по лугу вокруг стен и высоких башен Девичьего монастыря, Васильевским, Воробьевыми горами с тенистыми рощами — и закатом вечернего солнца. Пожар поглотил наше убежище. Но в памяти моей осталось воспоминание твоей любви к изящным художествам и охоты спорить, которая, конечно, укротилась от времени, а более всего от политических обстоятельств. «Итак, говори об Академии художеств, о произведениях наших артистов: я буду слушать с удовольствием. Всякая новость из столицы приятна пустыннику, который и на старости лет еще пламенно любит отечество, успехи и славу сограждан». Вот что ты скажешь, развернув мое письмо.—Я начну мой рассказ сначала, как начинает обыкновенно болтливая старость. Слушай.

Вчерашний день, поутру, сидя у окна моего с Винкельманом в руке, я предался сладостному мечтанию, в котором тебе не могу дать совершенно отчета; книга и читанное мною было совершенно забыто. Помню только, что, взглянув на Неву, покрытую судами, взглянув на великолепную набережную, на которую, благодаря привычке, жители петербургские смотрят холодным оком, любуясь бесчисленным народом, который волновался под моими окнами, сим чудесным смешением всех наций, в котором я отличал англичан и азиатцев, французов и калмыков, русских и финнов, я сделал себе следующий вопрос: что было на этом месте до построения Петербурга? Может быть, сосновая роща, сырой, дремучий бор или топкое болото, поросшее мхом и брусникою; ближе к берегу — лачуга рыбака, кругом которой развешены были мрежи, невода и весь грубый снаряд скудного промысла. Сюда, может быть, с трудом пробирался охотник, какой-нибудь длинновласый Финн...

За ланью быстрой и рогатой,
Прицелясь к ней стрелой пернатой.

Здесь все было безмолвно. Редко человеческий голос пробуждал молчание пустыни дикой, мрачной, а ныне?.. Я взглянул невольно на Троицкий мост, потом на хижину великого монарха, к которой по справедливости можно применить известный стих:

Souvent un faible gland recèle un chêne immense![1]

---

[1] Часто малый желудь заключает в себе огромный дуб — несколько видоизмененный стих из поэмы Делиля „Воображение" *(франц.)*.

И воображение мое представило мне Петра, который в первый раз обозревал берега дикой Невы, ныне столь прекрасные! Из крепости Нюсканц еще гремели шведские пушки; устье Невы еще было покрыто неприятелем, и частые ружейные выстрелы раздавались по болотным берегам, когда великая мысль родилась в уме великого человека. Здесь будет город, сказал он, чудо света. Сюда призову все художества, все искусства. Здесь художества, искусства, гражданские установления и законы победят самую природу. Сказал — и Петербург возник из дикого болота.

С каким удовольствием я воображал себе монарха, обозревающего начальные работы; здесь вал крепости, там магазины, фабрики, Адмиралтейство. В ожидании обедни в праздничный день или в день торжества победы государь часто сиживал на новом вале с планом города в руках, против крепостных ворот, украшенных изваянием апостола Петра из грубого дерева. Именем святого должен был назваться город, и на жестяной доске, прибитой под его изваянием, изображался славный в летописях мира 1703 год римскими цифрами. На ближнем бастионе развевался желтый флаг с большим черным орлом, который заключал в когтях своих четыре моря, подвластные России. Здесь толпились вокруг монарха иностранные корабельщики, матросы, художники, ученые, полководцы, воины; меж ними простый рождением, великий умом, любимец царский, Меншиков, великодушный Долгорукий, храбрый и деятельный Шереметев и вся фаланга героев, которые создали с Петром величие Русского царства...

Таким образом, погруженный в мое мечтание, я не приметил, что двери комнаты отворились и сын моего старого приятеля Н., молодой, весьма искусный художник, приветствовал меня с добрым утром.

«Я пришел нарочно за вами,— сказал он,— сегодня Академия художеств открыта для любопытных, и я готов быть вашим путеводителем, вашим чичероне, если угодно! Вы увидите много хорошего, полюбуетесь некоторыми произведениями русского резца и кисти; о других теперь ни слова. Посмотрите,— продолжал он, открывая окно,— какое прекрасное время! Весь город гуляет, и мы с толпой гуляющих неприметным образом пройдем в Академию».

«С удовольствием,— отвечал я молодому человеку,— около двадцати лет я не видал Академии, и как здесь все

идет исполинскими шагами к совершенству, то надеюсь, что и художества приведут меня в приятное изумление. Вот мой посох, моя шляпа — пойдем!»

И в самом деле, время было прекрасное. Ни малейший ветерок не струил поверхности величественной, первой реки в мире, и я приветствовал мысленно богиню Невы словами поэта:

Обтекай спокойно, плавно,
Горделивая Нева,
Государей зданье славно
И тенисты острова.

Великолепные здания, позлащенные утренним солнцем, ярко отражались в чистом зеркале Невы, и мы оба единогласно воскликнули: «Какой город! какая река!»

«Единственный город! — повторил молодой человек.— Сколько предметов для кисти художника! Умей только выбирать. И как жаль, что мои товарищи мало пользуются собственным богатством. Живописцы перспективы охотнее пишут виды из Италии и других земель, нежели сии очаровательные предметы. Я часто с горестию смотрел, как в трескучие морозы они трудятся над пламенным небом Неаполя, тиранят свое воображение и часто — взоры наши. Пейзаж должен быть портрет. Если он не совершенно похож на природу, то что в нем? Надобно расстаться с Петербургом,— продолжал он,— надобно расстаться на некоторое время, надобно видеть древние столицы — ветхий Париж, закопченный Лондон, чтоб почувствовать цену Петербурга. Смотрите — какое единство! Как все части отвечают целому! Какая красота зданий, какой вкус, и в целом какое разнообразие, происходящее от смешения воды со зданиями. Взгляните на решетку Летнего сада, которая отражается зеленью высоких лип, вязов и дубов! Какая легкость и стройность в ее рисунке! Я видел славную решетку Тюльерийского замка, отягченную, раздавленную, так сказать, украшениями — пиками, касками, трофеями. Она безобразна в сравнении с этой».

Энтузиазм, с которым говорил молодой художник, мне весьма понравился. Я пожал у него руку и сказал ему: «Из тебя будет художник!» Не знаю, понял ли он мои пророческие слова, но, посмотрев на меня с улыбкою удовольствия, продолжал: «Взгляните теперь на набережную, на сии огромные дворцы — один другого величественнее! на сии домы — один другого красивее! Посмотрите на Васильев-

ский остров, образующий треугольник, украшенный биржею, ростральными колоннами и гранитною набережною, с прекрасными спусками и лестницами к воде. Как величественна и красива эта часть города! Вот произведение, достойное покойного Томона, сего неутомимого иностранца, который посвятил нам свои дарования и столько способствовал к украшению Северной Пальмиры! Теперь от биржи с каким удовольствием взор мой следует вдоль берегов и теряется в туманном отдалении между двух набережных, единственных в мире!»

«Так, мой друг,— воскликнул я,— сколько чудес мы видим перед собою, и чудес, созданных в столь короткое время, в столетие — в одно столетие! Хвала и честь великому основателю сего города! Хвала и честь его преемникам, которые довершили едва начатое им среди войн, внутренних и внешних раздоров. Хвала и честь Александру, который более всех, в течение своего царствования, украсил столицу Севера! И в какие времена? Когда бремя и участь целой Европы лежали на его сердце, когда враг поглощал землю русскую, когда меч и пламень безумца пожирал то, что созидали веки!..»

Разговаривая таким образом, мы подходили к Адмиралтейству. Помню, скажешь ты, помню эту безобразную длинную фабрику, окруженную подъемными мостами, рвами глубокими, но нечистыми, заваленными досками и бревнами. Остановись, почтенный мой приятель! Кто не был двадцать лет в Петербурге, тот его, конечно, не узнает. Тот увидит новый город, новых людей, новые обычаи, новые нравы. Вот что я повторяю тебе ежедневно в моих записках. И здесь то же превращение. Адмиралтейство, перестроенное Захаровым, превратилось в прекрасное здание и составляет теперь украшение города. Прихотливые знатоки недовольны старым шпицем, который не соответствует, по словам их, новой колоннаде, но зато колоннада и новые павильоны или отдельные флигели прелестны. Вокруг сего здания расположен сей прекрасный бульвар, обсаженный липами, которые все принялись и защищают от солнечных лучей. Прелестное, единственное гульбище, с которого можно видеть все, что Петербург имеет величественного и прекрасного: Неву, Зимний дворец, великолепные домы Дворцовой площади, образующей полукружие, Невский проспект, Исаакиевскую площадь, Конногвардейский манеж, который напоминает

Партенон, прелестное строение г. Гваренги сенат, монумент Петра I и снова Неву с ее набережными!

Я хотел отдохнуть, и мы сели на одну из лавок бульвара. Площадь была покрыта каретами, бульвар — гуляющими. Между тем как я рассматривал знакомые и незнакомые лица, некто, человек пожилой и хворый, присел на лавку возле меня. Черты его мне были знакомы, но время изгладило из моей памяти его имя. Знакомый *незнакомец* глядел на меня пристально минуту, две, три... и, наконец, я узнал в нем Старожилова.

«Как ты переменился!» — воскликнули мы оба, глядя пристально друг на друга. «Как все переменилось с тех пор, как я тебя видел здесь!» — прибавил Старожилов с тяжелым вздохом, от которого морщины на его лбу сделались еще глубже. Я не стану тебе говорить о вопросах, которые мы делали взапуски друг другу: можешь их легко угадать; скажу только, что наш старый знакомый, узнав намерение наше посетить Академию, взглянул на часы и сказал мне: «Теперь еще рано: к трем часам я могу поспеть в клуб, где я должен пробовать новое вино и сказать мое мнение насчет важного постановления в клубе, о котором я размышлял целое утро». Важность, с которою он говорил, заставила нас улыбнуться. К счастию, Старожилов того не приметил и продолжал: «Прогулка мне будет полезна, ибо сегодня солнце греет, как летом. Я побреду с вами в Академию — вовсе не из любопытства; там ничего хорошего нет. Я давно недоволен нашими художниками во всех родах, но мне нужно рассеяние, единственно рассеяние!» — прибавил он, кашляя беспрестанно.

Между тем как мы идем медленными шагами в Академию, соображаясь с походкою подагрика, я скажу тебе мимоходом, что Старожилов, которого мы знали в молодости нашей столь блестящего, столь веселого, столь рассеянного, ныне сделался брюзгою, недовольным, одним словом совершенным образцом старого холостого человека. Ты помнишь, что в молодости он имел живой ум, некоторые познания и большой навык в свете. Ныне цвет ума его завял, прежняя живость исчезла, познания, не усовершенные беспрестанными трудами, изгладились или превратились в закоренелые предрассудки, и все остроумие его погибло, как блестящий фейерверк. Конечно, рассудок забыл шепнуть ему: старайся быть полезен обществу! Недеятельная жизнь, говорит мудрец Херонейский, расслабляет тело и душу. Стоячая вода гниет;

способности человека в бездействии увядают, и за молодостию невидимо крадется время:

Прийдут, прийдут часы те скучны,
Когда твои ланиты тучны
Престанут грации трепать!

Тогда общество справедливою холодностию отмстит тебе за то, что ты был его бесплодным членом. Старожилов, проживший вертопрахом до некоторого времени, проснулся в сорок лет стариком, с подагрою, с полурасстроенным имением, без друга, без привязанностей сердечных, которые составляют и мучение, и сладость жизни, он проснулся с душевною пустотою, которая превратилась в эгоизм и мелочное самолюбие. Ему все наскучило, он всем недоволен: в его время и лучше веселились, и лучше говорили, и лучше писали. Трагедии Княжнина, по его мнению, лучше трагедий Озерова; басни Сумарокова предпочитает он басням Крылова, игру Сахаровой — игре Семеновой, и так далее. «Как скучна нынешняя жизнь!» — говорит он; и этому поверить можно. Зачем, спрашиваю я, зачем постоянно десять лет является он в клубе? Чтобы слушать, изобретать или распускать городские вести или газетные тайны, чтобы бранить нещадно все новое и прославлять любезную старину, отобедать и заснуть за чашкою кофе при стуке шаров и при единообразном счете маркера, который, насчитав 48, ненавистным числом напоминает ему его лета. Сонный садится он в карету и едва просыпается в театре при первом ударе смычка.

Разговаривая с ним о старине, которую я выхвалял из снисхождения, мы приближались к Академии.

Я долго любовался сим зданием, достойным Екатерины, покровительницы наук и художеств. Здесь на каждом шагу просвещенный патриот должен благословлять память монархини, которая не столько завоеваниями, сколько полезными заведениями заслуживает от признательного потомства имя великой и мудрой. Сколько полезных людей приобрело общество чрез Академию художеств! Редкое заведение у нас в России принесло столько пользы. Но чему приписать это? Постоянному и мудрому плану, которому следует с давнего времени начальство, и достойному выбору вельмож деятельных и просвещенных на место президентское. Я стар уже; но при мысли о полезном деле или учреждении для общества чувствую, что сердце мое бьется живее, как у юноши, который не утратил еще прелестной способности чувство-

вать красоту истинно полезного и предается первому движению благородной души своей. Вступая на лестницу, я готов был хвалить с жаром монархиню и некоторых вельмож, покровителей отечественных муз; но докучный Старожилов воскликнул, с трудом переводя дух и отдыхая на первых ступенях: «Боже мой! какая крутая лестница! и как она узка и как безобразна! И к чему эта Венера с амазонками? Я никогда не был охотник до гипсов; лучше ничего или все — вот мое правило. Здесь надлежало бы поставить что-нибудь свое, произведение наших художников», и пр. и пр. Толпа у дверей не позволила ему окончить своего критического замечания, и мы остановились весьма кстати у двух превеликих сатиров, называемых теламонами, или атлантами (мужские кариатиды). «Вот украшение довольно странное,— заметил молодой художник,— и которое новейшие художники употребляли часто некстати, а более всего в Париже. Женские кариатиды еще безобразнее мужских. Можно ли видеть без отвращения прекрасную женщину, страдающую под тягостным бременем и с необыкновенным усилием во всех членах и мускулах поддерживающую целое здание или огромную часть оного? Одно жестокое сердце может любить такого рода изображения, и затем-то, может быть, французские артисты, тайно угождая вкусу Наполеона, ставили кариатиды везде, где только можно было. В некоторых его замках каждую дверь поддерживают две страдалицы. В самом музеуме их множество. Здесь же сии кариатиды приличны, ибо могут служить образцами любопытным молодым художникам».

Мы вошли в ротонду, установленную гипсовыми слепками с антиков. «Вот консул Бальбус,— сказал мне наш спутник, указывая на большого всадника.— Подлинник статуи найден в Геркулануме».— «Но эта лошадь вовсе не красива»,— заметил Старожилов молодому артисту, качая головою.

«Вы правы,— отвечал он,— конь не весьма статен, короток, высок на ногах, шея толстая, голова с выпуклыми щеками, поворот ушей неприятный. То же самое заметите в другой зале у славного коня Марка Аврелия. Художники новейшие с бо́льшим искусством изображают коней. У нас перед глазами Фальконетово произведение, сей чудесный конь, живый, пламенный, статный и столь смело поставленный, что один иностранец, пораженный смелостию мысли, сказал мне, указывая на коня Фальконетова: «Он скачет,

как Россия!» Но я не смею мыслить вслух о коне Бальбуса, боясь, чтобы меня не подслушали некоторые упрямые любители древности. Вы себе представить не можете, что теряет в их мнении молодой художник, свободно мыслящий о некоторых условных красотах в изящных художествах... Пойдемте далее».

Мы вошли в другую залу, где находятся слепки с неподражаемых произведений резца у греков и римлян. Прекрасное наследие древности, драгоценные остатки, которые яснее всех историков свидетельствуют о просвещении древних; в них-то искусство есть, так сказать, отголосок глубоких познаний природы, страстей и человеческого сердца. Какое истинное богатство, какое разнообразие! Здесь вы видите Геркулеса Фарнезского, образец силы душевной и телесной. Вот умирающий боец или варвар; вот комический поэт и бесподобный фавн. Здесь прекрасные группы: Лаокоон с детьми — драматическое творение резца неизвестного! Вот Арвия и Петус, и семейство несчастной Ниобы. Здесь вы видите Венеру, образец всего красивейшего, одним словом — Венеру Медицис. Вот целый ряд колоссальных бюстов Юпитера Олимпийского,

Кто манием бровей колеблет неба свод,

Юноны, Менелая, Аякса, Кесаря и пр. И, наконец, я спрашиваю себя, отчего сердце мое забилось сильнее?

Наполнил грудь восторг священный,
Благоговейный обнял страх,
Приятный ужас потаенный
Течет во всех моих костях;
В веселье сердце утопает,
Как будто бога ощущает,
Присутствующего со мной!..
Я вижу, вижу Аполлона
В тот миг, как он сразил Пифона
Божественной своей стрелой!
Зубчата молния сверкает,
Звенит в руке спущенный лук,
Ужасная змия зияет
И вмиг свой испускает дух.

Вот сей божественный Аполлон, прекрасный бог стихотворцев! Взирая на сие чудесное произведение искусства, я вспоминаю слова Винкельмана: «Я забываю вселенную,— говорит он,— взирая на Аполлона, я сам принимаю благороднейшую осанку, чтобы достойнее созерцать его». Имея

столь прекрасного бога покровителем, мудрено ли, спрашиваю вас, мудрено ли, что один из наших поэтов воскликнул однажды в припадке пиитической гордости:

Я с возвышенною везде хожу главой!

«Вот наши сокровища,— сказал художник Н., указывая на Аполлона и другие антики,— вот источник наших дарований, наших познаний, истинное богатство нашей Академии; богатство, на котором основаны все успехи бывших, нынешних и будущих воспитанников. Отнимите у нас это драгоценное собрание и скажите, какие бы мы сделали успехи в живописи и в ваянии? Надобно желать, чтоб оно еще было удвоено, утроено. Здесь многого недостает; но то, что есть, прекрасно, ибо слепки верны и могут удовлетворить самого строгого наблюдателя древности».

Пройдя две небольшие залы, мы увидели толпу зрителей перед большою картиною. Вот новая картина г. Егорова! Одно имя сего почтенного академика возбуждает твое любопытство... Итак, я перескажу от слова до слова суждение о его новой картине, то есть то, что я слушал в глубоком молчании.

«Подойдемте поближе,— сказал Старожилов, надевая с комическою важностию очки свои.— Я немного наслышался об этом художнике».

Художник изобразил истязание Христа в темнице. Четыре фигуры выше человеческого роста. Главная из них — спаситель, перед каменным столпом, с связанными назад руками, и три мучителя, из которых один прикрепляет веревку к столпу, другой снимает ризы, покрывающие искупителя, и в одной руке держит пук розог, третий воин... кажется, делает упреки божественному страдальцу; но решительно определить намерения артиста весьма трудно, хотя он и старался дать сильное выражение лицу воина — может быть, для противуположности с фигурою Христа.

«Посмотрите,— сказал нам молодой художник,— как туловище Христа нарисовано правильно, просто и благородно. Кажется, что глубокий вздох готов вырваться из подъятой груди его».— «Но лицо не соответствует красоте всего тела,— возразил Старожилов,— признайтесь сами, что глаза его слишком велики; в них нет ничего божественного».— «Я с вами не совсем согласен: положение головы прекрасно, и в лице вы видите сильное выражение страдания, горести и покорности воле отца небесного».— «К сожалению, эта

фигура напоминает изображение Христа у других живописцев, и я напрасно ищу во всей картине оригинальности, чего-то нового, необыкновенного, одним словом — своей мысли, а не чужой».— «Вы правы, хотя не совершенно: этот предмет был написан несколько раз. Но какая в том нужда? Рубенс и Пуссень, каждый писали его по-своему, и если картина Егорова уступает Пуссеневой, то, конечно, выше картины Рубенсовой...» — «Как что нужды? Пуссень и Рубенс писали истязание Христово: тем я строже буду судить художника, тем я буду прихотливее. Если б какой-нибудь, впрочем, и весьма искусный, живописец вздумал написать картину преображения, я сказал бы ему: конечно, вы не видали картины Рафаэлевой? Если б поэт вздумал написать нам Ифигению в Авлиде, я сказал бы ему: ее написал Расин прежде тебя,— и так далее».— «Но признайтесь по крайней мере, что мучитель, прикрепляющий веревку, которою связаны руки Христа, написан прекрасно, правильно и может назваться образцом рисунка. Он ясно показывает, сколько г. Егоров силен в рисунке, сколько ему известна анатомия человеческого тела. Вот оригинальность нашего живописца!» — «Это все справедливо, но к чему усилие сего человека? Чтобы затянуть узел? Я вижу, что живописец хотел написать академическую фигуру, и написал ее прекрасно; но я не одних побежденных трудностей ищу в картине. Я ищу в ней более: я ищу в ней пищи для ума, для сердца; желаю, чтобы она сделала на меня сильное впечатление, чтобы она оставила в сердце моем продолжительное воспоминание, подобно прекрасному драматическому представлению, если изображает предмет важный, трогательный. К тому же, согласитесь, что другой мучитель поставлен дурно. А воин?.. он вовсе лишний, он ни на кого не глядит... хотя глаза его отверзты необыкновенным образом. К чему, спрашиваю вас, на римском воине шлем с змеем, и почему в темнице Христовой лежит железная рукавица? Их начали употреблять десять веков или более после рождества Христова; не значит ли это ....»

«Конечно, так!— сказал Старожилову какой-то незнакомец, который долго вслушивался в разговор (мы приняли его за художника),— конечно, так! Если художники наши будут более читать и рассматривать прилежнее книги, в которых представлены обряды, одежды и вооружение древних, то подобных анахронизмов делать не будут».— «Но, признайтесь, государь мой, признайтесь, отложа

всякое пристрастие, что эта картина обещает дальнейшие успехи. Если обстоятельства, которые часто не благоприятствовали нашим артистам, если обстоятельства позволят ее живописцу заниматься постоянно сочинением больших картин, то можно ожидать, что он, утвердясь в выборе, в употреблении и согласовании красок и познакомясь со многими механическими приемами (тайны, которые должен угадывать художник в живописном деле), при твердой, правильной и красивой его рисовке, при изобретательном и благоразумном даровании, со временем не уступит лучшим живописцам итальянской, французской и испанской школы»'.

Будучи от природы снисходительнее и любя наслаждаться всем прекрасным, я с большим удовольствием смотрел на картину г. Егорова и сказал мысленно: «Вот художник, который приносит честь Академии и которым мы, русские, можем справедливо гордиться».

В следующих комнатах продолжались выставки и по большей части молодых воспитанников Академии. Я смотрел с любопытством на ландшафт, изображающий вид окрестностей Шафгаузена и хижину, в которой государь император с великою княгинею Екатериною Павловною угощены новым Филемоном и Бавкидою. Вдали видно падение Рейна, не весьма удачно написанное.

В той же самой комнате проект на соборную церковь и два проекта для монумента из отнятых у неприятеля пушек: оба не соответствуют прекрасной и высокой мысли.— Вот празднование пасхи в Париже Александром и его победоносными войсками. Какой предмет для патриота! С каким чистейшим удовольствием смотрел я на эту картину! Толпы народа и войска представлены ясно, но я заметил, что цвет неба и облаков холоден и тяжел.

Множество зрителей всякого звания толпились перед большою картиною, изображающею Христа с учениками и блудницею. Одни хвалили с жаром, другие осуждали. De gustibus non est disputandum![1] «Видно, что живописец,— сказал нам молодой наш путеводитель,— живописец, скупой на искусство и вкус, не пощадил полотна, розовой и голубой краски».— «И времени,— прибавил Старожилов.— Вы видите здесь и другую картину: Венеру розовую на голубом поле, с голубками и с Купидоном — неудачное подражание Тициану или китайским картинам без теней,— Венеру,

---

[1] О вкусах не спорят *(лат.)*.

которая не имеет ни малейшего сходства с Венерою Омера, Овидия или Лукреция, но живым образом напоминает нам какую-нибудь богиню из шуточной поэмы Майкова или из «Энеиды, вывороченной наизнанку». Вы видите там, на другой стене, триумф государя, наподобие Рубенса. Теперь взгляните на этого больного старика с факелом, подражание Жирару де ла Нотте, и признайтесь, что эти живописцы в своем подражании оригинальны. Они-то могут назваться со временем основателями новой итальянской школы, la Scuola Pietrobourghese [1], и затмить своею чудесною кистию славу своих соотечественников — славу Рафаэля, Корреджио, Тициана, Альбана и проч.»

Пускай глаза наши, ослепленные яркими красками сих живописей, на которых Ньютон мог бы открыть все преломления луча солнечного, пускай глаза наши отдохнут на произведении г. Есакова. Вот его резные камни: один изображает Геркулеса, бросающего Иоласа в море, другой — киевлянина, переплывшего Днепр. Большая твердость в рисунке! Пожелаем искусному художнику более навыка, без которого нет легкости и свободы в отделке мелких частей. Смелости у него довольно; а знаний?.. «Век живи, век учись,— сказал Старожилов.— Согласитесь, однакоже,— шепнул он молодому художнику,—согласитесь, что, кроме картины Егорова, мы ничего не видели совершенного или близкого к совершенству».

«Может быть! — отвечал он,— но прошу вас взглянуть на рисунок Уткина. Этот превосходный рисунок, как вы видите, изображает святую фамилию с Гвидо Рени. Другой рисунок — портрет князя Александра Борисовича Куракина и с него гравированный портрет сего вельможи».— «Вот истинное искусство! — сказал Старожилов, изменяя своему прекрасному правилу: Nil admirari [2].— Г. Уткин, известный и уважаемый в Париже, может стать наряду с лучшими граверами в Европе. Конечно, и в отечестве своем найдет он людей просвещенных, достойных ценителей его редкого таланта!»

Но с каким удовольствием смотрели мы на портреты г. Кипренского, любимого живописца нашей публики. Правильная и необыкновенная приятность в его рисунке,

---

[1] Петербургской школы *(итал.)*.
[2] Ничему не удивляться *(лат.)*.

свежесть, согласие и живость красок — все доказывает его дарование, ум и вкус, нежный, образованный *.

Старожилов, к удивлению нашему, пленился мастерскою его кистью и, отрыв в своей памяти два итальянские стиха, сказал их с необыкновенной живостию...

Manca il parlar, di vivo altro non chiedi;
Ne manca questo ancor s'a gli occhi credi [1].

«Видите ли,— продолжал он,— видите ли, как образуются наши живописцы? Скажите, что б был г. Кипрен-

---

* В собрании портретов г. Кипренского, по важности предмета и по отделке, занимают первое место: два портрета великих князей Николая Павловича и Михаила Павловича; голова старика с седою бородою или образец для апостольской головы; им же гравированный портрет и весьма схожий славного актера Дмитревского и рисованный черным карандашом — Фигнера, славного соглядатая нашей армии, о котором можно сказать, что Тасс говорил о Вафрине:

...per dritto sentier tra regie porte
Trapassa; e or dimanda e or risponde.
A dimande e risposte astute, e pronte
Accoppia baldanzosa audace fronte.
Di qua, di là sollecito s'aggira
Per le vie, per le piazze, e per le tende.
I guerrier'i destrier' l'arme rimira;
L'arti e gli ordini osserva e i nomi apprende.
Nè di ciò pago, a maggior cose aspira;
Spia occulti disegni, e parte intende
Tanto s'avvolge, e così destro e piano...

То есть: Прямым путем проходит через врата царские. Делает вопросы, дает ответы; хитрым вопросам и быстрым ответам соответствует его смелое и гордое чело. Туда и сюда проходит торопливыми шагами, чрез пути и площади между шатров неприятельских. Осматривая ряды воинов, коней и оружия, замечает порядок, искусство воинов; познает их имена. Сего не довольно: он стремится к высшей цели: проникает в тайные замыслы и хитрые намерения врагов.

Наш Фигнер старцем в стан врагов
Идет во мраке ночи:
Как тень, прокрался вкруг шатров,
Все зрели быстры очи.
И стан еще в глубоком сне,
День светлый не проглянул,
А он уж — витязь на коне,
Уже с дружиной грянул...

Жуковский.

[1] Только бы он говорил, и иного живого не нужно;
Если ты веришь глазам — он только слова лишен *(итал.)*.

ский, если б он не ездил в Париж, если бы...» — «Он не был еще в Париже, ни в Риме»,— отвечал ему художник. «Это удивительно! удивительно!» — повторил Старожилов. «Почему? Разве нет образцов и здесь для портретного живописца? Разве Эрмитаж закрыт для любопытного, а особенно для художника? Разве не позволяется художнику списывать там портреты с Вандика, пейзажисту учиться над богатым собранием картин, единственных в своем роде? Или вы думаете, что нужен непременно воздух римский для артиста, для любителя древности, что ему нужно долговременное пребывание в Париже? В Париже? согласен; но сколько дарований погибло в этой столице? Рассеяние, все прелести света не только препятствовали развитию дарования, но губили его навеки».

«Вот московские виды»,— сказал молодой художник, указывая на картины, изображающие Каменный мост, Кремль и пр. с большою истиною и искусством. Какие воспоминания для московского жителя! Рассматривая живопись, я погрузился в сладостное мечтание и готов был воскликнуть почти то же, что Эней у Гелена, в долинах Хаонейских, где все чудесным образом напоминало изгнаннику его священную Трою, рощи *, луга и источники родины незабвенной; я готов был сказать моим товарищам:

Что матушки Москвы и краше и милее?

Но Старожилов рассеял воспоминания о древней белокаменной столице громким и беспрерывным смехом, рассматривая чудесные мозаики, в той же комнате выставленные.

Я взглянул на них с негодованием, пожал плечами и пошел в другую комнату, где ожидал нас портрет покойного гр. А. С. Строганова, писанный г. Варником. Вокруг него мы нашли толпу зрителей: одни хвалили смелость кисти, отделку платья, белого глазета и весь рисунок картины; другие, напротив того, утверждали, что краски вообще

---

* Procedo, et parvam Trojam, simulataque magnis
Pergama et arentem Xanthi cognomine rivum,
Agnosco, Scarae que amplector limina portae и пр.
Aeneid. liber III.

[Я подвигаюсь вперед, и предстала вдруг малая Троя,
Будто великий Пергам, будто бы Ксанф предо мной,
Будто бы Скейских ворот я обнимаю пороги.
«Энеида» (*лат.*).]

тусклы, отделка груба, не тщательна и пр., и пр., и пр., а я восхищался удивительным сходством лица.

«Так, это он! точно он! — сказал какой-то пожилой человек нашему путеводителю.— Эта прекрасная картина г. Варника возбуждает в моей памяти тысячу горестных и сладких воспоминаний! Она живо представляет лицо покойного графа, сего просвещенного покровителя и друга наук и художеств, вельможу, которого мы будем всегда оплакивать, как дети нежного и попечительного отца. Полезные советы, лестное одобрение знатока, редкое добродушие, истинный признак великой и прекрасной души, желание быть полезным каждому из нас, пламенная, но просвещенная любовь к отечеству, любовь ко всему, что может возвысить его славу и сияние: вот чем отличался почтенный президент нашей Академии, вот что мы будем воспоминать со слезами вечной признательности и что искусная кисть г. Варника столь живо напоминает всем академикам, которые имели счастие пользоваться покровительством любезнейшего и добрейшего из людей. Черты, незабвенные черты нашего мецената будут нам всегда драгоценны!»

Художник говорил с большим жаром, и слезы навернулись на его глазах. Я был вне себя от радости, ибо я разделял вполне его чувства. Сам Старожилов был тронут и долго стоял в молчании пред почтенным ликом почтенного старца, престарелого Нестора искусств, истинного образца людей государственных; вельможи, который доказал красноречивым примером целой жизни, что вышний сан заимствует прочное сияние не от богатства и почестей наружных, но от истинного, неотъемлемого достоинства души, ума и сердца.

Долго сладкое впечатление оставалось в моей душе, и я, занятый разговором почтенного художника, прошел без внимания мимо некоторых картин ученической работы иностранцев, которые на сей раз как будто нарочно согласились уступить бесспорно преимущество нашим художникам, выставя безобразные и уродливые произведения своей кисти. Мы остановились у подножия Актеона (изобретения г. Мартоса), большой статуи, отлитой для гр. Н. П. Румянцева г. Екимовым: прекрасное произведение русских художников! «Заметьте,— сказал нам услужливый путево-

дитель наш,— заметьте, что литейное искусство сделало большой шаг в России, под руководством г. Екимова» *.

Картина г. Куртеля — Спартанец при Фермопилах — привлекла наше внимание. Прекрасный юноша, сразившийся за свободу Греции, умирает один, без помощи, без друга, в местах пустынных. Кровавый долг Спарте отдан, оружие избито, кровь пролита ручьями из ран глубоких и смертельных, и последние минуты убегающей жизни принадлежат ему: последние взоры, исполненные страдания и любви, устремлены на медальон, изображающий черты, ему любезные. «Вот прекрасная мысль,— сказал я моим товарищам,— и выраженная мастерскою кистию». Но они заметили, и справедливо, что в фигуре нет ни соразмерности, ни согласия. «Это туловище небольшого фавна, приставленное к ногам Боргезского борца,— сказал молодой художник.— Конечно, много истины в выражении лица и мертвенности других членов; но, признаюсь вам, я неохотно смотрю на подобные сему изображения! И можно ли смотреть спокойно на картины Давида и школы, им образованной, которые напоминают нам одни ужасы революции: терзание умирающих насильственной смертию, оцепенение глаз, трепещущие, побледнелые уста, глубокие раны, судороги,— одним словом, ужасную победу смерти над жизнию. Согласен с вами, что это представлено с большою живостию; но эта самая истина отвратительна, как некоторые истины, из природы почерпнутые, которые не могут быть приняты в картине, в статуе, в поэме и на театре».

Разговаривая таким образом, мы оставили Академию.— Если мое письмо не наскучило пустыннику, то я сообщу тебе продолжение нашей прогулки и разговора о художествах. Прости до первой почты.

N.N.

P. S. На третий день моей прогулки в Академию я кончил мое письмо к тебе и готов был его запечатать, как вдруг мне пришла на ум следующая мысль: «Если кто-нибудь

---

* Отлитая г. Екимовым фигура Актеона по разобранию формы не была ни опилена, ни отчеканена; но отлитие оной так совершенно, что по отбитии *путцев*, чрез которые течет в форму растопленный металл, осталось только всю фигуру пройти песком, для того, чтоб ей дать общий цвет. Хвала г. Екимову, особливо за удачное во всех частях отлитие колоссальных статуй для Казанского собора, также конченных без чеканки!

прочитает то, что я сообщал приятелю в откровенной беседе?..» — «Что нужды! — отвечал молодой художник Н., которому я прочитал мое письмо. — Что нужды? Разве вы обидели кого-нибудь из художников, достойных уважения? Выставя картину для глаз целого города, разве художник не подвергает себя похвале и критике добровольно? Один маляр гневается за суждение знатока или любителя; истинный талант не страшится критики; напротив того, он любит ее, он уважает ее как истинную, единственную путеводительницу к совершенству. Знаете ли, что убивает дарование, особливо, если оно досталось в удел человеку без твердого характера? Хладнокровие общества: оно ужаснее всего! Какие сокровища могут заменить лестное одобрение людей, чувствительных к прелестям искусств! Один богатый невежда заказал картину моему приятелю; картина была написана, и художник получил кучу золота... Поверите ли, он был в отчаянии. «Ты не доволен платою?» — спросил я. «О нет, я награжден слишком щедро!» — «Что же огорчает тебя?» — «Ах, любезный друг, моя картина досталась невежде и сгниет в его кабинете; что мне в золоте без славы! В Париже художники знают свою выгоду. Они живут в тесной связи с писателями, которые за них сражаются с журналистами, с знатоками и любителями и проливают за них источники чернил. Две, три недели, часто месяц занимают они публику после первого выставления картин». — «Это все справедливо: но я мог ошибаться». — «Что нужды, если без намерения!» — «Но я употребил в моем письме новые выражения, например: *механический прием* (в живописном деле), желая изъяснить то, что французы называют le faire, и боюсь...» — «Пускай другие переведут лучше, исправнее; у нас еще не было своего Менгса, который открыл бы нам тайны своего искусства и к искусству живописи присоединил другое, столь же трудное: искусство изъяснять свои мысли. У нас не было Винкельмана... Но запечатайте, запечатайте письмо: его никто не прочитает!» — повторил художник с хитрою улыбкою. И его слова успокоили меня, хотя не совершенно. Признаюсь тебе, любезный друг, я боюсь огорчить наших художников, которые нередко до того простирают ревность к своей славе, что малейшую критику, самую умеренную, самую осторожную, почитают личным оскорблением.

1814

ВОСПОМИНАНИЕ О ПЕТИНЕ

Уваров написал послание «о выгодах умереть в молодости». Предмет обильный в красивых и возвышенных чувствах! Конечно, утро жизни, молодость есть лучший период нашего странствования на земле. Напрасно красноречивый римлянин желает защитить старость,— все цветы красноречия его вянут при одном воззрении на дряхлого человека: опираясь на клюки свои, старость дрожит над могилою и страшится измерить взором ее неприступные мраки. Опытность должна бы отучать от жизни, но в некоторые лета мы видим тому противное. Одна религия может согреть сердце старика и *отучить его от жизни* — тягостной, бедной, но милой до последнего дыхания. «Это есть благо провидения»,— говорят некоторые философы. Может быть; но зато великие движения души, глубокие чувствования, божественные пожертвования самим собою, сильные страсти и возвышенные мысли принадлежат молодости, деятельность — зрелым летам, старости — одни воспоминания и любовь к жизни. И что теряет юноша, умирая на заре своей, подобно цвету, который видел одно восхождение солнца и увянул прежде, нежели оно потухло? Что теряем мы, умирая в полноте жизни на поле чести, славы, в виду тысячи людей, разделяющих с нами опасность? Несколько наслаждений кратких, но зато лишаемся с ними и терзаний честолюбия и сей опытности, которая встречает нас на средине пути подобно страшному призраку. Мы умираем, но зато память о нас долго живет в сердце друзей, не помраченная ни одним облаком, чистая, светлая, как розовое утро майского дня.

Такими рассуждениями я желаю утешить себя об утрате И. А. Петина, погибшего на двадцать шестом году жизни на полях Лейпцига. Но при одном имени сего любезного

человека все раны сердца моего растворяются, ибо тесно была связана его жизнь с моею. Тысячи воспоминаний смутных и горестных теснятся в сердце и облегчают его. Сердце мое с некоторого времени любит питаться одними воспоминаниями.

В 1807 году мы оставили оба столицу и пошли в поход. Я верю симпатии, ибо опыт научил верить неизъяснимым таинствам сердца. Души наши были сродны. Одни пристрастия, одни наклонности, та же пылкость и та же беспечность, которые составляли мой характер в первом периоде молодости, пленяли меня в моем товарище. Привычка быть вместе, переносить труды и беспокойства воинские, разделять опасности и удовольствия стеснили наш союз. Часто и кошелек, и шалаш, и мысли, и надежды у нас были общие.

Тысячи прелестных качеств составляли сию прекрасную душу, которая вся блистала в глазах молодого Петина. Счастливое лицо, зеркало доброты и откровенности, улыбка беспечности, которая исчезает с летами и с печальным познанием людей, все пленительные качества наружности и внутреннего человека досталися в удел моему другу. Ум его был украшен познаниями и способен к науке и рассуждению, ум зрелого человека и сердце счастливого ребенка: вот в двух словах его изображение.

Он воспитывался в Московском университетском пансионе и потом в пажеском корпусе, и в обоих училищах отличался редким прилежанием и примерным поведением; матери ставили его в пример детям своим, и наставники хвалились им как лучшим плодом своих попечений. Несколько басен, написанных им в ребячестве, и переводов из книг математических показывали редкую гибкость ума, способного на многое; словесность требует воображения, науки — внимания и точности. Вот что он принес в гвардейский егерский полк, и к этому—еще лучшее сокровище, доброе сердце, редкое сердце, которое ему приобрело и сохранило любовь товарищей. Оно, по собственному его признанию, спасало его в буре страстей и посреди обольщений света. Ни опытность, ни горестное познание людей, ничто не могло изгладить первых даров природы. Но сия доброта сердечная впоследствии времени соединилась с размышлением и сделалась общею рассудку и сердцу: редкое качество в столь нежном возрасте. Вот доказательство: мы были ранены в 1807 году, я — сперва, он — после, и увиделись в Юрбурге. Не стану описывать моей радости. Меня поймут только те, которые

бились под одним знаменем, в одном ряду, и испытали все случайности военные. В тесной лачуге, на берегах Немана, без денег, без помощи, без хлеба (это не вымысел), в жестоких мучениях, я лежал на соломе и глядел на Петина, которому перевязывали рану. Кругом хижины толпились раненые солдаты, пришедшие с полей несчастного Фридланда, и с ними множество пленных. Под вечер двери хижины отворились, и к нам вошло несколько французов, с страшными усами, в медвежьих шапках и с гордым видом победителей.

Петин был в отсутствии, и мы пригласили пленных разделить с нами кусок гнилого хлеба и несколько капель водки; один из моих товарищей поделился с ними деньгами и из двух червонцев отдал один (истинное сокровище в таком положении). Французы осыпали нас ласками и фразами, по обыкновению, и Петин вошел в комнату в ту самую минуту, когда наши болтливые пленные изливали свое красноречие. Посудите о нашем удивлении, когда наместо приветствия, опираясь на один костыль, другим указал он двери нашим гостям. «Извольте идти вон,— продолжал он,— здесь нет места и русским: вы это видите сами». Они вышли не прекословя, но я и товарищи мои приступили к Петину с упреками за нарушение гостеприимства. «Гостеприимства,— повторял он, краснея от досады,— гостеприимства!» — «Как! — вскричал я, приподнимаясь с моего одра,— ты еще смеешь издеваться над нами?» — «Имею право смеяться над вашею безрассудною жестокостию».— «Жестокостию? Но не ты ли был жесток в эту минуту?» — «Увидим. Но сперва отвечайте на мои вопросы. Были ли вы на Немане у переправы?» — «Нет».—«Итак, вы не могли видеть того, что там происходит?» — «Нет! Но что имеет Неман общего с твоим поступком?» — «Много, очень много. Весь берег покрыт ранеными; множество русских валяется на сыром песку, на дожде, многие товарищи умирают без помощи, ибо все дома наполнены; итак, не лучше ли призвать сюда воинов, которые изувечены с нами в одних рядах? Не лучше ли накормить русского, который умирает с голоду, нежели угощать этих ненавистных самохвалов? спрашиваю вас. Что же вы молчите?»

Вот другой случай, который еще разительнее изображает его. По окончании Шведской войны мы были в Москве (1810). Петин лечился от жестоких ран и свободное время посвящал удовольствиям общества, которого прелесть

военные люди чувствуют живее других. Но один вечер мы просидели у камина в сих сладких разговорах, которым откровенность и веселость дают чудесную прелесть. К ночи мы вздумали ехать на бал и ужинать в собрании. Проезжая мимо Кузнецкого моста, пристяжная оторвалась, и между тем как ямщик заботился около упряжки, к нам подошел нищий, *ужасный плод войны*, в лохмотьях, на костылях. «Приятель,— сказал мне Петин,— мы намеревались ужинать в собрании, но лучше отдадим серебро наше этому бедняку и возвратимся домой, где найдем простой ужин и камин». Сказано — сделано. Это безделка, если хотите, но ее не надобно презирать. «От малого пожертвования до большого один шаг»,— скажет наблюдатель сердца. Это безделка, согласен; но молодой человек, который умеет пожертвовать удовольствием другому, чистейшему, есть герой в моральном смысле. Меня поймут благородные души.

Возвратимся к военной жизни. В 1808 году один баталион гвардейских егерей был отряжен в Финляндию. Близ озера Саймы, в окрестностях Куопио, он встретил неприятеля. Стычки продолжались беспрестанно, и Петин, имевший под начальством роту, отличался беспрестанно; день проходил в драке, а вечер посвящал он на сочинение своего военного журнала: полезная привычка для офицера, который любит свою должность и желает себя усовершенствовать. Полковник Потемкин, командовавший баталионом, уважал молодого офицера, и самые блестящие и опаснейшие посты доставались ему в удел как лучшее награждение. К несчастию, другие ротные командиры получили георгиевские кресты, а Петин был обойден. Все офицеры единодушно сожалели и обвиняли судьбу, часто несправедливую, но молодой Петин, более чувствительный к лестному уважению товарищей, нежели к неудаче своей, говорил им с редким своим добродушием: «Друзья, этот крест не уйдет от офицера, который имеет счастие служить с вами: я его завоюю; но заслужить ваше уважение и приязнь — вот чего желает мое сердце, и оно радуется, видя ваши ласки и сожаления».

Мы подвинулись вперед. Под Индесальми шведы напали в полночь на наши биваки, и Петин, с ротой егерей, очистил лес, прогнал неприятеля и покрыл себя славою. Его вынесли на плаще, жестоко раненного в ногу. Генерал Тучков осыпал его похвалами, и молодой человек забыл и болезнь и опасность. Радость блистала в глазах его, и надежда уви-

деться с матерью придавала силы. Мы расстались и только через год увиделись в Москве.

С каким удовольствием я обнял моего друга! С каким удовольствием просиживали мы целые вечера и не видели, как улетало время! Посвятив себя военной жизни, Петин и в мирное время не выпускал из рук военных книг, и я часто заставал его за картою в глубоком размышлении. Откровенный с приятелем наедине, застенчивый, как девица, в обществе, он питал в груди своей честолюбие благородной души, желание быть отличным офицером и полезным членом сословия храбрых, но часто, по излишней скромности своей, таил свои занятия и хотел казаться рассеянным. Казалось, что его прекрасная душа страшилась обнаружить свое преимущество перед товарищами. Но нам известно, что посреди рассеяния, мирных трудов военного ремесла и балов он любил уделять несколько часов науке, требующей самого постоянного внимания, и обогащал «Военный журнал», издаваемый покойным полковником Рахмановым (пламенным любовником математики), прекрасными переводами по части артиллерии, егерских эволюций и практики полевой. Словесность не была забыта, и однажды — этот день никогда не выдет из моей памяти — он пришел ко мне с свитком бумаг. «Опять математика?» — спросил я улыбаясь. «О нет! — отвечал он, краснея более и более,— это... стихи, прочитай их и скажи мне твое мнение». Стихи были писаны в молодости и весьма слабы, но в них приметны были смысл, ясность в выражении и язык довольно правильный. Я сказал, что думал, без прикрасы, и добрый Петин прижал меня к сердцу. Человек, который не обидится подобным приговором, есть добрый человек; я скажу более: в нем, конечно, тлеется искра дарования, ибо что ни говорите, сердце есть источник дарования; по крайней мере оно дает сию прелесть уму и воображению, которая нам всего более нравится в произведениях искусства.

Два года спустя я получил от него письмо из армии, с поля Бородинского, накануне битвы. Мы находились в неизъяснимом страхе в Москве, и я удивился спокойствию душевному, которое являлось в каждой строке письма, начертанного на барабане в роковую минуту. В нем описаны были все движения войска, позиции неприятеля и пр. со всею возможною точностию: о самых важнейших делах Петин, свидетель их, говорил хладнокровно, как о делах обыкновенных. Так должен писать истинно военный

человек, созданный для сего звания природою и образованный размышлением; все внимание его должно устремляться на ратное дело, и все побочные горести и заботы должны быть подавлены силою души. На конце письма я заметил несколько строк, из которых видно было его нетерпение сразиться с врагом, впрочем ни одного выражения ненависти. Счастливый друг, ты пролил кровь свою на поле Бородинском, на поле славы и в виду Москвы, тебе любезной, а я не разделил с тобою этой чести! В первый раз я позавидовал тебе, милый товарищ, в первый раз с чувством глубокого прискорбия и зависти смотрел я на почтенную рану твою! * Долго я страшился за него, ибо рана была опасна; но молодость, искусство лекаря и — что всего целебнее — попечительность нежной матери, которая имела счастие ходить за раненым сыном своим в собственном его поместье, избавили его от смерти или продолжительного страдания. Но русские уже были за Неманом, и нетерпеливый Петин, едва вставший с постели, вырвался из объятий матери своей и поспешил в Богемию по призванию строгого долга чести и, может быть, честолюбия, которое час от часу более усиливалось в его душе, чуждой только низких пристрастий. Напрасно благословения матери сопровождали сына, опору и надежду преклонных лет; напрасно прижимала его к горячему сердцу; простым языком чувства — глас матери всегда красноречив и силен — повторяла она: «Друг мой, сын мой, скажи мне, зачем ты так добр и умен? Зачем не оскорбишь меня чем-нибудь и не отучишь меня любить тебя так горячо, так сильно?»

На высотах Кульма я снова обнял его посреди стана военного после победы. Несколько часов мы провели наедине, и я заметил, что сердце его не было спокойно. Ни шум и деятельность военной жизни, ни блестящая победа при Кульме, где каждое место напоминало воинам цель свежих подвигов и чудес храбрости и где Петин (уже полковник) участвовал с баталионом егерей, ни обещание новой награды и надежды расширить поприще честей, ничто не могло рассеять его тоски душевной. Конечно, воспоминание о матери, оставленной в слезах, и три тяжелые раны, ослабившие его здоровье, имели влияние на его душу. Или провидение, которого пути неисповедимы, посылает сие уныние и смутное предчувствие как вестник страшного события

* В Владимире, во время бегства из Москвы.

или близкой кончины, затем чтобы сердца, ему любезные, приуготовлялись к таинствам новой жизни или укрепились глубоким размышлением к новой победе над судьбою или собственными страстями? Часто мы просиживали на высотах Шлосберга посреди романических развалин и любовались необозримым лагерем, который расстилался под нашими ногами от башен Теплица вдоль по необозримой долине, огражденной лесистыми, неприступными утесами Богемии. Вечернее солнце и звезды ночи заставали в сладкой задумчивости или в сих откровеннейших излияниях два сердца, сродные и способные чувствовать друг друга, но определенные на вечную разлуку. Часто мы бродили по лагерю рука в руку посреди пушек, пирамид ружей и биваков и веселились разнообразием войск, столь различных и одеждою, и языком, и рождением, но соединенных нуждою победить. Никогда лагерь не являл подобного зрелища, и никогда сии краткие минуты наслаждения чистейшего посреди забот и опасностей, как будто вырванные из рук скупой судьбины, не выйдут из моей памяти. И окрестности Дрездена и Теплица, и живописные горы Богемии, и победа при Кульме, и подвиги наших спартанцев сливаются в душе моей с воспоминанием о незабвенном товарище.

В Альтенбурге, на походе, он навестил меня и, прощаясь, крепко сжимал мою руку. Слабость раненой ноги его была так сильна, что он с трудом мог опираться на стремя и, садясь на лошадь, упал. «Дурной знак для офицера»,— сказал он, смеясь от доброго сердца. Он удалился, и с тех пор я его не видал. 4 октября началась ужасная битва под Лейпцигом. Я находился при генерале Раевском и с утра в жестоком огне, но сердце мое было спокойно насчет моего Петина: я знал, что гвардия еще не вступила в дело. В четвертом часу, на том пункте, где гренадеры железною грудью удержали стремление целой армии неприятельской, генерал был ранен пулею в грудь и, оборотясь ко мне, велел привести лекаря. Я поскакал к резервам, которые начинали двигаться вправо, по направлению к деревне Госсе, и встретил гвардейских егерей, но, к несчастию, не мог видеть Петина: он был в голове всей колонны, в дальнем расстоянии, а мне время было дорого. На другой день поутру, на рассвете, генерал поручил мне объехать поле сражения там, где была атака гвардейских гусаров, и отыскивать тело его брата, которого мы полагали убитым. С другим товарищем я поехал по дороге к Аунгейну, где мы остановились, в первый

день битвы, для исполнения печального долга. Какое-то непонятное, мрачное предчувствие стесняло мое сердце; мы встречали множество раненых и в числе их гвардейских егерей. Первый мой вопрос о Петине; ответ меня ужаснул: полковник ранен под деревнею — это еще лучшее из худшего! Другой егерь меня успокоил (по крайней мере я старался успокоиться его словами), уверив, что полковник его жив, что он видел его сию минуту в лагере и проч., но раненый офицер, который встретился немного далее, сказал мне, что храбрый Петин убит и похоронен в ближнем селе, которого видна колокольня из-за лесу: нельзя было сомневаться более.

Этот день почти до самой ночи я провел на поле сражения, объезжая его с одного конца до другого и рассматривая окровавленные трупы. Утро было пасмурное. Около полудня полился дождь реками; все усугубляло мрачность ужаснейшего зрелища, которого одно воспоминание утомляет душу, зрелища свежего поля битвы, заваленного трупами людей, коней, разбитыми ящиками и проч. В глазах моих беспрестанно мелькала колокольня, где покоилось тело лучшего из людей, и сердце мое исполнилось горестию несказанною, которую ни одна слеза не облегчила. Проезжая через деревню Госсу, я остановил лошадь и спросил у егеря, обезображенного страшными ранами: «Где был убит ваш полковник?» — «За этим рвом, там, где столько мертвых». Я с ужасом удалился от рокового места.

На третий день по взятии Лейпцига я проезжал по дороге, ведущей к местечку Роте, и встретил верного слугу моего приятеля, который возвращался в Россию с его верховыми лошадьми: несчастный вестник величайшего злополучия для сердца матери. Он привел меня на могилу доброго господина. Я видел сию могилу, из свежей земли насыпанную; я стоял на ней в глубокой горести и облегчил сердце мое слезами. В ней сокрыто было навеки лучшее сокровище моей жизни — дружество. Я просил, умолял почтенного и престарелого священника того селения сохранить бренный памятник — простой деревянный крест, с начертанием имени храброго юноши, в ожидании прочнейшего — из мрамора или гранита. Несколько могил окружали могилу Петина. Священные могилы храбрых товарищей на поле битвы и неразлучных в утробе земной до страшного и радостного дня воскресения! Я оставил сии бренные остатки в глубоком унынии и, при громе отдаленных вы-

стрелов, воскликнул от глубины сердца с поэтом, который сильно чувствует и сильно выражает горесть:

Уже не придут в сонм друзей,
Не станут в ратном строе!
Уж для врага их грозный лик
Не будет вестник мщенья,
И не помчит их мощный клик
Дружину в пыл сраженья!
Их празден меч, безмолвен щит,
Их ратники унылы,
И сир могучих конь стоит
Близ тихой их могилы!

Конечно, сияющая слава не была бы призраком для душ благородных, если бы она не доставалась иногда в удел порочным и недостойным. Часто слепая судьба раздает ее по своему произволу и добродетель и лучшие качества души обрекает на вечное забвение. Имя молодого Петина изгладится из памяти людей. Ни одним блестящим подвигом он не ознаменовал течения своей краткой жизни, но зато ни одно воспоминание не оскорбит его памяти. Исполняя свой долг, был он добрым сыном, верным другом, неустрашимым воином: этого мало для земного бессмертия. Конечно, есть другая жизнь за пределом земли и другое правосудие; там только ничто доброе не погибнет: есть бессмертие на небе!

1815

О ХАРАКТЕРЕ ЛОМОНОСОВА

«По слогу можно узнать человека»,— сказал Бюффон: характер писателя весь в его творениях. Это, с одной стороны, справедливо. Без сомнения, по стихам и прозе Ломоносова мы можем заключить, что он имел возвышенную душу, ясный и проницательный ум, характер необыкновенно предприимчивый и сильный. Но любителю словесности, скажу более — наблюдателю-философу приятно было бы узнать некоторые подробности частной жизни великого человека, познакомиться с ним, узнать его страсти, его заботы, его печали, наслаждения, привычки, странности, слабости и самые пороки, неразлучные спутники человека. «Разум, услаждающийся величественными понятиями всеобщего порядка и согласия, не может быть соединен с сердцем хладным»,— говорил о Ломоносове писатель, которого имя равно любезно музам и добродетели. Сия истина утверждена жизнью Ломоносова. Воображение и сердце часто увлекали его в молодости: они были источниками его наслаждений и мучений, неизвестных, неизъяснимых обыкновенным людям. Конечно, не одна страсть к учению, которая не могла еще вполне овладеть душою отрока, воспитанного среди болот холмогорских, не одна сия страсть, столь благородная и бескорыстная, принудила его оставить родину. Семейственные огорчения и некоторое тайное беспокойство души было к тому важнейшим побуждением. Но сие беспокойство, сие тусклое желание чего-то нового и лучшего, сия предприимчивость, удивительная в столь нежном возрасте, не означали ли великую душу и нечто необыкновенное?

Пламенное рвение к учению, неутомимая жажда познаний, постоянство в преодолении преград, поставленных неприязненным роком, дерзость в предприятиях, увенчан-

ная сияющим успехом,— все сии качества соединены были с сильными страстями, с пламенным сердцем или, лучше сказать, проистекали из оных, и потому должно ли удивляться, что Ломоносов в молодости своей пожертвовал всеми выгодами любви? В Марбурге он женился тайно на дочери бедного ремесленника, и в скором времени обстоятельства принудили его разлучиться с супругою. Музы любят провождать любимцев своих по тернистой тропе несчастия в храм славы и успехов. Бедствия не всегда убивают талант: напротив того, они пробуждают в душе множество прекрасных свойств и знакомят ее с собственными силами. Ломоносов, гонимый судьбою, скитался по Германии, переходил из земли в землю, без пристанища, часто без насущного хлеба; он боролся со всеми нуждами и горестями и никогда, нигде не преступил законов чести, никогда не забывал оставленной супруги. С какою чувствительностью, возвратясь в Петербург, прочитал он письмо ее и воскликнул пред посланным от г. Бестужева: «Боже мой, могу ли ее оставить!» Слезы прерывали беспрестанно слова его. Сладостно видеть наблюдателю человечества соединение столь глубокой чувствительности с умом обширным, верным и прозорливым! Чувствительность и сильное, пламенное воображение часто владели нашим поэтом, конечно против воли его. На возвратном пути из Амстердама по морю Ломоносов, сидя на палубе, при шуме волн погружался в сладкую задумчивость. Открытое море, шум ветра и беспрерывное колебание корабля напоминали ему первые лета юности, проведенные среди непостоянной стихии; они напоминали приморскую его родину и все что ни есть сладостного для сердца нежного и доброго. Исполненному воспоминаний, однажды во сне ему привиделась страшная буря на волнах Ледовитого моря, кораблекрушение и хладный труп отца его, выброшенный на тот самый остров, куда Ломоносов в молодости своей приставал с ним для совершения рыбной ловли. Он в ужасе проснулся. Напрасно призывает на помощь рассудок свой, напрасно желает рассеять мрачные следы сновидения: мечта остается в глубине сердца, и ничто не в силах изгладить ее. Снова засыпает и снова видит шумное море, необитаемый остров и бледный труп родителя. Так мы нередко уверяемся опытом, что провидение влагает в нас какие-то тайные мысли, какое-то неизъяснимое предчувствие будущих злополучий, и событие часто подтверждает предсказание таинственного сна — к удивлению, к смирению

слабого и гордого рассудка. Ломоносов это испытал в жизни своей. Отец его погиб в волнах, и тело его найдено рыбаками на том необитаемом острове, который назначил им печальный сын по внушению пророческого сновидения.

По краткой биографии, напечатанной при сочинениях Ломоносова, мы теснее знакомимся с поэтом, когда он покидает родину свою. Самое юношество необыкновенного человека любопытно; каждое обстоятельство, каждая подробность драгоценны. Конечно, Ломоносов в откровенной беседе ближних и друзей любил рассказывать им первые свои печали и наслаждения: с каким восхищением он певал на клиросе священные песни и пожирал духовные книги, с каким усилием он промыслил славенскую грамматику и арифметику — *врата учености своей*, как сердце его унывало, покидая отца, родину, ближних, как трепетало от радости, вступая в обширную Москву. К сожалению, не много подробностей дошло до нас, и почти все исчезли с холодными слушателями. Одни великие души чувствуют всю важность дружеских поверений знаменитого человека, их современника. Ломоносов — нет сомнения — казался обыкновенным человеком в кругу приятелей своих, людей весьма обыкновенных. И мог ли Тредиаковский с *братиею* быть ценителем величайшего ума своего времени, ценителем Ломоносова?

Но, к счастию нашему, Россия имела в молодом вельможе покровителя дарований. Мы забудем со временем однофамильца Шувалова, который писал остроумные стихи на французском языке, который удивлял Парни, Мармонтеля, Лагарпа и Вольтера, ученых и неученых парижан любезностию, веселостию и учтивостию, достойною времен Лудовика XIV; но того Шувалова, который покровительствовал Ломоносова, никогда не забудем. Имя его навсегда останется драгоценно музам отечественным. Он был для нашего лирика деятельный и просвещенный покровитель, попечительный друг, часто снисходительный и всегда постоянный. Без него Ломоносов не мог бы предпринять сих великих трудов, требующих издержек и беспрестанных пособий. Скажем более: как ученый, как стихотворец, Ломоносов обязан ему всем, даже постоянством в любви ко славе. Прозорливый Шувалов в уроженце Холмогор угадал великого человека; счастливый поэт нашел в вельможе истинный патриотизм, обширные сведения, вкус образованный и что всего лучше — благородную, деятельную душу. Одним сло-

вом (редкое явление!), вельможа и поэт понимали друг друга. Письма Ломоносова к Шувалову суть бесценный памятник словесности русской: в них виден и стихотворец и покровитель его. Они заключают в себе множество любопытных подробностей, анекдотов и, наконец, известие о кончине профессора Рихмана, достойного товарища Ломоносова. Рихман *умер прекрасною смертию* *, и Ломоносов с убедительным, сердечным красноречием ходатайствует за осиротевшее семейство, страшась, чтобы сей случай *не был протолкован противу наук*, вечно ему любезных. Часто в письмах своих он жалуется на Тредиаковского и Сумарокова. Если сии строки доказывают печальную истину, что дарования во все времена, даже при самой колыбели словесности, имеют врагов и завистников, то они же, к радости нашей, открывают прекрасную душу великого писателя: «Никакого не желаю мщения,— говорит он,— но способов продолжить труды мои для славы, для пользы отечества. Мои зоилы хвалят меня своею хулою, называя мои изображения надутыми; нападая на меня, они нападают на древних...» До последней минуты жизни своей Ломоносов не изменил себе, и прелестная мысль о славе его не покидала. На одре мучений и смерти Рафаэль соболезновал о недоконченных картинах, наш северный гений — о несовершенных трудах своих. «Я умираю,— говорил он Штелину,— я умираю, приятель! На смерть взираю равнодушно. Сожалею о том, чего не успел довершить для пользы наук, для славы отечества и академии нашей. К сожалению, вижу, что благие мои намерения исчезнут вместе со мною...»

Тень великого стихотворца утешилась. Труды его не потеряны. Имя его бессмертно.

1815

---

* Это собственное выражение Ломоносова.

ВЕЧЕР У КАНТЕМИРА

Антиох Кантемир, посланник русский при дворе Людовика XV, предпочитал уединение шуму и рассеянию блестящего двора. Свободное время от должности он посвящал наукам и поэзии. В мирном кабинете, окруженный любимыми книгами, он часто восклицал, перечитывая Плутарха, Горация и Виргилия: «Счастлив — кто, довольствуясь малым, свободен, чужд зависти и предрассудков, имеет совесть чистую и провождает время с вами, наставники человечества, мудрецы всех веков и народов:

...с вами, греки и латины...
Исследую всех вещей действа и причины».

Ум его имел свойства, редко соединяемые: основательность, точность и воображение. Часто углубленный в исчисления алгебраические, Кантемир искал истину и, подобно мудрецу Сиракуз, забывал мир, людей и общество, беспрестанно изменяющееся. Он занимался науками не для того, чтобы щеголять знаниями в суетном кругу ученых женщин или академиков; нет, он любил науки для наук, поэзию для поэзии: редкое качество, истинный признак великого ума и прекрасной, сильной души! В Париже, где самолюбие знатного человека может собирать беспрестанно похвалы и приветствия за малейший успех в словесности, где несколько небрежных стихов, иностранцем написанных, дают право гражданства в республике словесности, Кантемир писал русские стихи. И в какое время? Когда язык наш едва становился способным выражать мысли просвещенного человека. Бросьте на остров необитаемый математика и стихотворца, говорил Даламбер,— первый будет проводить линии и составлять углы, не заботясь, что никто не воспользуется

его наблюдениями; второй перестанет сочинять стихи, ибо некому хвалить их; следственно, поэзия и поэт, заключает *рассудительный* философ, питаются суетностью. Париж был сей необитаемый остров для Кантемира. Кто понимал его? Кто восхищался его *русскими* стихами? В самой России, где общество, науки и словесность были еще в пеленах, он, нет сомнения, находил мало ценителей своего таланта. Душою и умом выше времени и обстоятельств, он писал стихи, он поправлял их беспрестанно, желая достигнуть возможного совершенства, и, казалось, завещал благодарному потомству и книгу и славу свою. Талант питается хвалою, но истинный, великий талант и без нее не умирает. Поэт может быть суетным, равно как и ученый; но истинный поэт, истинный любитель всего прекрасного не может существовать без деятельности, и то, что было сказано нашим Катуллом о нашем Бавии:

С последним вздохом он издаст последний стих,—

почти то же можно сказать о великом стихотворце. На одре смерти Сервантес не покидал пера своего. Камоенс писал «Лузиаду» посреди племен диких. Тасс, несчастный Тасс, в ужасном заключении беседовал с музами. Державин, за час пред смертию, хладеющими перстами извлекал звуки из бессмертной лиры своей. Сих ли людей обвиним в суетности?

Но возвратимся к Кантемиру.

Однажды повечеру Монтескье и аббат В., известный остроумец, навестили нашего стихотворца. Он беседовал с своей музою и не приметил входящих друзей, которые имели к нему свободный доступ. Несколько минут Кантемир перечитывал начало послания своего к князю Никите Трубецкому, и всегда с новым жаром и удовольствием. При чтении спокойное и даже холодное лицо Кантемира приметным образом изменялось: глаза его сверкали как молния, щеки разгорелись, и рука его ударяла такту по отверзтой пред ним книге. Монтескье взглянул на аббата, кивнул ему головою и намеревался удалиться. Они не хотели беспокоить министра, полагая, что он занят важным государственным делом. Кантемир услышал за собою шорох, оглянулся и бросился обнимать неожидаемых гостей.

— Мы вам помешали: мы пришли не в пору.

— Нимало!

— Вы читали важные бумаги?

— Я забавлялся: перечитывал стихи моего сочинения.

— Но какие? Мы ни слова не поняли.

— Русские!

— Русские стихи,— восклицал аббат, пожимая плечами от удивления,— русские стихи! Это любопытно.

Кантемир.

Слабое подражание Горацию, Ювеналу и Персию. Вы знаете мою страсть к древним писателям: она завлекла меня далеко. Не в силах будучи сравниться с древними поэтами Рима, я влачусь за ними, как раб за господином или как страстный любовник за гордою красавицею. Вы никогда не писали стихов, господин президент, и не знаете сего мучения и удовольствия, которое называют метроманиею?

Монтескье.

Ваша правда. Я не писал стихов, но люблю стихи, когда нахожу в них столько же мыслей, сколько слов, когда они ясны, сильны, выразительны, одним словом — хороши, как проза. Я всегда уважал сатиры и послания Горация: они знакомят нас с Римом, со нравами, с образом жизни переродившихся потомков Брутов, Кориоланов и Сципионов. Ювенала перечитываю с удовольствием: прямой римлянин душою! Он то же в стихах, что Тацит в прозе. Я люблю творения сих поэтов, как памятники языка, образованного целыми веками славы народной, языка мужественного, обильного, выразительного — почтенного родителя языков новейших.

Аббат В.

И господин президент, конечно, сожалеет, что вы пишете русские стихи. Зная совершенно язык латинский и наш французский, столь ясный, точный и красивый, вы лишаете нас удовольствия читать ваши прелестные произведения.

Монтескье.

Сожалею и удивляюсь, как можно писать,— скажу более,— как можно мыслить на языке необразованном? Вы пишете по-русски, а ваш язык и нация еще в пеленах.

Кантемир.

Справедливо! Русский язык в младенчестве, но он богат, выразителен, как язык латинский, и со временем будет то-

чен и ясен, как язык остроумного Фонтенеля и глубокомысленного Монтескье. Теперь я принужден бороться с величайшими трудностями, принужден изобретать беспрестанно новые слова, выражения и обороты, которые, без сомнения, обветшают через несколько годов. Переводя «Миры» Фонтенелевы, я создавал новые слова: академия Петербургская часто одобряла мои опыты. Я очищал путь для моих последователей.

Аббат В.

Но скажите, бога ради, как же вы могли присвоить все тонкие выражения и обороты первого щеголя языка французского, нашего семидесятилетнего Фонтенеля?

Кантемир.

Как умел! Я следовал рабски по следам его. Перевод мой слаб, груб, неверен. Скифы заставили пленного грека изваять Венеру и обещали ему свободу. Грек был дурной веятель; в Скифии не было ни паросского мрамора, ни хороших резцов; за неимением их соотечественник Праксителев употребил грубый гранит, молот, простую пилу и создал нечто похожее на Венеру, следуя заочно образцу, столь славному не только в Греции, но даже в землях варваров. Скифы были довольны, ибо не знали божественного подлинника, и поклонялись новой богине с детским усердием. Скифы — мои соотечественники, Праксителева статуя — книга бессмертного Фонтенеля, а я — сей грек, неискусный ваятель.

Аббат В.

О, вы слишком скромны, почтенный князь!

Кантемир.

Не довольствуясь опытом моим над Фонтенелем, я принялся за «Персидские письма».

Аббат В.

«Персидские письма» по-русски!

Монтескье.

Мог ли я ожидать, что первое, слабое произведение моего пера отнимет у вас столько драгоценного времени?

Аббат В.

Теперь гиперборейцы узнают, как ветрены и малодушны обитатели берегов Сейны.

Кантемир.

И как остроумны.

Аббат В.

Я давно на вечерах г-жи Жофрень, которая вас превозносит, но в душе своей ненавидит, давно предсказывал вашу славу, господин Монтескье!

В земле своей никто пророком не бывал,—

но мое пророчество сбылось, как видите. Легко быть может, что в эту самую минуту на берегах Ледовитого моря, на берегах Лены или Оби, в пустынях Татарии читают ваши остроумные письма и имя Монтескье гремит в становищах калмыков и самоедов.

Монтескье.

Читают «Персидские письма» при свете лампады, налитой рыбьим жиром...

Аббат В.

Или при свете северного сияния... Конечно, странно, чудесно! А мы говорим с таким пренебрежением о великой Московии!

Кантемир.

Калмыки и самоеды не читают философических книг и, конечно, долго читать не будут. Но в Москве многолюдной, в рождающейся столице Петра, в монастырях Малой и Великой России есть люди просвещенные и мыслящие, которые умеют наслаждаться прекрасными произведениями муз.

Монтескье.

Число таких людей должно быть весьма ограничено. До сих пор я думал и думаю, что климат ваш, суровый и непостоянный, земля, по большей части бесплодная, покрытая в зиму глубокими снегами, малое население, трудность сообщений, образ правления, почти азиатский, закоренелые предрассудки и рабство, утвержденные веками навыка,— все это вместе надолго замедлит ход ума и просвещения. Власть климата есть первая из властей.

Аббат В.

Я с вами согласен и полагаю, что все усилия исполинского царя, все, что он ни сотворил железною рукою, все разрушится, упадет, исчезнет. Природа, обычаи древние, суеверие, неисцелимое варварство возьмут верх над просвещением слабым и неосновательным, и вся полудикая Московия снова будет дикою Московиею, и вечный туман забвения покроет дела и жизнь преемников Петра Великого.

Кантемир.

Я осмелюсь спорить с великим творцом книги «О существе законов» и с вами, любезный аббат. Россия пробудилась от глубокого сна, подобно баснословному Эпимениду. Заря, осветившая нашу землю, предвещает прекрасное утро, великолепный полдень и ясный вечер: вот мое пророчество!

Аббат В.

Но это не заря — северное сияние. Блеску много, но без света и без теплоты.

Монтескье.

Остроумный аббат сказал великую истину. Положим — трудное предположение, едва ли сбыточное дело! — положим, что правительство откроет все пути к просвещению, что будет беспрестанно призывать иностранцев для воспитания юношества, построит теплые домы для училищ и из сих парников и теплиц просвещения соберет несколько незрелых и несочных плодов; положим, что правительство образует военных людей, довольно искусных, несколько мореходцев, небольшое число артиллеристов, инженеров и проч. Но скажите: может ли правительство вдохнуть вкус к изящному, к наукам отвлеченным, умозрительным? Какая сила изменит климат? Кто может вам даровать новое небо, новый воздух, новую землю?

Аббат В.

И новое солнце! Как можно сеять науки там, где осенью серп земледельца пожинает редкие класы на браздах, пòтом его орошенных, где зимою от холоду чугун распадается и топор жидкости рубит?

Caeduntque securibus humida vina[1].

---

[1] Рубят топором ранее жидкие вина [Стих из „Георгик" Виргилия] *(лат.)*.

Монтескье.

Холодный воздух сжимает железо: как же не действовать ему на человека? Он сжимает его фибры, он дает им силу необыкновенную. Эта сила физическая сообщается душе; она внушает ей храбрость в опасности, решительность, бодрость, крепкую надежду на себя, она есть тайная пружина многих прекрасных свойств характера; но она же лишает чувствительности, необходимой для наук и искусств. Теплота, напротив того, расширяя тончайшую плену кожи, раскрывает оконечности нервов и сообщает им чудесную раздражительность. В землях холодных наружная кожа столь сильно сжата воздухом, что нервы, так сказать, лишены жизни и редко, очень редко сообщают слабые ощущения свои мозгу. Вы знаете, что от бесчисленного количества слабых ощущений зависят воображение, вкус, чувствительность и живость. Надобно содрать кожу с гиперборейца, чтобы заставить его что-нибудь почувствовать *.

Аббат В.

Что можете отвечать на это? Вы станете защищать соотечественников ваших как министр и на сильные, неотразимые силлогизмы президента отвечать дипломатическими, отклоняющими истину фразами?

Кантемир.

Я родился в Константинополе. Праотцы мои происходят от древней фамилии, некогда обладавшей престолом Восточной империи. Следственно, во мне играет еще кровь греческая, и я непритворно люблю голубое небо и вечнозеленые оливы стран полуденных. В молодости я странствовал с отцом моим, неразлучным сопутником, искренним другом Петра Великого, и видел обширные долины России от Днепра до Кавказа, от Каспийского моря до берегов величественной Москвы. Я знаю Россию и обитателей ее. Хижина земледельца и терем боярина мне равно известны. Руководимый наставлениями отца моего, просвещеннейшего человека в Европе, с ранних лет воспитанный в училище философии и опытности, будучи обязан по званию моему иметь беспрестанные и тесные сношения с иностранцами всех наций, я не мог сохранить предрассудков *варварских* и привык смотреть на новое отечество мое оком беспри-

* Il faut écorcher un Moscovite pour lui donner du sentiment (?).

страстного наблюдателя. В Версали, в кабинете короля вашего, в присутствии министров, я — представитель великого народа и всемогущей его монархини, но здесь, в обществе дружеском с великим гением Европы, поставляю обязанностию говорить откровенно, и вы, господин аббат, скорее обличите Кантемира в невежестве, нежели в пристрастии или нечистосердечии. Вот мой ответ: вы знаете, что̀ Петр сделал для России: он создал людей... Нет, он развил в них все способности душевные, он вылечил их от болезни невежества, и русские, под руководством великого человека, доказали в короткое время, что таланты *свойственны человечеству*. Не прошло пятнадцати лет, и великий монарх наслаждался уже плодами знаний своих сподвижников: все вспомогательные науки военного дела процвели внезапно в государстве его. Мы громами побед возвестили Европе, что имеем артиллерию, флот, инженеров, ученых, даже опытных мореходцев. Чего же хотите от нас в столь короткое время? Успехов ума, успехов в науках отвлеченных, в изящных искусствах, в красноречии, в поэзии? Дайте нам время, продлите благоприятные обстоятельства, и вы не откажете нам в *лучших* способностях ума. Вы говорите, что власть климата есть первая из властей. Не спорю: климат имеет влияние на жителей; но это влияние — как вы сами заметили в бессмертной книге своей,— это влияние бывает уменьшено или ограничено образом правления, нравами, общежитием. Самый климат России разнообразен. Иностранцы, говоря о нашем отечестве, полагают вообще, что Московия покрыта вечными снегами, населена дикими. Они забывают неизмеримое пространство России; они забывают, что в то время, когда житель влажных берегов Белого моря ходит за куницею на быстрых лыжах своих, счастливый обитатель устьев Волги собирает пшеницу и благодатное просо. Самый север не столь ужасен взорам путешественника, ибо он дает все потребное возделывателю полей. Плуг есть основание общества, истинный узел гражданства, опора законов, а где, в какой стране России не оставляет он благодетельных следов своих? С успехами людкости и просвещения север беспрестанно изменяется и, если смею сказать, прирастает к просвещенной Европе. Скажите: когда Тацит описывал германцев, думал ли тогда Тацит, что в диких лесах ее возникнут города великолепные, что в древней Паннонии и Норике родятся светильники ума человеческого? Нет, конечно! Но Петр Великий, заключив судьбу полумира в руке своей,

утешал себя великою мыслию, что на берегах Невы древо наук будет процветать под сению его державы и рано или поздно, но даст новые плоды, и человечество обогатится ими. Вы, господин Монтескье, наблюдаете беспрестанно мир политический; на развалинах протекших веков, на прахе гордого Рима и прелестной Греции вы постигли причины настоящих явлений, научились пророчествовать о будущем. Вы знаете, что с успехами просвещения изменяются явным и неприметным образом все формы правления; вы заметили сии изменения в земле русской. Время все разрушает и созидает, портит и совершенствует. Может быть, чрез два или три столетия, может быть, и ранее благие небеса даруют нам гения, который постигнет вполне великую мысль Петра и обширнейшая земля в мире, по творческому гласу его, учинится хранилищем законов, свободы, на них основанной, нравов, дающих постоянство законов, одним словом — хранилищем просвещения. Лестные надежды, вы сбудетесь, конечно! Благодетель семейства моего, благодетель России, почивает во гробе; но дух его, сей деятельный, сей великий дух, не покидает страны, ему любезной: он всюду присутствует, все оживляет, всему дает душу, и новую жизнь, и новую силу; он, кажется мне, беспрестанно вещает России: иди вперед, не останавливайся на поприще, мною отверзтом, и достигнешь великой цели, мной назначенной!

Монтескье.

Но искусства? Могут ли они процветать в туманах Невы или под суровым небом московским?

Аббат В.

Искусства... Ах, им-то нужен прозрачный воздух и яркое солнце Рима, древней Эллады или умеренный климат нашей Франции!

Кантемир.

Полуденные страны были родиною искусств; но сии прелестные дети воображения были часто вытесняемы из родины своей варварством, суеверием, железом завоевателей и, как быстрые волны, разлились по лицу земному. Музыка, живопись и скульптура любят свое древнее отечество, а еще более — многолюдные города, роскошь, нравы изнеженные. Но поэзия свойственна всему человечеству: там, где человек дышит воздухом, питается плодами земли, там, где он существует, там же он наслаждается и чувствует добро или зло,

любит и ненавидит, укоряет и ласкает, веселится и страдает. Сердце человеческое есть лучший источник поэзии.

Аббат В.

Так! Но оно — признайтесь — не столь чувствительно на севере?

Монтескье.

Я видел оперу в Англии и в Италии. От музыки, которую англичане слушают спокойно, италиянцы бывают вне себя и прыгают, как Пифия на пророческом треножнике.

Кантемир.

Что доказывает это? Что чувствительность народов южных раздражительнее, сообщительнее, но едва ли столь глубока, столь сильна, как чувствительность народов северных. В бытность мою в Лондоне ученый шотландец N. N. показывал мне песни его горных соотечественников: они напоминают древнего Омира и силою мыслей, глубиною чувств превосходят многие произведения музы италиянской.

Аббат В.

Невероятно!

Кантемир.

Мы, русские, имеем народные песни: в них дышит нежность, красноречие сердца, в них видна сия задумчивость, тихая и глубокая, которая дает неизъяснимую прелесть и самым грубым произведениям северной музы.

Аббат В.

Чудесно, по чести, невероятно!

Кантемир.

Скажите: если грубые дети севера умеют чувствовать и изъясняться столь живо и приятно, то чего нельзя ожидать нам от людей образованных?

Аббат В.

Но, почтенный защитник севера, вы знаете, что народные песни — лепетание младенцев!

Кантемир.

Младенцев, которые со временем возмужают. Как знать? Может быть, на диких берегах Камы или величественной

Волги возникнут великие умы, редкие таланты. Что скажете, господин президент, что скажете, услыша, что при льдах Северного моря, между полудиких, родился великий гений, что он прошел исполинскими шагами все поле наук, как философ, как оратор и поэт, преобразовал язык свой и оставил по себе вечные памятники? Это одно предположение, но дело возможное. Что скажете, если...

Аббат В.

Но к чему сии гипотезы? Легче поверю, что русские взяли приступом Париж и уничтожили все крепости, Вобаном построенные! *Впрочем, для чудес нет законов*, говорил мне Фонтенель с значительною усмешкою, прочитав в первый раз свое глубокомысленное рассуждение об оракулах. Все надежды ваши, может быть, и сбудутся, или вы найдете их в царстве луны, с утраченными надеждами Астольфа. Но простите моему чистосердечию... Признаюсь, я до сих пор смотрю на вас с удивлением и не могу постигнуть, как можно в Париже, на земле Расина и Корнеля, писать русские стихи.

Кантемир.

Это напоминает: как можно быть персиянином.

Монтескье.

Вы хотели поразить нас собственным нашим оружием. Но позвольте сделать одно замечание. Вы подражаете Горацию и Ювеналу, следовательно пишете сатиры, сатиры на нравы, которые еще не установились. Гораций и Ювенал осмеивали пороки народа развратного, но достигшего высокой степени просвещения; остроумный и всегда рассудительный Буало писал при дворе великого короля в самую блестящую эпоху монархии французской. Теперь общество в России должно представлять ужасный хаос — грубое слияние всего порочного, смешение закоренелых предрассудков, невежества, древнего варварства, татарских обычаев с некоторым блеском роскоши азиятской, с некоторыми искрами просвещения европейского! Какая тут пища для поэта сатирического? Могут ли проникнуть тонкие стрелы эпиграммы сквозь тройную броню невежества и уязвить сердце, окаменелое в пороках, закаленное в невежестве? И что значат сии стрелы в земле, где женщины, хранительницы нравов, едва начинают освобождаться из-под ига мужей своих, в земле,

где общественное мнение еще шатается, еще не установилось и не может наказывать своим приговором того, что не подлежит суду законов? Одним словом — как можно смеяся говорить истину властелинам или рабам? Первым — опасно, другим — бесполезно.

Кантемир.

Пользуясь покровительством монархов и вельмож, занимающих первые степени в государстве, я без страха говорил истину, и мои сатиры принесли некоторую пользу. Петр Великий, преобразуя Россию, старался преобразовать и нравы. Новое поприще открылось наблюдателю человечества и страстей его: мы увидели в древней Москве чудесное смешение старины с новизною, две стихии в беспрестанной борьбе одна с другою. Новые обычаи, новые платья, новый род жизни, новый язык не могли еще изменить древних людей, изгладить древний характер: иные бояра, надевая парик и новое платье, оставались с прежними предрассудками, с древним упрямством и тем казались еще страннее; другие, отложа бороду и длинный кафтан праотеческий, с платьем европейским надевали все пороки, все слабости ваших соотечественников, но вашей любезности и людкости занять не умели. Частые перемены при дворе возводили на высокие степени государственные людей низких и недостойных: они являлись и исчезали; временщик сменял временщика, толпа льстецов — другую толпу. Гордость и низость, суеверие и кощунство, лицемерие и явный разврат, скупость и расточительность неимоверная, одним словом — страсти по всему противуположные сливались чудесным образом и представляли новое зрелище равнодушному наблюдателю и философу, который только ощупью и с Горацием в руках мог отыскивать счастливую средину вещей. Я старался изловить некоторые черты сих времен; скажу более: я старался явить порок во всей наготе своей и намекнуть соотечественникам истинный путь честности, благих нравов и добродетели. Ученый Феофан, архимандрит Кролик — оба достойные пастыри,— Никита Трубецкой и другие вельможи одобрили мои слабые опыты, мое перо неискусное, но смелое, чистосердечное. Я первый осмелился писать так, как говорят; я первый изгнал из языка нашего грубые слова славянские, чужестранные, несвойственные языку русскому, и открыл новую дорогу для грядущих талантов. Сатиры мои будут иметь некоторую цену для потомков наших, подобно

древним картинам первых живописцев, предшественников Рафаэля; в них они найдут изображение верное нравов и языка русского в славном периоде для России — от времен Петра до царствования счастливой, обожаемой нами Елизаветы, и имя мое — простите мне авторское самолюбие — будет уважаемо в России более потому, что я первый осмелился говорить языком муз и философии, нежели потому, что занимал важное место при дворе вашем.

Аббат В.

Прекрасно! Вы говорите, как истинный философ.

Монтескье.

Мы желали бы видеть ваши сатиры на французском языке. Отчасти я согласен с вами: картина нравов народа почти нового всегда любопытна. Но... вот и аббат Гуаско, ваш приятель...

— Вы очень кстати навестили нас! — сказал Кантемир, обнимая аббата.— Вы перевели мои сатиры на французский язык: прочитайте что-нибудь в угождение господину президенту; а у вас, господа, прошу терпения и снисхождения.

Чтение и разговор продолжались долго, даже за полночь. Наконец, Монтескье и аббат В. откланялись министру и расстались... довольны ли им — не знаю. Знаю только, что Кантемир, шевеля гаснувшие уголья в камине, сказал аббату Гуаско:

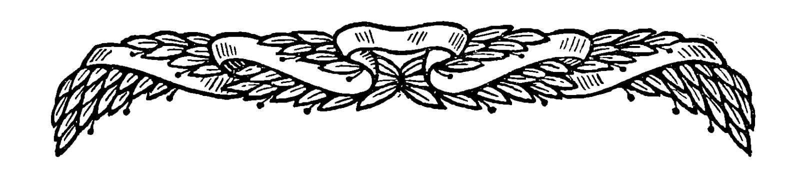
— Признайся, любезный друг, Монтескье — умный человек, великий писатель, но...

— Но говорит о России, как невежда,— прибавил аббат Гуаско.

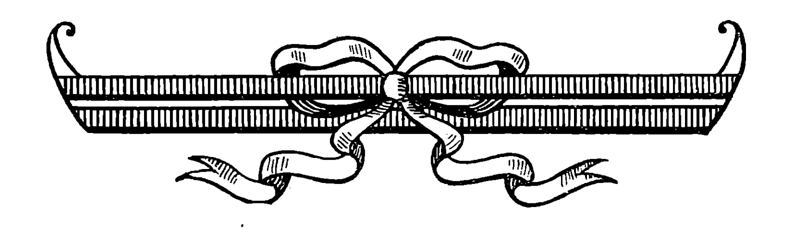
Скромный Кантемир улыбнулся, пожелал доброй ночи аббату, и они расстались.

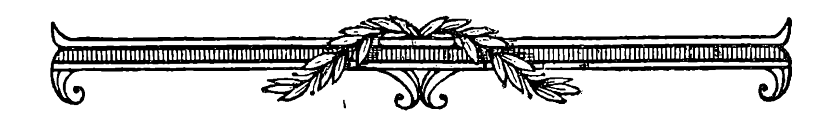
1816





КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ





НЕЧТО О ПОЭТЕ И ПОЭЗИИ

Поэзия — сей пламень небесный, который менее или более входит в состав души человеческой, сие сочетание воображения, чувствительности, мечтательности,— поэзия нередко составляет и муку и услаждение людей, единственно для нее созданных. *«Вдохновением гения тревожится поэт»*,— сказал известный стихотворец. Это совершенно справедливо. Есть минуты деятельной чувствительности: их испытали люди с истинным дарованием; их-то должно ловить на лету живописцу, музыканту и более всех поэту, ибо они редки, преходящи и зависят часто от здоровья, от времени, от влияния внешних предметов, которыми по произволу мы управлять не в силах. Но в минуту вдохновения, в сладостную минуту очарования поэтического, я никогда не взял бы пера моего, если бы нашел сердце, способное чувствовать вполне то, что я чувствую; если бы мог передать ему все тайные помышления, всю свежесть моего мечтания и заставить в нем трепетать те же струны, которые издали голос в моем сердце. Где сыскать сердце, готовое разделять с нами все чувства и ощущения наши? Нет его с нами — и мы прибегаем к искусству выражать мысли свои в сладостной надежде, что есть на земле сердца добрые, умы образованные, для которых сильное и благородное чувство, счастливое выражение, прекрасный стих и страница живой, красноречивой прозы суть сокровища истинные... «Они не могут читать в моем сердце, но прочитают книгу мою»,— говорил Монтань; и в самые бурные времена Франции, при звуке оружия, при зареве костров, зажженных суеверием, писал «Опыты» свои и, беседуя с добрыми сердцами всех веков, забывал недостойных современников.

Некто сравнивал душу поэта в минуту вдохновения с растопленным в горниле металлом: в сильном и постоянном пламени он долго остается в первобытном положении, долго недвижим; но раскаленный — рдеется, закипает и клокочет; снятый с огня — в одну минуту успокаивается и упадает. Вот прекрасное изображение поэта, которого вся жизнь должна приготовлять несколько плодотворных минут: все предметы, все чувства, все зримое и незримое должно распалять его душу и медленно приближать сии ясные минуты деятельности, в которые столь легко изображать всю историю наших впечатлений, чувств и страстей. Плодотворная минута поэзии! ты быстро исчезаешь, но оставляешь вечные следы у людей, владеющих языком богов.

Люди, счастливо рожденные, которых природа щедро наделила памятию, воображением, огненным сердцем и великим рассудком, умеющим давать верное направление и памяти и воображению,— сии люди имеют, без сомнения, дар выражаться, прелестный дар, лучшее достояние человека, ибо посредством его он оставляет вернейшие следы в обществе и имеет на него сильное влияние. Без него не было бы ничего продолжительного, верного, определенного; и то, что мы называем бессмертием на земле, не могло бы существовать. Веки мелькают, памятники рук человеческих разрушаются, изустные предания изменяются, исчезают, но Омер и книги священные говорят о протекшем. На них основана опытность человеческая. Вечные кладези, откуда мы почерпаем истины утешительные или печальные! что дает вам сию прочность? Искусство письма и другое, важнейшее — искусство выражения.

Сей дар выражать и чувства и мысли свои давно подчинен строгой науке. Он подлежит постоянным правилам, проистекшим от опытности и наблюдения. Но самое изучение правил, беспрестанное и упорное наблюдение изящных образцов — недостаточны. Надобно, чтобы вся жизнь, все тайные помышления, все пристрастия клонились к одному предмету, и сей предмет должен быть — искусство. Поэзия, осмелюсь сказать, требует *всего человека*.

Я желаю (пускай назовут странным мое желание!) желаю, чтобы поэту предписали особенный образ жизни, пиитическую *диэтику:* одним словом, чтобы сделали науку из жизни стихотворца. Эта наука была бы для многих едва ли не полезнее всех Аристотелевых правил, по которым на-

учаемся избегать ошибок, но как творить изящное — никогда не научимся!

Первое правило сей науки должно быть: живи, как пишешь, и пиши, как живешь. Talis hominibus fuit oratio, qualis vita [1].

Иначе все отголоски лиры твоей будут фальшивы. К чему произвела тебя природа? Что вложила в сердце твое? Чем пленяется воображение, часто против воли твоей? При чтении какого писателя трепетал твой гений с неизъяснимою радостию и глас, громкий глас твоей пиитической совести, восклицал: проснись и ты, поэт! При чтении творцов эпических? Итак, удались от общества, окружи себя природою: в тишине сельской, посреди грубых, неиспорченных нравов читай историю времен протекших, поучайся в печальных летописях мира, узнавай человека и страсти его, но исполнись любви и благоволения ко всему человечеству: да будут мысли твои важны и величественны, движения души твоей нежны и страстны, но всегда покорены рассудку, спокойному властелину их. Этого мало! Эпическому стихотворцу надобно все испытать — *обе фортуны*. Подобно Тассу, любить и страдать всем сердцем; подобно Камоэнсу, сражаться за отечество, обтекать все страны, вопрошать все народы, дикие и просвещенные, вопрошать все памятники искусства, всю природу, которая говорит всегда красноречиво и внятно уму возвышенному, обогащенному опытами, воспоминаниями. Одним словом, надобно, забыв все ничтожные выгоды жизни и самолюбия, пожертвовать всем — славе; и тогда только погрузиться (не с дерзостию кичливого ума, но с решимостию человека, носящего в груди своей внутреннее сознание собственной силы), тогда только погрузиться в бурное и пространное море эпопеи...

Жить в обществе, носить на себе тяжелое ярмо должностей, часто ничтожных и суетных, и хотеть согласовать выгоды самолюбия с желанием славы есть требование истинно суетное. Что образ жизни действует сильно и постоянно на талант, в том нет сомнения. Пример тому — французы: их словесность, столь богатая во всех родах, не имеет ни эпопеи, ни истории. Их писатели по большей части жили посреди шумного города, посреди всех обольщений двора и праздности, а история и эпопея требуют внимания постоян-

---

[1] Речь людей была такова, какова их жизнь.— Афоризм Сенеки *(лат.)*.

ного и сей важности и сей душевной силы, которую общество не только что отнимает у человека рассеянного, но уничтожает совершенно. «Хотите ли быть красноречивыми писателями? — говорит красноречивая женщина нашего времени.— Будьте добродетельны и свободны, почитайте предмет любви вашей, ищите бессмертия в любви, божества в природе; освятите душу, как освящают храм, и ангел возвышенных мыслей предстанет вам во всем великолепии!» Прелестные строки, исполненные истины! вас рассеянные умы или не поймут, или прочитают с гордым презрением.

Взглянем на жизнь некоторых стихотворцев, которых имена столь любезны сердцу нашему. Гораций, Катулл и Овидий так жили, как писали. Тибулл не обманывал ни себя, ни других, говоря покровителю своему, Мессале, что его не обрадуют ни триумфы, ни пышный Рим, но спокойствие полей, здоровый воздух лесов, мягкие луга, родимый ручеек и эта хижина с простым, соломенным кровом — ветхая хижина, в которой Делия ожидает его с распущенными власами по высокой груди. Петрарка точно стоял, опершись на скалу Воклюзскую, погруженный в глубокую задумчивость, когда вылетали из уст его гармонические стихи:

Sott' un gran sasso
In una chiusa valle, ond'esce Sorga,
Si sta: nè chi lo scorga
V'è, se no amor, che mai nol lascia un passo
E l'immagine d'una che lo strugge [1].

Счастливый Шолье мечтал под ветхими и тенистыми древами Фонтенейского убежища; там сожалел он об утрате юности, об утрате неверных наслаждений любви. Богданович жил в мире фантазии, им созданном, когда рука его рисовала пленительное изображение Душеньки *. Державин на диких берегах Суны, орошенный кипящею ее пеною, воспевал водопад и бога в пророческом исступлении. И в наши времена, более обильные славою, нежели благоприятные музам, Жуковский, оторванный Беллоною от милых полей

---

[1] Под большой скалой
В замкнутой долине, откуда вытекает Сорга,
Стоит он: и никого с ним нет,
Кроме любви, которая никогда не отступает от него,
И образа той, которая его сжигает.— *(итал.)*.

* Богданович жил в совершенном уединении. У него были два товарища, достойные добродушного Лафонтена: кот и петух. Об них он говорил, как о друзьях своих, рассказывал чудеса, беспокоился об их здоровье и долго оплакивал их кончину.

своих, Жуковский, одаренный пламенным воображением и редкою способностию передавать другим глубокие ощущения души сильной и благородной,— в стане воинов, при громе пушек, при зареве пылающей столицы писал вдохновенные стихи, исполненные огня, движения и силы.

Если образ жизни имеет столь сильное влияние на произведения поэта, то воспитание действует на него еще сильнее. Ничто не может изгладить из памяти сердца нашего первых сладостных впечатлений юности! Время украшает их и дает им восхитительную прелесть. В среднем возрасте зримые предметы слабо врезываются в памяти, и душа, утомленная ощущениями, пренебрегает ими: ее занимают одни страсти; в преклонных летах человек не приобретает, и последним его сокровищем остается то единственно, чем он запас себя в молодости. Таким образом, природа соединяет вечер с утром жизни, как вечерняя заря сливается с утреннею в долгие дни лета под нашим северным небом.

Если первые впечатления столь сильны в сердце каждого человека, если не изглаживаются во все течение его жизни, то тем более они должны быть сильны и сохранять неувядаемую свежесть в душе писателя, одаренного глубокою чувствительностию:

Утешно вспоминать под старость детски леты,
Забавы, резвости, различные предметы,
Которые тогда увеселяли нас!

Если бы мы знали подробно обстоятельства жизни великих писателей, то, без сомнения, могли бы найти в их творениях следы первых, всегда сильных ощущений. Сердце имеет свою особенную память. Руссо помнил начало песни, которую ему напевала его добродушная тетка. Молодой Ариост, в бытность свою во Флоренции, влюбился в прелестную женщину. Он часто посещал ее; целые часы в глубоком безмолвии просиживал, любуясь красавицею, которая вышивала по серебру пурпурным шелком. Впечатление прелестных рук навсегда осталось в памяти любовника, и столь сильно, что впоследствии времени, рассказывая битву Мандрикара с злополучным Сербином, он сравнивает алую кровь, текущую из глубокой раны юноши, с пурпурными начертаниями, которые вышивала по серебру белоснежная рука незабвенной флорентинки. Нежные сердца помнят те места в Виргилии, где поэт говорит о своей милой Мантуе: стихи римского Омера исполнены воспоминаний о юности; они

исполнены сих глубоких, неизгладимых впечатлений, которые погружают читателя в сладкую задумчивость, напоминая ему его собственную жизнь и ясную зарю молодости.

Климат, вид неба, воды и земли — все действует на душу поэта, отверстую для впечатлений. Мы видим в песнях северных скальдов и эрских бардов нечто суровое, мрачное, дикое и всегда мечтательное, напоминающее и пасмурное небо севера, и туманы морские, и всю природу, скудную дарами жизни, но всегда величественную, прелестную и в ужасах. Мы видим неизгладимый отпечаток климата в стихотворцах полуденных: некоторую негу, роскошь воображения, свежесть чувств и ясность мыслей, напоминающих и небо и всю благотворную природу стран южных, где человек наслаждается двойною жизнию в сравнении с нами, где все питает и нежит его чувства, где все говорит его воображению. Напрасно уроженец Сицилии или Неаполя желал бы состязаться в песнях своих с бардом Морвена и описывать, подобно ему, мрачную природу севера; напрасно северный поэт желал бы изображать роскошные долины, прохладные пещеры, плодоносные рощи, тихие заливы и небо Сицилии, высокое, прозрачное и вечно ясное. Один Тасс, рожденный под раскаленным солнцем Неаполя, мог описать столь верными и свежими красками ужасную засуху, гибельную для крестовых воинов. По сему описанию, говорит ученый Женгене, можно узнать полуденного жителя, который неоднократно подвергался смертному влиянию ветров африканских, неоднократно изнемогал под бременем зноя. У нас Ломоносов, рожденный на берегу шумного моря, воспитанный в трудах промысла, сопряженного с опасностию, сей удивительный человек в первых летах юношества был сильно поражен явлениями природы: солнцем, которое в должайшие дни лета, дошед до края горизонта, снова восстает и снова течет по тверди небесной; северным сиянием, которое в полуночном краю заменяет солнце и проливает холодный и дрожащий свет на природу, спящую под глубокими снегами. Ломоносов с каким-то особенным удовольствием описывает сии явления природы, величественные и прекрасные, и повторяет их в великолепных стихах своих:

Закрылись крайние с пучиною леса,
Лишь с морем видны вкруг слиянны небеса.
. . . .
. . . . . Сквозь воздух в юге чистый
Открылись два холма и берега лесисты.

Меж ними кораблям в залив отверзся вход,
Убежище пловцам от беспокойных вод,
Где в влажных берегах крутясь, печальна Уна
Медлительно течет в объятия Нептуна...
Достигло днѐвное до полночи светило,
Но в глубине лица горящего не скрыло,
Как пламенна гора казалось средь валов
И простирало блеск багровый из-за льдов.
Среди пречудныя при ясном солнце ночи
Верхи златых зыбей пловцам сверкают в очи.

Мы не остановимся на красоте стихов. Здесь все выражения великолепны: горящее лицо солнца, противоположенное хладным водам океана; солнце, остановившееся на горизонте и, подобно пламенной горе, простирающее блеск из-за льдов,— суть первоклассные красоты описательной поэзии. Два последние стиха, заключающие картину, восхитительны:

Среди пречудныя при ясном солнце ночи
Верхи златых зыбей пловцам сверкают в очи.

Но мы заметим, что поэт не мог бы написать их, если бы он не был свидетелем сего чудесного явления, которое поразило огненное воображение вдохновенного отрока и оставило в нем глубокое, неизгладимое впечатление.

[*1815*]

РЕЧЬ О ВЛИЯНИИ ЛЕГКОЙ ПОЭЗИИ НА ЯЗЫК,

читанная при вступлении в Общество любителей русской словесности в Москве.
Июля . . . 1816 г.

Избрание меня в сочлены ваши есть новое свидетельство, мм. гг., вашей снисходительности. Вы обращаете внимательные взоры не на одно дарование, вы награждаете слабые труды и малейшие успехи, ибо имеете в виду важную цель: будущее богатство языка, столь тесно сопряженное с образованностию гражданскою, с просвещением и, следственно, с благоденствием страны, славнейшей и обширнейшей в мире. По заслугам моим я не имею права заседать с вами; но если усердие в словесности есть достоинство, то по пламенному желанию усовершенствования языка нашего, единственно по любви моей к поэзии я могу смело сказать, что выбор ваш соответствует цели Общества. Занятия мои были маловажны, но беспрерывны. Они были пред вами красноречивыми свидетелями моего усердия и доставили мне счастие заседать в древнейшем святилище муз отечественных, которое возрождается из пепла вместе с столицею царства русского и со временем будет достойно ее древнего величия.

Обозревая мысленно обширное поле словесности, необъятные труды и подвиги ума человеческого, драгоценные сокровища красноречия и стихотворства, я с горестию познаю и чувствую слабость сил и маловажность занятий моих, но утешаюсь мыслию, что успехи и в малейшей отрасли словесности могут быть полезны языку нашему. Эпопея, драматическое искусство, лирическая поэзия, история, красноречие духовное и гражданское требуют великих усилий ума, высокого и пламенного воображения. Счастливы те, которые по-

хищают пальму первенства в сих родах: имена их становятся бессмертными, ибо счастливые произведения творческого ума не принадлежат одному народу исключительно, но делаются достоянием всего человечества. Особенно великие произведения муз имеют влияние на язык новый и необработанный. Ломоносов — тому явный пример. Он преобразовал язык наш, созидая образцы во всех родах. Он то же учинил на трудном поприще словесности, что Петр Великий на поприще гражданском. Петр Великий пробудил народ, усыпленный в оковах невежества; он создал для него законы, силу военную и славу; Ломоносов пробудил язык усыпленного народа; он создал ему красноречие и стихотворство, он испытал его силу во всех родах и приготовил для грядущих талантов верные орудия к успехам. Он возвел в свое время язык русский до возможной степени совершенства — возможной, говорю, ибо язык идет всегда наравне с успехами оружия и славы народной, с просвещением, с нуждами общества, с гражданскою образованностию и людкостию. Но Ломоносов, сей исполин в науках и в искусстве писать, испытуя русский язык в важных родах, желал обогатить его нежнейшими выражениями Анакреоновой музы. Сей великий образователь нашей словесности знал и чувствовал, что язык просвещенного народа должен удовлетворять всем его требованиям и состоять не из одних высокопарных слов и выражений. Он знал, что у всех народов, и древних и новейших, легкая поэзия, которую можно назвать прелестною роскошью словесности, имела отличное место на Парнасе и давала новую пищу языку стихотворному. Греки восхищались Омером и тремя трагиками, велеречием историков своих, убедительным и стремительным красноречием Демосфена; но Вион, Мосх, Симонид, Феокрит, мудрец Феосский и пламенная Сафо были увенчаны современниками. Римляне, победители греков оружием, не талантом, подражали им во всех родах: Цицерон, Виргилий, Гораций, Тит Ливий и другие состязались с греками. Важные римляне, потомки суровых Кориоланов, внимали им с удивлением, но эротическую музу Катулла, Тибулла и Проперция не отвергали. По возрождении муз Петрарка, один из ученейших мужей своего века, светильник богословия и политики, один из первых создателей славы возрождающей Италии из развалин классического Рима, Петрарка, немедленно шествуя за суровым Данте, довершил образование великолепного наречия тосканского, подражая Тибуллу, Овидию и поэзии

мавров, исполненной воображения и неги. Маро, царедворец Франциска I, известный по эротическим стихотворениям, был один из первых образователей языка французского, которого владычество, почти пагубное, распространилось на все народы, не достигшие высокой степени просвещения. В Англии Валлер, певец Захариссы, в Германии Гагедорн и другие писатели, предшественники творца «Мессиады» и великого Шиллера, спешили жертвовать грациям и говорить языком страсти и любви, любимейшим языком муз, по словам глубокомысленного Монтаня. У нас преемник лиры Ломоносова Державин, которого одно имя истинный талант произносит с благоговением,— Державин, вдохновенный певец высоких истин, и в зиму дней своих любил отдыхать со старцем Феосским. По следам сих поэтов множество писателей отличились в этом роде, повидимому столь легком, но в самом деле имеющем великие трудности и преткновения, особенно у нас, ибо язык русский, громкий, сильный и выразительный, сохранил еще некоторую суровость и упрямство, не совершенно исчезающие даже под пером опытного таланта, поддержанного наукою и терпением.

Главные достоинства стихотворного слога суть: движение, сила, ясность. В больших родах читатель, увлеченный описанием страстей, ослепленный живейшими красками поэзии, может забыть недостатки и неровности слога и с жадностью внимает вдохновенному поэту или действующему лицу, им созданному. Во время представления какой холодный зритель будет искать ошибок в слоге, когда Полиник, лишенный венца и внутреннего спокойствия, в слезах, в отчаянии бросается к стопам разгневанного Эдипа? Но сии ошибки, поучительные для дарования, замечает просвещенный критик в тишине своей учебной храмины: каждое слово, каждое выражение он взвешивает на весах строгого вкуса; отвергает слабое, ложно блестящее, неверное и научает наслаждаться истинно прекрасным. В легком роде поэзии читатель требует возможного совершенства, чистоты выражения, стройности в слоге, гибкости, плавности; он требует истины в чувствах и сохранения строжайшего приличия во всех отношениях; он тотчас делается строгим судьею, ибо внимание его ничем сильно не развлекается. Красивость в слоге здесь нужна необходимо и ничем замениться не может. Она есть тайна, известная одному дарованию и особенно постоянному напряжению внимания к одному предмету: ибо поэзия и в малых родах есть искусство трудное и требующее

всей жизни и всех усилий душевных; надобно родиться для поэзии; этого мало: родясь, надобно сделаться поэтом в каком бы то ни было роде.

Так называемый эротический и вообще легкий род поэзии восприял у нас начало со времен Ломоносова и Сумарокова. Опыты их предшественников были маловажны: язык и общество еще не были образованы. Мы не будем исчислять всех видов, разделений и изменений легкой поэзии, которая менее или более принадлежит к важным родам; но заметим, что на поприще изящных искусств, подобно как и в нравственном мире, ничто прекрасное и доброе не теряется, приносит со временем пользу и действует непосредственно на весь состав языка. Стихотворная повесть Богдановича, первый и прелестный цветок легкой поэзии на языке нашем, ознаменованный истинным и великим талантом; остроумные, неподражаемые сказки Дмитриева, в которых поэзия в первый раз украсила разговор лучшего общества; послания и другие произведения сего стихотворца, в которых философия оживилась неувядающими цветами выражения; басни его, в которых он боролся с Лафонтеном и часто побеждал его; басни Хемницера и оригинальные басни Крылова, которых остроумные, счастливые стихи сделались пословицами, ибо в них виден и тонкий ум наблюдателя света и редкий талант; стихотворения Карамзина, исполненные чувства, образец ясности и стройности мыслей; горацианские оды Капниста; вдохновенные страстию песни Нелединского; прекрасные подражания древним Мерзлякова; баллады Жуковского, сияющие воображением, часто своенравным, но всегда пламенным, всегда сильным; стихотворения Востокова, в которых видно отличное дарование поэта, напитанного чтением древних и германских писателей, наконец стихотворения Муравьева, где изображается, как в зеркале, прекрасная душа его; послания кн. Долгорукова, исполненные живости; некоторые послания Воейкова, Пушкина и других новейших стихотворцев, писанные слогом чистым и всегда благородным *: все сии блестящие произведения дарования и остроумия менее или более приблизились к желанному совершенству, и все — нет сомнения — принесли пользу языку стихотворному, образовали его, очистили, утвердили. Так светлые ручьи, текущие разными излучинами по одному постоянному наклонению, соединяясь в долине, образуют глубокие и обширные

---

* Смотри примечание А.

озера: благодетельные воды сии не иссякают от времени; напротив того, они возрастают и увеличиваются с веками и вечно существуют для блага земли, ими орошаемой!

В первом периоде словесности нашей, со времен Ломоносова, у нас много написано в легком роде; но малое число стихов спаслось от общего забвения. Главною тому причиною можно положить не один недостаток таланта или изменение языка, но изменение самого общества; бо́льшую его образованность и, может быть, большее просвещение, требующее от языка и писателей большего знания света и сохранения его приличий; ибо сей род словесности беспрестанно напоминает об обществе; он образован из его явлений, странностей, предрассудков и должен быть ясным и верным его зеркалом. Бо́льшая часть писателей, мною названных, провели жизнь свою посреди общества Екатеринина века, столь благоприятного наукам и словесности; там заимствовали они эту людкость и вежливость, это благородство, которых отпечаток мы видим в их творениях; в лучшем обществе научились они угадывать тайную игру страстей, наблюдать нравы, сохранять все условия и отношения светские и говорить ясно, легко и приятно. Этого мало: все сии писатели обогатились мыслями в прилежном чтении иностранных авторов, иные древних, другие новейших, и запаслись обильною жатвою слов в наших старинных книгах. Все сии писатели имеют истинный талант, испытанный временем; истинную любовь к лучшему, благороднейшему из искусств, к поэзии, и уважают, смею сказать боготворят, свое искусство, как лучшее достояние человека образованного, истинный дар неба, который доставляет нам чистейшие наслаждения посреди забот и терний жизни, который дает нам то, что мы называем бессмертием на земли,— мечту прелестную для душ возвышенных!

Все роды хороши, кроме скучного. В словесности все роды приносят пользу языку и образованности. Одно невежественное упрямство любит и старается ограничить наслаждения ума. Истинная просвещенная любовь к искусствам снисходительна и, так сказать, жадна к новым духовным наслаждениям. Она ничем не ограничивается, ничего не желает исключить и никакой отрасли словесности не презирает. Шекспир и Расин, драма и комедия, древний экзаметр и ямб, давно присвоенный нами, пиндарическая ода и новая баллада, эпопея Омера, Ариоста и Клопштока, столь различные по изобретению и формам, ей равно изве-

стны, равно драгоценны. Она с любопытством замечает успехи языка во всех родах, ничего не чуждается, кроме того, что может вредить нравам, успехам просвещения и здравому вкусу (я беру сие слово в обширном значении). Она с удовольствием замечает дарование в толпе писателей и готова ему подать полезные советы; она, как говорит поэт, готова обнять

В отважном мальчике грядущего поэта!

Ни расколы, ни зависть, ни пристрастие, никакие предрассудки ей неизвестны. Польза языка, слава отечества — вот благородная ее цель! Вы, мм. гг., являете прекрасный пример, созывая дарования со всех сторон, без лицеприятия, без пристрастия. Вы говорите каждому из них: несите, несите свои сокровища в обитель муз, отверстую каждому таланту, каждому успеху; совершите прекрасное, великое, святое дело: обогатите, образуйте язык славнейшего народа, населяющего почти половину мира; поравняйте славу языка его со славою военною, успехи ума с успехами оружия. Важные музы подают здесь дружественно руку младшим сестрам своим, и алтарь вкуса обогащается их взаимными дарами.

И когда удобнее совершить желаемый подвиг? В каком месте приличнее? В Москве, столь красноречивой и в развалинах своих, близ полей, ознаменованных неслыханными доселе победами, в древнем отечестве славы и нового величия народного!

Так! с давнего времени все благоприятствовало дарованию в университете Московском, в старшем святилище муз отечественных. Здесь пламенный их любитель с радостию созерцает следы просвещенных и деятельных покровителей. Имя Шувалова, первого мецената русского, сливается здесь с громким именем Ломоносова. Между знаменитыми покровителями наук мы обретаем Хераскова: творец «Россияды» посещал сии мирные убежища; он покровительствовал сему рассаднику наук; он первый ободрял возникающий талант и славу писателя соединил с другою славою, не менее лестною для души благородной, не менее прочною,— со славою покровителя наук. Муравьев, как человек государственный, как попечитель, принимал живейшее участие в успехах университета, которому в молодости был обязан своим образованием *. Под руководством славнейших профессоров

* Смотри примечание Б.

московских, в недрах своего отечества, он приобрел сии обширные сведения во всех отраслях ума человеческого, которым нередко удивлялись ученые иностранцы; за благодеяния наставников он платил благодеяниями сему святилищу наук; имя его будет любезно сердцам добрым и чувствительным: имя его напоминает все заслуги, все добродетели, ученость обширную, утвержденную на прочном основании, на знании языков древних. Редкое искусство писать он умел соединить с искреннею кротостию, с снисходительностию, великому уму и добрейшему сердцу свойственною. Казалось, в его виде посетил землю один из сих гениев, из сих светильников философии, которые некогда рождались под счастливым небом Аттики, для разлития практической и умозрительной мудрости, для утешения и назидания человечества красноречивым словом и красноречивейшим примером. Вы наслаждались его беседою; вы читали в глазах его живое участие, которое он принимал в успехах и славе вашей; вы знаете все заслуги сего редкого человека... и — простите мне несколько слов, в его воспоминание чистейшею благодарностию исторгнутых! — я ему обязан моим образованием и счастием заседать с вами, которое умею ценить, которым умею гордиться.

И этот человек столь рано похищен смертию с поприща наук и добродетели! И он не был свидетелем великих подвигов боготворимого им монарха и славы народной! Он не будет свидетелем новых успехов словесности в счастливейшие времена для наук и просвещения, ибо никогда, ни в какое время обстоятельства не были им столько благоприятны. Храм Януса закрыт рукою победы, неразлучной сопутницы монарха.

Великая душа его услаждается успехами в стране, вверенной ему святым провидением, и каждый труд, каждый полезный подвиг щедро им награждается. В недавнем времени, в лице славного писателя, он ободрил все отечественные таланты, и нет сомнения, что все благородные сердца, все патриоты с признательностию благословляют руку, которая столь щедро награждает полезные труды, постоянство и чистую славу писателя, известного и в странах отдаленных и которым должно гордиться отечество. Правительство благодетельное и прозорливое, пользуясь счастливейшими обстоятельствами — тишиною внешнею и внутреннею государства,— отверзает снова все пути к просвещению. Под его руководством процветут науки, художества и словес-

ность, коснеющие посреди шума военного; процветут все отрасли, все способности ума человеческого, которые только в неразрывном и тесном союзе ведут народы к истинному благоденствию и славу его делают прочною и незыблемою. Самая поэзия, которая питается учением, возрастает и мужает наравне с образованием общества, поэзия принесет зрелые плоды и доставит новые наслаждения душам возвышенным, рожденным любить и чувствовать изящное. Общество примет живейшее участие в успехах ума, и тогда имя писателя, ученого и отличного стихотворца не будет дико для слуха: оно будет возбуждать в умах все понятия о славе отечества, о достоинстве полезного гражданина.

В ожидании сего счастливого времени мы совершим все, что в силах совершить. Деятельное покровительство блюстителей просвещения, которым сие Общество обязано существованием; рвение, с которым мы приступаем к важнейшим трудам в словесности; беспристрастие, которое мы желаем сохранить посреди разногласных мнений, еще не просвещенных здравою критикою — все обещает нам верные успехи; и мы достигнем, по крайней мере приближимся к желаемой цели, одушевленные именами *пользы и славы*, руководимые беспристрастием и критикою.

ПРИМЕЧАНИЯ

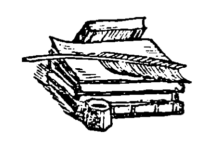
А) Похвала или порицание частного человека не есть приговор общественного вкуса. Исчисляя стихотворцев, отличившихся в легком роде поэзии, я старался сообразоваться со вкусом общественным. Может быть, я во многом и ошибся, но мнение мое сказал чистосердечно, и читатель скорее обличит меня в невежестве, нежели в пристрастии. Надобно иметь некоторую смелость, чтобы порицать дурное в словесности; но едва ли не потребно еще более храбрости тому, кто вздумает хвалить то, что истинно достойно похвалы.

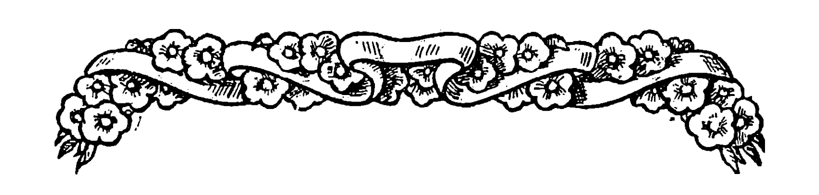
Б) *Добро никогда не теряется,* особливо добро, сделанное музам: они чувствительны и благодарны. Они записали в скрижалях славы имена Шувалова, графа Строганова и графа Н. П. Румянцева, который и поныне удостоивает их своего покровительства. Какое доброе сердце не заметит с чистейшею радостию, что они осыпали цветами гробницу Муравьева? Ученый Рихтер, почтенный сочинитель „Истории медицины в России“, в прекрасной речи своей,

говоренной им в Московской медико-хирургической академии, и г. Мерзляков, известный профессор Московского университета, в предисловии к Виргилиевым «Эклогам», упоминали о нем с чувством, с жаром. Некоторые стихотворцы, из числа их г. Воейков в «Послании к Эмилию» и г. Буринский, слишком рано похищенный смертию с поприща словесности, говорили о нем в стихах своих. Последний, оплакав кончину храброго генерала Глебова, продолжает:

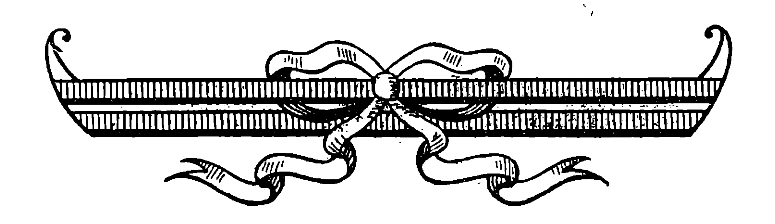
О провидение, роптать я не дерзаю,
Но — слабый — не могу не плакать пред тобой!..
Там в славе, в счастии злодея созерцаю —
Здесь вянет, как трава, муж кроткий и благой!
Слез горестных поток еще не осушился,
Еще мы... Злобный рок навеки нас лишил
Того, кто счастием Парнаса веселился.
. . . .
Где ты, о Муравьев, прямое украшенье
Парнаса русского, любитель, нежный друг?
Увы, зачем среди стези благотворенья,
Как в добродетелях мужал твой кроткий дух,
Ты рано похищен от наших ожиданий?
Где страсть твоя к добру, сей душ избранных дар?
Где рано собранно сокровище познаний?
Где, где усердия в груди горевший жар
Служить отечеству, сияя средь немногих,
Прямых его сынов, творивших честь ему?
Любезность разума и прелесть нравов кротких —
Исчезло все!.. Увы, честь праху твоему!

1816





ОТРЫВКИ
из записных книжек





РАЗНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Херасков, говорил мне Капнист, имел привычку, или правило, всякий день писать положенное число стихов. Вот почему его читать трудно. Горе тому, кто пишет от скуки! Щастлив тот, кто пишет потому, что *чувствует*.

. . . .

Что в офицере без честолюбия? Ты не любишь крестов? — иди в отставку, а не смейся над теми, которые их покупают кровью.

. . . .

Писать и поправлять, одно другого труднее. Гораций говорит, чтоб стихотворец хранил девять лет свои сочинения. Но я думаю, что девять лет поправлять невозможно. Минута, в которую мы писали, так будет далека от нас!.. а эта минута есть творческая. В эту минуту мы гораздо умнее, дальновиднее, проницательнее, нежели после. Поправим выражение, слово, безделку, а испортим мысль, перервем связь, нарушим целое, ослабим краски. Вдали предметы слишком тусклы, вблизи ослепляют нас. Итак, должно поправлять через неделю или две, когда еще мы можем отдавать себе отчет в наших чувствованиях, мыслях, соображении при сочинении стихов или прозы. Как бы кто ни писал, как бы ни грешил против правил и языка, но дарование, если он его имеет, будет всегда видно. Но дарования одного, без искусства, мало.

. . . .

Читай Державина, перечитывай Ломоносова, тверди наизусть Богдановича, заглядывай в Крылова, но храни тебя бог от Академии, а еще более от Шаликова.

. . . .

Я думаю, что свободы книгопечатания ограничивать никак не должно, особливо в наше время. Мы запрещаем переводы французских книг, а эти же самые книги продаются во всех иностранных лавках, начиная от похабного Аретина до безбожного Гольбака, начиная от Орлеанской Девки и до метафизики д'Аламберта.

. . . .

Конечно, *независимость* есть благо, по крайней мере для меня. Есть люди, которым ничего не стоит торговать своей свободою: эти люди созданы для света. А я во сто раз счастливее, как бываю один, нежели в многолюдном обществе, особливо когда я не в духе; тогда и самая малейшая обязанность для меня тягостна. Человек в *пустыне* свободен, человек в *обществе* раб, бедный еще более *раб*, нежели богатый.

. . . .

Отчего Кантемира читаешь с удовольствием? Оттого, что он пишет о себе. Отчего Шаликова читаешь с досадою? Оттого, что он пишет о себе.

. . . .

Я заметил, что тот, кто пишет хорошо, рассуждает всегда справедливо о своем искусстве. Если вы хотите научиться, то говорите с часовым мастером о часах, с офицером о солдатах, с крестьянином о землепашестве. Если хотите научиться писать, то читайте правила тех, которые подали примеры в их искусстве.

. . . .

Иные удивляются тому, что ученые люди (под этим названием я разумею не тех, которые навьючили память свою словами) бывают рассеянны в обществе; а я удивляюсь тому, как иные из них могут быть примечательны и всегда осторожны в обществе. Человек, который занимается словесностью, имеет во сто раз более мыслей и *воспоминаний*, нежели политик, министр, генерал.

1810

ЧУЖОЕ — МОЕ СОКРОВИЩЕ

Надобно, чтобы в душе моей никогда не погасала прекрасная страсть к *прекрасному,* которое столь привлекательно в искусствах и в словесности, но не до́лжно пресытиться им. Всему есть мера. Творения Расина, Тасса, Виргилия, Ариоста пленительны для новой души; счастлив, кто умеет плакать, кто может проливать слезы удивления в тридцать лет. Гораций просил, чтобы Зевес прекратил его жизнь, когда он учинится *бесчувствен ко звукам лир.* Я очень его понимаю молитву...

. . . .

Под Лейпциком мы бились (4-го числа) у красного дома. Направо, налево все было опрокинуто. Одни гренадеры стояли грудью. Раевский стоял в цепи мрачен, безмолвен. Дело шло не весьма хорошо. Я видел неудовольствие на лице его, беспокойства — нималого. В опасности он истинный герой, он прелестен. Глаза его разгорятся, как угли, и благородная осанка его поистине сделается величественною. Писарев летал, как вихорь, на коне по грудам тел, точно по грудам, и Раевский мне говорил: «Он молодец». Французы усиливались, мы слабели, но ни шагу вперед, ни шагу назад. Минута ужасная. Я заметил изменение в лице генерала и подумал: «Видно, дело идет дурно». Он, оборотясь ко мне, сказал очень тихо, так что я едва услышал: «Батюшков, посмотри, что у меня»,—взял меня за руку (мы были верхами) и руку мою положил себе под плащ, потом под мундир. Второпях я не мог догадаться, чего он хочет. Наконец, и свою руку освободя от поводов,

положил за пазуху, вынул ее — и очень хладнокровно поглядел на капли крови. Я ахнул, побледнел. Он сказал мне довольно сухо: «Молчи!» Еще минута, еще другая — пули летали беспрестанно; наконец, Раевский, наклонясь ко мне, прошептал: «Отъедем несколько шагов: я ранен жестоко». Отъехали. «Скачи за лекарем!» Поскакал. Нашли двоих. Один решился ехать под пули, другой воротился. Но я не нашел генерала там, где его оставил. Козак указал мне на деревню пикою, проговоря: «Он там ожидает вас». Мы прилетели. Раевский сходил с лошади, окруженный двумя или тремя офицерами — помнится, Давыдовым и Медемом, храбрейшими и лучшими из товарищей. На лице его видна бледность и страдание, но беспокойство не о себе, о гренадерах. Он все поглядывал за вороты на огни неприятельские и наши. Мы раздели его. Сняли плащ, мундир, фуфайку, рубашку. Пуля раздробила кость грудную, но выпала сама собою. Мы суетились, как обыкновенно водится при таких случаях. Кровь меня пугала, ибо место было весьма важно; я сказал это на ухо хирургу. «Ничего, ничего,— отвечал Раевский, который, несмотря на свою глухоту, вслушался в разговор наш и потом, оборотясь ко мне: — Чего бояться, господин поэт» (он так называл меня в шутку, когда был весел):

Je n'ai plus rien du sang qui m'a donné la vie.
Ce sang c'est épuisé, versé pour la patrie [1].

И это он сказал с необыкновенною живостию. Издранная его рубашка, ручьи крови, лекарь, перевязывающий рану, офицеры, которые суетились вокруг тяжело раненного генерала, лучшего, быть может, из всей армии, беспрестанная пальба и дым орудий, важность минуты — одним словом, все обстоятельства придавали интерес этим стихам.

. . . .

Я предполагал — случилось иначе,— что нынешнею весною могу предпринять путешествие для моего здоровья по России: в половине апреля быть в Москве, закупить все нужное, книги, вещи, экипаж, провести три недели посреди шума городского, посоветоваться с лекарями и в первых

---

[1] Уж больше крови нет, что жизнь давала мне,
Кровь отдана родной моей стране *(франц.)*.

числах мая отправиться на Кавказ; пробыть там два курса, а на осень в Тавриду; конец сентября, октябрь и ноябрь весь пробыть на берегах Черного моря, в счастливейшей стране, и потом через Киев, к новому году, воротиться в Москву. Но ветры унесли мои желания!

В молодости мы полагаем, что люди или добры, или злы: они белы или черны. Вступая в средние лета, открываем людей ни совершенно черных, ни совершенно белых; Монтань бы сказал: серых. Но зато истинная опытность должна научить снисхождению, без которого нет ни одной общественной добродетели: надобно жить с серыми или жить в Диогеновой бочке.

Для того чтобы писать хорошо в стихах — в каком бы то ни было роде, писать разнообразно, слогом сильным и приятным, с мыслями незаемными, с чувствами, надобно много писать прозой, но не для публики, а записывать просто для себя. Я часто испытывал на себе, что этот способ мне удавался; рано или поздно писанное в прозе пригодится: «Она — питательница стиха»,— сказал Альфьери, если память мне не изменила.

. . . .

Выслушайте меня, бога ради! Я намекну вам только, каким образом можно составить книгу приятную и полезную. Удивляюсь, что ни один из наших литераторов не принялся за подобный труд. Вот план en grand:

Говорить об одной русской словесности, не начиная с Лединых яиц, не излагая новых теорий, но говорить просто, как можно приятнее и яснее для людей светских и предполагая, что читатели имеют обширные сведения в иностранной литературе, но своей собственной не знают; показать им ее рождение, ход, сходство и разницу ее от других литератур, все эпохи ее и, наконец, довести до времен наших. Дайте форму, какую вздумаете, но вот изложение материй:

1) О славенском языке. Опять не начинать от Сима, Хама и Иафета, а с библии, которую мы, по привычке, зовем славенскою. О русском языке.

2) О языке во времена некоторых князей и царей. Влияние (пагубное) татар.

3) О языке во времена Петра I. Проповедники. Переводы иностранных книг по именному указу.

4) Тредьяковский и его товарищи. Путешественники и ученые.

5) и 6) Кантемир — статья интересная. Академия наук. Ученые иностранцы. Борьба старых нравов с новыми, старого языка с новым. Влияние искусств, наук, роскоши, двора и женщин на язык и литературу.

7) *Ломоносов*.

8) Сумароков.

9) Современные им писатели.

10) *Фонвизин*. Образование прозы.

11) Болтин, Елагин, историки, переводчики.

12) Обозрение журналов. Влияние их. Участие Екатерины в издании «Собеседника». Придворный театр. Господствование французской словесности и вольтерианизм. Желание воскресить старинный язык русский. Несообразности.

13) Петров. Майков.

14) *Державин*:

Он памятник себе воздвиг чудесный, вечный.

15) Подражатели его. Взгляд на словесность вообще. Успехи. Недостатки.

16) *Богданович*. Влияние его.

17) *Херасков*. Проза его и стихи.

18) *Карамзин*. Ход его. Влияние на язык вообще.

19) *Дмитриев*. Характер его дарования, красивость и точность. Он то же делает у нас, что Буало или Попе у себя.

20) Подражатели их.

21) Княжнин. Взгляд на театр вообще. Княжнина комедия и трагедия. Может быть, климат и конституция не позволяют нам иметь своего национального театра.

22) *Озеров*.

23) Хемницер. Крылов. Жуковский.

24) *Муравьев*. Книги его изданы недавно; он первый говорил о морали. Он выше своего времени и духом и сведениями.

25) Бобров. Мерзляков. Востоков. Воейков. Переводы Кострова и Гнедича. Пушкин. Вяземский. Сумароков, Панкратий. Нелединский. Взгляд на издание Жуковского и потом Кавелина. Замечание на письма И. М. из Нижнего.

26) *Шишков*. Его мнения. Он прав, он виноват. Его противники: Макаров, Дашков, Никольский.

27) Обозрение словесности с тех пор, как Карамзин оставил «Вестник». Труды Каченовского.

28) Статьи интересные о некоторых писателях, как-то: Радищев, Пнин, Беницкий, Колычев.

Словесность надлежит разделить на эпохи: I) Ломоносова; II) Фонвизина; III) Державина; IV) Карамзина; V) до времен наших. Сии эпохи должны быть ясными точками. Потом не должно из виду упускать действие иностранных языков на наш язык. Переводы ученых с греческого и латинского. Что заняли мы у французов, и какое действие имели переводы романов Вольтера и проч.

Новиковы труды. Влияние новорожденной немецкой словесности и отчасти английской. В чем мы успели? Почему лирический род процветал и должен погаснуть? Что всего свойственнее русским? Богатство и бедность языка. Может ли процветать язык без философии и почему может, но недолго? Влияние церковного языка на гражданский и гражданского на духовное красноречие. Все сии вопросы требуют ясного разрешения и должны быть размещены по приличным местам.

Должно представить картину нравов при Петре, Елисавете и Екатерине: до Ломоносова, при нем, при Державине, при Карамзине. Пустословить на кафедре по следам Баттё и Буттервака легко, но какая польза? Здесь надобно говорить дело просто, свободно, приятно.

. . . .

МЫСЛИ О ЛИТЕРАТУРЕ

«Tout vouloir est d'un fou» [1],— сказал Вольтер, который сам погрешил, желая успеть во всех родах словесности: границы есть уму, и даже величайшему. Может ли один человек написать басни Лафонтеновы, Шекспирова «Отелло», Мольерова «Мизантропа» и Даламбертово предисловие к «Энциклопедии»? Нет, конечно. Зачем же Вольтер... но бог с ним!

Не надобно любителю изящного отставать от словесности. Те, которые не читали Виланда, Гете, Шиллера, Миллера и даже Канта, похожи на деревенских старух, которые не знают, что мы взяли Париж, и что Москва сожжена — до сих пор сомневаются. Но не надобно вдаваться

[1] Всего хотеть — свойство глупца *(франц.)*.

в другую крайность. Не надобно беспрестанно слоняться из одной литературы в другую или заниматься одною древностию. И те и другие *шалеют*, как говорит мой чистосердечный Кантемир о сытом и моте. Есть середина.

Какая пучина! Англичане, немцы, итальянцы, португальцы, гишпанцы, французы, восточные полуденные народы и вечные древние! Кто обнимет все творение ума человеческого и зачем? Крылов ничего не читает, кроме «Всемирного путешественника», расходной книги и календаря, а его будут читать и внуки наши. Талант не любопытен: ум жаден к новости, но что в уме без таланта, скажите, бога ради! И талант есть ум: правда! но ум сосредоточенный.

Каждый язык имеет свое словотечение, свою гармонию, и странно было бы русскому, или итальянцу, или англичанину писать для французского уха, и наоборот. Гармония, мужественная гармония не всегда прибегает к плавности. Я не знаю плавнее этих стихов:

На светлоголубом эфире
Златая плавала луна и пр.—

и оды «Соловей» Державина. Но какая гармония в «Водопаде» и в оде на смерть Мещерского! — «Глагол времен, металла звон!»

Данте — великий поэт: он говорит памяти, уху, глазам, рассудку, воображению, сердцу. Есть писатели, у которых слог темен, у иных — мутен; мутен, когда слова не на месте, темен, когда слова не выражают мысли или мысли неясны от недостатка точности и натуральной логики. Можно быть глубокомысленным и не темным, и должно быть ясным, всегда ясным для людей образованных и для великих душ. Ученость сушит ум, рассеяние — сердце.

. . . .

ЛОМОНОСОВ

Вот прекрасное место из Слова его о химии. Он говорит, что «математики по некоторым известным количествам неизвестных дознаются» и проч. Подобно и химики, по некоторым признакам угадывают другие и проч. «Когда от любви беспокоящийся жених желает познать прямо склонность своей к себе невесты, тогда, разговаривая с

нею, примечает в лице перемены цвету, очей обращение и речей порядок. Наблюдает *ее дружества*, обходительства и увеселения; выспрашивает рабынь, которые ей при возбуждении, при нарядах, при выездах и при домашних упражнениях служат; и так по всему тому точно уверяется о подлинном сердца ее состоянии. Равным образом прекрасныя натуры рачительный любитель, желая испытать, толь глубоко сокровенное состояние первоначальных частиц, тела составляющих, должен высматривать все оных свойства и перемены, а особливо те, которые показывает ближайшая ее служительница и наперсница, и в самые внутренние чертоги вход имеющая,— химия; и когда она разделенные и рассеянные частицы из растворов в твердые части соединяет и показывает разные в них фигуры, выспрашивает у осторожной и догадливой геометрии; когда твердые тела на жидкие, жидкие на твердые переменяет и разных родов материи разделяет и соединяет; советовать с точною и замысловатою механикою; и когда через слитие жидких материй разные цветы производит, выведывать чрез проницательную оптику».

Здесь удивляюсь, первое, красоте и точности сравнения, второе — порядку всех мыслей и потому всех членов периода, третие — точности и приличию эпитетов: все показывает, что Ломоносов писал от избытка познаний. В самом изобилии слов он сохраняет какую-то особенную строгую точность в языке совершенно новом. Каждый эпитет есть плод размышлений или отголосок мыслей: догадливая геометрия, точная и замысловатая механика, проницательная оптика. Но вот другое место: здесь надобно удивляться изобилию языка. Какая река обширная красноречия!

«Исследованию первоначальных частиц, тела́ составляющих, следует изыскание причин взаимного союза, которым они в составлении тел сопрягаются и от которого вся разность твердости и жидкости, жесткости и мягкости, гибкости и ломкости происходит. Все сие чрез что способнее испытать можно, как чрез химию? Она только едина то в огне их умягчает и паки скрепляет; то, разделив, на воздух поднимает и обратно из него собирает; то водою разводит и, в ней же сгустив, крепко соединяет; то, в едких водках растворяя, твердую материю в жидкую, жидкую в пыль и пыль в каменную твердость обращает».

Подражатели Ломоносова полагают, что его красноречие

заключается в долготе периодов, в изобилии слов и в знании языка славенского. Нет, оно проистекает из души, напитанной чтением древних, беспрестанным размышлением о науках и созерцанием чудес природы, его первой наставницы. Да здравствует наш Михайло, рыбак холмогорский! Es lebe hoch! [1]

«Слово о химии», по моему мнению, есть лучшее его произведение во всех отношениях. Он кончил его прекрасно, живым, ораторским движением обращаясь к Петру:

«Блаженны те очи, которые божественного сего мужа на земли видели! Блаженны и треблаженны те, которые пот и кровь свою с ним, за него и за отечество проливали и которых он за верную службу в главу и в очи целовал помазанными своими устами!»

Описание землетрясений удивительно в «Слове о рождении металлов»:

«Страшное и насильственное оное в натуре явление показывается четырьми образы. Первое, когда дрожит земля частыми и мелкими ударами и трещат стены зданий, но без великой опасности. Второе, когда, надувшись, встает кверху и обратно перпендикулярным движением опускается. Здания для одинакого положения нарочито безопасны. Третие, поверхности земной наподобие волн колебание бывает весьма бедственно, ибо отворенные хляби на зыблющиеся здания и на *бледнеющих людей* зияют и часто пожирают. Наконец, четвертое, когда по горизонтальной плоскости вся трясения сила устремляется; тогда земля из подстроений якобы *похищается*, и оные, подобно как на *воздухе висящие*, оставляет и, разрушив союз оплотов, *опровергает*. Разные сии земли трясения не всегда по одному раздельно бывают; но дрожание с сильными стреляниями часто соединяется. Между тем предваряют и в то же время бывают подземные стенания, урчания, иногда человеческому крику и оружному треску подобные звучания. Протекают из недра земли источники и новые воды, рекам подобные; дым, пепел, пламень, совокупно следуя, умножают ужас смертных».

Оратор заключает «Слово» похвалою России и Елисаветы: здесь истощает всю сладость языка и может поистине назваться льстецом слуха. Он нарочно собирает все приятные образы и звуки: «И по славных над сопостатами твоими

---

[1] Да здравствует! *(нем.)*

победах, разливший по земной поверхности воды и тем ужасный внутрь ее огонь обуздавший, строитель мира укротит пламень войны дождем благодати и *мир* свой *умирит* твоим *мироискательным* воинством».

Он с намерением, описав бури природы, кончил речь свою тихо, плавно и торжественно, как искусный музыкант великолепную сонату.

. . . .

N. N. N.

Недавно я имел случай познакомиться с странным человеком, *каких много!* Вот некоторые черты его характера и жизни.

Ему около тридцати лет. Он то здоров, очень здоров, то болен, при смерти болен. Сегодня беспечен, ветрен, как дитя; посмотришь завтра — ударился в мысли, в религию и стал мрачнее инока. Лицо у него точно доброе, как сердце, но столь же непостоянное. Он тонок, сух, бледен, как полотно. Он перенес три войны и на биваках был здоров, в покое — умирал! В походе он никогда не унывал и всегда готов был жертвовать жизнию с чудесною беспечностию, которой сам удивлялся; в мире для него все тягостно, и малейшая обязанность, какого бы рода ни было, есть свинцовое бремя. Когда долг призывает к чему-нибудь, он исполняет великодушно, точно так, как в болезни принимают ревень, не поморщившись. Но что в этом хорошего? К чему служит это? Он мало вещей или обязанностей считает за долг, ибо его маленькая голова любит философствовать, но так криво, так косо, что это вредит ему беспрестанно. Он служил в военной службе и в гражданской: в первой очень усердно и очень неудачно; во второй удачно и очень не усердно. Обе службы ему надоели, ибо поистине он не охотник до чинов и крестов. А плакал, когда его обошли чином и не дали креста. Как растолкуют это? Он вспыльчив, как собака, и кроток, как овечка. В нем два человека: один — добр, прост, весел, услужлив, богобоязлив, откровенен до излишества, щедр, трезв, мил; другой человек — не думайте, чтобы я увеличивал его дурные качества, право нет, и вы увидите сами почему,— другой человек — злой, коварный, завистливый, жадный, иногда корыстолюбивый, но редко; мрачный, угрюмый, прихотливый, недовольный, мстительный, лукавый, сластолюбивый до излишества,

непостоянный в любви и честолюбивый во всех родах честолюбия. Этот человек, то есть черный,— прямой урод. Оба человека живут в одном теле. Как это? Не знаю; знаю только, что у нашего чудака профиль дурного человека, а посмотришь в глаза, так найдешь доброго: надобно только смотреть пристально и долго. За это единственно я люблю его! Горе, кто знает его с профили! Послушайте далее. Он имеет некоторые таланты и не имеет никакого. Ни в чем не успел, а пишет очень часто. Ум его очень длинен и очень узок. Терпение его, от болезни ли, или от другой причины, очень слабо; внимание рассеянно, память вялая и притуплена чтением; посудите сами, как успеть ему в чем-нибудь? В обществе он иногда очень мил, иногда очень нравился каким-то особенным манером, тогда как приносил в него доброту сердечную, беспечность и снисходительность к людям; но как стал приносить самолюбие, уважение к себе, упрямство и душу усталую, то все увидели в нем человека моего с *профили*. Он иногда удивительно красноречив: умеет войти, сказать; иногда туп, косноязычен, застенчив. Он жил в аде, он был на Олимпе. Это приметно в нем. Он благословен, он проклят каким-то гением. Три дни думает о добре, желает сделать доброе дело — вдруг недостанет терпения, на четвертый он сделается зол, неблагодарен: тогда не смотрите на профиль его! Он умеет говорить очень колко; пишет иногда очень остро насчет ближнего. Но тот человек, то есть добрый, любит людей и горестно плачет над эпиграммами черного человека. Белый человек спасает черного слезами перед творцом, слезами живого раскаяния и добрыми поступками перед людьми. Дурной человек все портит и всему мешает: он надменнее сатаны, а белый не уступает в доброте ангелу-хранителю. Каким странным образом здесь два составляют одно? зло так тесно связано с добром и отличено столь резкими чертами? Откуда этот человек или эти человеки, белый и черный, составляющие нашего знакомца? Но продолжим его изображение.

Он — который из них, белый или черный? — он или они оба любят славу. Черный все любит, даже готов стать на колени и Христа ради просить, чтобы его похвалили: так он суетен; другой, напротив того, любит славу, как любил ее Ломоносов, и удивляется черному нахалу. У белого совесть чувствительна, у другого — медный лоб. Белый обожает друзей и готов для них в огонь; черный не даст и ногтей обстричь для дружества, так он любит себя пламенно.

Но в дружестве, когда дело идет о дружестве, черному нет места: белый на страже! В любви... но не кончим изображение, оно и гнусно и прелестно! Все, что ни скажешь хорошего насчет белого, черный припишет себе. Заключим: эти два человека или сей один человек живет теперь в деревне и пишет свой портрет пером по бумаге. Пожелаем ему доброго аппетита: он идет обедать.

Это я! Догадались ли теперь?

. . . .

В армии встречаешь много карикатур, но подобной Кроссару не всякому удастся встретить.

Мы дрались под Гайерсбергом, в горах у Теплица. Раевский стоял в дефилее; пули свистали. Является к нам офицер в свитском мундире, весь в крестах, и в петлице Мария Терезия. Конь его в поту, у него самого пена у рта, и пот с него градом сыплется, глаза горят, как угли, и толстая нагайка гуляет беспрестанно с правого плеча на левое. «Bonjour, mon général!» — «Ah, bonjour, Crossare!» [1] И слово за слово, вижу — мой Кроссар вынимает толстую тетрадь. Отгадайте, что? План будущей кампании, проект, бред, одним словом. Он хочет читать ее, толковать — где? Под пулями, в горячем деле. Раевский оттолкнул его и отворотился. Но Кроссар любил Раевского, как любовник. Где генерал дерется, там и Кроссар с нагайкой и советами. Под Лейпцигом он нас не покидал. Дело было ужасное, и Кроссар утопал в удовольствии. Он вертелся, как белка на колесе, около генерала. Лошадь его заупрямилась. Подъезжает ко мне: Camarade, rendez-moi un service éclatant» [2].— «Что вам угодно?» — «Rossez mon cheval, je vous prie. Là! Bon! Encore un coup, mais frappez fort» [3]. Я и товарищи секли его лошадь без жалости под пулями и картечью; всадник на ней прыгал беспрестанно, в пыли, в поту, в треугольной шляпе оборванной и красный, как рак. Он австриец, в 1812 году перебежал к нам. Он бросил перчатку Наполеону. Он дышит только в войне, любовник пламенный пуль и выстрелов.

. . . .

Вспоминаю: Дмитриев рассказывал мне следующий анекдот о Державине, который очень любопытен для

---

[1] «Здравствуйте, генерал!» — «Здравствуйте, Кроссар!» *(франц.)*

[2] «Товарищ, окажите мне чрезвычайно важную услугу» *(франц.)*.

[3] «Пожалуйста, хлестните мою лошадь. Так! Хорошо! Еще разок, да посильнее» *(франц.)*.

наблюдателя. Когда вышел *Анахарсис* Бартелеми, то Державин просил неотступно Дмитриева и Петрова («Агатон» Карамзина) достать ему эту книгу. Промыслили немецкий перевод. Державин его продержал день, два, три, неделю и более. «Прочитали ли вы?» —«Нет еще». Приходят через месяц, требуют книгу. «Возьмите, вот она!» И впрямь, она лежала на столе, но вся в пыли, в пудре. «Как понравился вам Анахарсис? Я, чаю, вы в восхищении?» — спрашивали Дмитриев и Петров. «Я, виноват, не прочитал ее. Начал и не мог кончить... от скуки». У друзей опустились руки. Они поглядывали друг на друга и не знали, верить ли ушам своим. Но вот что всего удивительнее: Державина зовут на обед — не едет; на ужин, на бал — не поспел и отговорился болезнию. Дмитриев, приглашенный в те же самые дома, узнает о болезни Г. Р. и спешит навестить его и застает растрепанного, в шлафроке, с книгою в руках. «Вы нездоровы?» — «Нет,— отвечал стихотворец, рассмеявшись,— я заленился, и эта книжка меня удержала дома; не мог расстаться с нею!» Отгадайте, какая это была книга? Ну, Пиндар, Анакреон, или проповедь Платонова, или что-нибудь новое о политике? Совсем не то. Сокольничий устав, при царе Алексее Михайловиче изданный!

После того позволено сказать: что может быть страннее и упрямее головы великого человека! Этот анекдот меня поразил и пленил, рассказанный Дмитриевым, который говорит, как пишет, и пишет, так же сладостно, остро и красноречиво, как говорит.

. . . .

Еще одна странность Державина. Когда появились его оды, то появились и критики. Чем более хвалителей, тем более и врагов, это дело обыкновенное. Между прочим г. Неплюев отзывался о Державине с презрением, не только отрицал ему в таланте, но утверждал, что Державин, которого он лично не знал, должен быть величайший невежда, человек тупой и тому подобное. Пересказывают Державину: он вспыхнул. На другой день поэт отправляется к г. Неплюеву. «Не удивляйтесь, что меня видите. Вы меня бранили как поэта; прошу вас, познакомьтесь со мною, может быть, найдете во мне хорошую сторону, найдете, что я не так глуп, не такой невежда, как полагаете; может быть, смею ласкать себя надеждою, и полюбите меня». Представьте себе удивление хозяина! Он и жена приглашают Гавриила Романовича обедать, потчевают, угощают, не знают, что

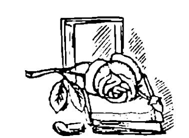
сказать ему, где посадить его. Державин продолжает ездить в дом и остается навсегда знакомым, даже приятелем.

. . . .

В мире надобно стряхнуть с себя прах воинский у алтаря муз и пожертвовать грациям.

Все почти без исключения, все гишпанские стихотворцы были воины, и что всего удивительнее, посреди варварской войны Карла V, посреди опустошений, пожаров Европы и костров инквизиции они воспевали... эклоги. Нежные мысли, страстные мечтания и любовь как-то сливаются очень натурально с шумною, мятежною, деятельною жизнию воина. Гораций бросил щит свой при Филиппах. Тибулл был воин. Парни служил адъютантом. Сервантес потерял руку при Лепанте.

1817



ПРИМЕЧАНИЯ



В настоящее издание включены почти все поэтические произведения Батюшкова. В сборник не вошло только раннее стихотворение «Бог», являющееся слабым подражанием популярным тогда духовным одам, а также стихотворения, относящиеся к периоду душевной болезни поэта. Из «Сцен четырех возрастов», написанных Батюшковым вместе с другими поэтами, в издание введен лишь отрывок «О верные подруги!», обладающий самостоятельной эстетической ценностью. Стихотворные «куски» писем Батюшкова вводятся тогда, когда они представляют законченное художественное произведение и не «разорваны» прозаическим текстом; исключением является «Послание Н. И. Гнедичу («Тебя и нимфы ждут, объятья простирая...»), где есть одна прозаическая строчка.

Стихотворения расположены в хронологическом порядке. Некоторым стихотворениям дана новая датировка. Это вызвано тем, что в архиве Института русской литературы Академии наук СССР (ИРЛИ) нами была найдена неопубликованная записная книжка Батюшкова «Разные замечания». Она была подарена ему Жуковским 12 мая 1810 г., и Батюшков не позднее ноября 1810 г. внес в книжку список своих стихотворений, озаглавленный «Расписание моим сочинениям» (см. стр. 430). Соответственно с этим следует считать, что включенные в список стихотворения «Мадагаскарская песня», «Любовь в челноке» (в списке — «Челнок») и «Элизий» (раньше печаталось под заглавием «Отрывок из элегии») написаны не позднее 1810 г. (см. наше сообщение о «Разных замечаниях» — «Известия Академии наук СССР», Отделение литературы и языка, 1955, т. XIV, вып. 4, июль — август).

Два стихотворения: «Рыдайте, амуры и нежные грации» и «Скальд», автографы которых находятся в архиве ИРЛИ (автограф первого стихотворения в той же записной книжке), впервые вводятся в собрание сочинений поэта.

В издание включены также избранные прозаические произведения и критические статьи Батюшкова. Из записных книжек выбраны наиболее характерные высказывания и наброски поэта, а также его воспоминания, имеющие исторический и литературный интерес. Впервые вводятся в собрание сочинений отрывки из записной книжки Батюшкова «Разные замечания».

Тексты, вошедшие в «Опыты в стихах и прозе», 1817 г., даются по этому изданию; не вошедшие — по академическому изданию под редакцией Л. Н. Майкова (СПБ. 1885—1887). Впервые введенные в собрание сочинений стихи и заметки печатаются по автографам, хранящимся в архиве Пушкинского дома.

Вследствие приблизительности некоторых датировок год написания поставлен под каждым произведением. Если датировка предположительна, цифра заключается в квадратные скобки. Сноски самого поэта даются со звездочками, редакционные сноски — с цифрами.

СТИХОТВОРЕНИЯ

(1802—1821)

Стр. 41. Мечта (первая редакция). Впервые напечатано в «Любителе словесности», 1806, ч. III, № 9. Самое раннее из дошедших до нас стихотворений Батюшкова. Впоследствии поэт несколько раз перерабатывал его (см. окончательную редакцию «Мечты»). *Сельмские леса* — леса, окружающие дворец Фингала. Фингал — герой поэм шотландского писателя Макферсона (1736—1796), изданных последним под именем легендарного кельтского певца Оссиана. *Оскар* — сын Оссиана, погибший в сражении. *Бард* — певец у древних кельтских племен. *Кромла* — священная гора друидов, кельтских жрецов. *Зефир* — легкий теплый ветер (ант. миф.). *Анакреон* (VI в. до н. э.) — греческий поэт. *Сафо* (VII—VI вв. до н. э.) — греческая поэтесса. *Аполлон* — бог солнца и искусств (ант. миф.). *Нимфы* — богини стихийных сил природы (ант. миф.). *Грации* — богини прелести и красоты (ант. миф.). В данном случае нимфы и грации — прекрасные девушки. *Гораций* (65—8 до н. э.) — римский поэт. *Стоики* — греческие и римские философы, проповедовавшие отречение от страстей и считавшие высшим благом душевное спокойствие.

Стр. 44. Послание к стихам моим. Впервые — в «Новостях русской литературы», 1805, ч. XIII, январь. *Кастальский ток* — источник поэтического вдохновения (ант. миф.). *Стукодей* — герой сатирического стихотворения В. Л. Пушкина «Вечер». *Глазунов* И. П. (1762—1831) — книготорговец, расхваливший в объявлении поэта мистического направления Боброва. *Глупон* — Шишков А. С. (1754—1841), государственный деятель и писатель, глава литературных «староверов», противников Карамзина и его школы. *Кругами утверждает.* — Шишков сравнивал эволюцию смыслового значения слова в языке с кругами, расходящимися в воде. *Феб* — греческое название Аполлона (ант. миф.). *Кашемир* — область в Индии.

Стр. 46. Послание к Хлое. Впервые — в майковском издании сочинений Батюшкова. Почему Батюшков назвал свое послание «подражанием» — неизвестно. По предположению Л. Н. Майкова этот подзаголовок указывает на сходство послания с сатирическим стихотворением В. Л. Пушкина «Вечер».

Стр. 48. Перевод 1-й сатиры Боало. Впервые — в майковском издании сочинений Батюшкова. *Боало* — Буало (1636—1711), французский поэт и теоретик, крупнейший представитель французского классицизма. Перевод очень далек от подлинника. Батюшков наполнил сатиру русским содержанием и перенес место действия сатиры из Парижа в Москву. *Диоген* (IV в. до н. э.) — греческий философ, отказавшийся от жизненных удобств и, по преданию, живший в бочке. *Парки* — богини судьбы, прядущие нить человеческой жизни (ант. миф.). *Фортуна* — богиня счастья и удачи (ант. миф.). *Меценат* (74 или 64—8 до н. э.) — римский государственный деятель, имя которого стало обозначать покровителя искусств и наук. Меценат часто удерживал императора Августа от подписания смертных приговоров.

Стр. 52. Перевод Лафонтеновой эпитафии. Впервые — в майковском издании сочинений Батюшкова. Оригинал написан самим Лафонтеном (1621—1695) «на случай» собственной смерти.

Стр. 53. К Филисе. Впервые — в майковском издании сочинений Батюшкова. *Грессет* — Грессе (1709—1777) — французский поэт и драматург. *Вольтер* (1694—1778) — французский философ и писатель. *Крез* (VI в. до н. э.) — лидийский царь, обладавший, по преданию, огромным богатством. В данном случае — вообще богач.

Стр. 57. Элегия. Впервые — в «Северном вестнике», 1805, ч. V, март. Вольный перевод элегии французского поэта Парни (1753—1814).

Стр. 58. К Мальвине. Впервые — в «Северном вестнике», 1805, ч. VIII, ноябрь.

Стр. 59. Послание к Н. И. Гнедичу. Впервые — в «Цветнике», 1806, ч. II, № 5, май. *Гнедич Н. И.* (1784—1833) — поэт, переводчик «Илиады» Гомера, близкий друг Батюшкова. *Что делаешь, мой друг, в полтавских ты степях...* — В 1805 г. Гнедич ездил на Украину. *Фингалов певец* — Оссиан. *Цитерские узы* — узы любви. *Геликон* — гора, где, согласно греческой мифологии, находились Аполлон и музы — покровительницы искусств и наук. *Алкей* (VII в. до н. э.) — греческий поэт. *Пинд* — горный хребет в Греции (его отрогами были Парнас и Геликон), название которого обычно обозначало место поэтического вдохновения. *Пиндар* (VI—V вв. до н. э.) — греческий поэт. *Пальмира* — пышный и богатый «город пальм», воздвигнутый, по библейскому преданию, царем Соломоном. *Муфтий* — представи-

тель высшего мусульманского духовенства. *Армидины сады* — сады волшебницы Армиды, героини поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим». *Орфей* — чудесный певец, очаровывавший своим искусством диких зверей, деревья и скалы (ант. миф.). *Омир* — Гомер. *Протей* — морской старец, принимавший различные образы (ант. миф.). *Тасс* — Торквато Тассо (1544—1595) — итальянский поэт.

Стр. 63. [Н а с м е р т ь И. П. П н и н а]. Впервые — в «Северном вестнике», 1805, ч. VII, № 9, сентябрь. *Пнин И. П.* (1773—1805) — публицист и поэт, ученик и последователь Радищева, глава «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств».

Стр. 65. «Б е з р и ф м и н а с о в е т...» Впервые — в «Журнале российской словесности», 1805, ч. III, ноябрь.

Стр. 66. С о в е т д р у з ь я м. Впервые — в «Лицее», 1806, ч. I, кн. 1. Первая редакция стихотворения «Веселый час». *Вакх* — бог вина (ант. миф.). *Эрата* — муза любовной поэзии (ант. миф.). Эпиграф — из стихотворения французской поэтессы Мюра (1670—1716).

Стр. 69. К Г н е д и ч у. Впервые — в сборнике «Талия», СПБ. 1807.

Стр. 70. П а с т у х и с о л о в е й. Впервые — в «Драматическом вестнике», 1808, ч. III, № 72. *Озеров В. А.* (1769—1816) — драматург. *Мельпомена* — муза трагедии (ант. миф.). *Творец Димитрия* — имеется в виду трагедия Озерова «Димитрий Донской». *Эврипид* (480—406 до н. э.) — греческий драматург. Басня направлена против писателей-шишковистов, нападавших на произведения Озерова.

Стр. 72. [Н. И. Г н е д и ч у]. Впервые — в письме Батюшкова к Гнедичу, опубликованном в «Русской старине», 1870, т. I. Стихи написаны Батюшковым во время военного похода 1807 г. *Парнас* — гора в Греции, место поэтического вдохновения (ант. миф.).

Стр. 73. В ы з д о р о в л е н и е. Впервые — в «Опытах». *Эреб* и *Орковы поля* — подземный мир умерших (ант. миф.). *Лета* — река забвенья (ант. миф.).

В 1807 г. Батюшков, раненный в битве при Гейльсберге (см. об этом в следующем стихотворении), был перевезен для лечения в Ригу и влюбился там в дочь купца Мюгеля. Этот биографический эпизод и отразился в «Выздоровлении».

Стр. 74. В о с п о м и н а н и е. Впервые — в «Вестнике Европы», 1809, ч. XLVIII, № 21, ноябрь. *Аль* — река в Восточной Пруссии. *Куща* — в данном случае палатка.

Стр. 76. С о н м о г о л ь ц а. Впервые — в «Драматическом вестнике», 1808, ч. V. Перевод басни Лафонтена. *Моголец* — житель мусульманской империи, основанной в Индии в XVI в. *Жилища Елисейски* — жилища блаженных в загробном мире (ант. миф.). *Гурии* —

юные девы, согласно магометанским религиозным представлениям, жившие в раю. *Фурии* — богини мщения (ант. миф.). *Намет* — шатер.

Стр. 78. [Н. И. Гнедичу]. Впервые — в майковском издании сочинений Батюшкова. *Борей* — северный ветер (ант. миф.). *Цевница* — свирель. *Морфей* — бог сна (ант. миф.). Стихотворение написано Батюшковым во время похода в Финляндию.

Стр. 80. К Тассу. Впервые — в «Драматическом вестнике», 1808, ч. VI. *Авзонская муза* — итальянская муза. *Аретуза* — название ряда источников, восходящее к греческому мифу. *Элизий* — Елисейские поля. *Коцит* — одна из рек в подземном царстве (ант. миф.). *Феррара* — итальянский город, где жил Тассо при дворе герцога Альфонса II. *Назонова лира* — лира римского поэта Овидия Назона (43 до н. э. — 17 н. э.). *Асканий* — герой поэмы «Энеида» римского писателя Виргилия (70—19 до н. э.); ребенком был выведен своим отцом Энеем из горящей Трои. *Эвмениды* — в греческой мифологии богини-мстительницы, соответствующие фуриям в мифологии римской. *Марс* — бог войны (ант. миф.). *Киприда* — одно из имен богини любви Афродиты (ант. миф.). *Олимп* — местопребывание богов (ант. миф.). *Огромный бог морей* — Посейдон. *Армида, Ринальд, Танкред, Клоринда* — герои поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим». *Капитолий* — гора, служившая местом торжественных церемоний в Риме. *Троя* — древний город в Малой Азии; осада и взятие Трои изображены в «Илиаде» Гомера — легендарного автора древнегреческих эпических поэм. *Скамандр* — река в древней Трое.

Послание «К Тассу», как и более поздняя элегия Батюшкова «Умирающий Тасс», основывается на реальных фактах биографии итальянского поэта, затравленного придворными кругами.

Стр. 84. [Отрывок из I песни «Овобожденного Иерусалима»]. Впервые — в «Драматическом вестнике», 1808, ч. VI. В отрывке изображено избрание крестоносцами в вожди Готфрида Бульонского. *Галлы* — в данном случае французы. *Иль-де-Франс* — «остров Франции»; его образуют несколько французских рек (Сена, Марна и др.). *Orангия* — Оранж, княжество во Франции, с XI по XVI век имело своих князей. *Пуйские стены* — Апулийские стены (Апулия — область Италии). *Каринтия* — герцогство, находившееся на территории будущей Австрийской империи. *Свев* — швед.

Стр. 87. [Отрывок из XVIII песни «Освобожденного Иерусалима»]. Впервые — в «Цветнике», 1809, ч. II, № 6, июнь. В отрывке изображено сражение рыцаря Ринальда с великаном в очарованном лесу волшебницы Армиды, стремящейся погубить крестоносцев. *Аврора* — богиня зари (ант. миф.). *Гора Оливова* — гора Елеон в Иерусалиме. *Сирены* — девы, заманивавшие и губившие мореплавателей своим чарующим пением (ант. миф.).

Котурны — обувь древних трагических актеров. *Дриада* — лесная нимфа (ант. миф.). *Циклоп* — одноглазый исполин (ант. миф.).

Стр. 92. [Н. И. Гнедичу]. Стихотворение входит в письмо Батюшкова к Гнедичу, опубликованное в «Русской старине», 1871, т. III. В письме Батюшков приглашает Гнедича в свое имение. *Кротал* — ударный музыкальный инструмент. *Гамадриады* — богини деревьев (ант. миф.). *Сатиры* — низшие лесные и горные боги (ант. миф.).

Стр. 93. «Как трудно Бибрису...» Впервые—в «Цветнике», 1809, ч. III, № 9, сентябрь. *Бибрис* — Бобров С. С. (1767—1810), поэт, близкий по идеям и стилю к писателям-шишковистам.

Стр. 94. Мадригал новой Сафе. Впервые — в «Цветнике», 1809, ч. III, № 9, сентябрь. Греческая поэтесса Сафо, по преданию, бросилась в море из-за безнадежной любви к юноше Фаону.

Стр. 95. Мадригал Мелине. Впервые — в «Опытах». *Ио* — возлюбленная Зевса, из ревности превращенная его супругой Герой в корову.

Стр. 96. Видение на берегах Леты. Впервые — в сборнике «Русская беседа», т. I, СПБ. 1841. *Херасков М. М.* (1733—1807) и *Сумароков А. П.* (1718—1777) — писатели, крупнейшие представители русского классицизма. *Княжнин Я. Б.* (1742—1791) — драматург. *Певец прелестныя мечты* — И. Ф. Богданович (1743—1803), автор поэмы «Душенька», в которой использован миф об Амуре и Психее. *Отец стихов Телемахиды* — Тредьяковский В. К. (1703—1769), писатель, крупный представитель русского классицизма, автор поэмы «Телемахида». *Барков И. С.* (1732—1768) — автор нецензурных, порнографических стихотворений. *Хемницер И. И.* (1745—1784) — русский баснописец. *Майинин сын* — Гермес (Эрмий), сын богини Майи, вестник богов (ант. миф.). *Поэт, проклятый от Парнаса* — Барков. *Минос* — судья мертвых в подземном мире (ант. миф.). *Верзляков* — Мерзляков А. Ф. (1778—1830), поэт и критик, профессор Московского университета, переводил древних авторов: Алкея, Виргилия и др. *Тень Кука* — сокращенное название одного из произведений Мерзлякова. *Писать... все прозой, без еров* — имеется в виду писатель Д. И. Языков (1773—1845), отказавшийся от употребления твердых знаков. *Поэт присяжный, князь вралей* — поэт П. И. Шаликов. *Я русский и поэт* — Глинка С. Н. (1775—1847), драматург и журналист. *Жан Жак* — Руссо Жан Жак (1712—1778) — французский писатель и философ. *Расин* (1639—1699) — французский драматург. *Юнг* (1681—1765) — английский поэт. *Локк* (1632—1704) — английский философ. *Густав, герой влюбленный...* — Речь идет о драме писательницы Е. И. Титовой (1770—1846) «Густав Ваза, или Торжествующая невинность». *Виноносный гений* — поэт С. С. Бобров. *Урания* — муза астрономии. *Они Пожарского по-*

ют.— Писатель-шишковист кн. С. А. Ширинский-Шихматов (1783—1837) написал поэму «Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия». *Курганов Н. Г.* (1726—1796) — автор известного «Письмовника». *Славенофил* — А. С. Шишков. *Певец любовныя езды* — Тредьяковский, автор перевода французского романа «Езда в остров любви». *Деидамия* — трагедия Тредьяковского. *Крылов познакомился с духами чрез «Почту»* — то есть через журнал «Почта духов», построенный в форме переписки духов с арабским волшебником (Крылов издавал его в 1789 г.).

Стр. 104. Книги и журналист. Впервые — в «Цветнике», 1809, ч. III, № 9, сентябрь.

Стр. 105. Эпиграмма на перевод Виргилия. Впервые — в «Цветнике», 1810, ч. V, № 1, январь. Эпиграмма направлена против А. Ф. Мерзлякова, опубликовавшего в 1807 г. переводы «Эклог» Виргилия. *Феб... сатира задавил.*— Сатир Марсий вызвал Аполлона на состязание в игре на флейте. Аполлон повесил Марсия на сосне и содрал с него кожу (ант. миф.).

Стр. 106. Эпитафия. Впервые — в «Вестнике Европы», 1810, ч. LI, № 10, май.

Стр. 107. Стихи г. Семеновой. Впервые — в «Цветнике», 1809, ч. III, № 9, сентябрь. *Семенова Е. С.* (1786—1849) — знаменитая русская актриса. *Антигона* — героиня трагедии Озерова «Эдип в Афинах». *Несчастный слепец* — отец Антигоны, царь Эдип. *Моина* — героиня трагедии Озерова «Фингал». *Ксения* — героиня трагедии Озерова «Димитрий Донской».

Стр. 108. [О Беницком]. Извлечено из письма Батюшкова к Гнедичу, опубликованного в майковском издании. *Беницкий А. П.* (1780—1809) — поэт и критик, входивший в «Вольное общество словесности, наук и художеств».

Стр. 109. Тибуллова элегия. III. Впервые — в «Вестнике Европы», 1809, ч. XLVIII, № 23, декабрь. Вольный перевод элегии римского поэта Тибулла (I в. до н. э.). *Делия* — возлюбленная Тибулла. *Тенер* (Тенар) и *Карист* — места, где добывался порфир в древней Греции. *Эритрские жемчужины* — жемчужины Эритрейского моря (древнее название Персидского залива в Аравийском море). *Тир* — центр древней Финикии. *Лары* — души предков, боги-охранители домашнего очага (ант. миф.). *Пактол* — золотоносная речка в Малой Азии. *Дочь Сатурнова* — Веста, богиня-покровительница домашнего очага (ант. миф.). *Плутон* — властитель Аида, подземного мира (ант. миф.). *Ахерон* — река в Аиде (ант. миф.).

Стр. 111. Послание г. Велеурскому. Впервые — в «Пантеоне русской поэзии», 1815, ч. IV. *Г. Велеурский* — граф Виельгорский М. Ю. (1788—1856) — композитор и музыкант.

Трубадуры — средневековые певцы Южной Франции. *Беллона* — богиня войны (ант. миф.). *Сильфы* — духи воздуха. *Сильваны* — боги полей, покровители пастухов (ант. миф.).

Стр. 113. «Пафоса бог...» Впервые — в «Отчете Публичной библиотеки за 1906 г.» (СПБ. 1913). *Пафос* — древний кипрский город, в котором находился храм богини любви Афродиты.

Стр. 114. К Маше. Впервые — в «Вестнике Европы», 1810, ч. XLIX, № 4, февраль. В стихотворении пародийно использована евангельская легенда о явлении архангела Гавриила деве Марии.

Стр. 115. В день рождения N. Впервые— в «Вестнике Европы», 1810, ч. LI, № 10, май.

Стр. 116. Ложный страх. Впервые — в «Вестнике Европы», 1810, ч. LI, № 11, июнь. *Гименей* — бог брака (ант. миф.). *Аргус* — многоглазый великан (ант. миф.). В более широком смысле слова — зоркий страж. *Морфеево крыло* — Морфей изображался тихо летающим на длинных крыльях (ант. миф.).

Стр. 118. Мадагаскарская песня. Впервые — в «Вестнике Европы», 1811, ч. LV, № 3, февраль. Вольная обработка одной из мадегасских песен Парни, написанных в прозе. Мадегассы — жители острова Мадагаскар.

Стр. 119. Любовь в челноке. Впервые — в «Пантеоне русской поэзии», 1815, ч. IV. *Страшный бог* — Амур.

Стр. 121. Элизий. Впервые — в сочинениях Батюшкова, изд. 1834, ч. II. Это стихотворение обычно печаталось под заглавием «Отрывок из элегии» на основании публикации в указанном издании, сопровожденной примечанием: «Начало сей пьесы не отыскано». Между тем стихотворение представляет собой законченное художественное целое и вовсе не является отрывком. В составленном Батюшковым списке его стихотворений (см. стр. 430) находим заглавие «Элизий»; можно с уверенностью сказать, что оно относится именно к данной вещи, где говорится о гармоничном переходе в Элизий поэта и его возлюбленной. Под этим заглавием и печатаем стихотворение. *Долу* — внизу. *Делия* — в данном случае возлюбленная.

Стр. 123. Надпись на гробе пастушки. Впервые — в «Вестнике Европы», 1810, ч. LII, № 14, июль. *Аркадия* — область Греции, воспетая древними поэтами в качестве идеальной страны мирного счастья.

Стр. 124. Счастливец. Впервые — в «Вестнике Европы», 1810, ч. LIII, № 17, сентябрь. *Касти* (1721—1803) — итальянский поэт. *Парос* — греческий остров, место добычи мрамора.

Стр. 126. Радость. Впервые — в «Опытах». *Лира тииская* — лира Анакреона, родившегося в городе Теосе. *Камены* — богини-покровительницы наук и искусств в римской мифологии, соответствую-

щие музам и мифологии греческой. *Амврозия* — пища богов (ант. миф.). *Цитера* — один из Ионийских островов, на котором в древности господствовал культ богини любви Афродиты.

Стр. 128. «Рыдайте, амуры и нежные грации». Автограф стихотворения — в записной книжке Батюшкова «Разные замечания» (архив ИРЛИ, фонд 19, ед. хр. 1, лист 57). Стихотворение переведено Батюшковым с итальянского, возможно, из Метастазио (см. публикацию в указанном на стр. 409 выпуске «Известий АН СССР»). Метастазио (1698—1782) — итальянский поэт и драматург-либреттист.

Стр. 129. На смерть Лауры. Впервые — в «Вестнике Европы», 1810, ч. LIII, № 17, сентябрь. *Петрарка* (1304—1374) — итальянский поэт. *Лаура* — возлюбленная Петрарки. *Инд* — река в Индии.

Стр. 130. Вечер. Впервые — в «Вестнике Европы», 1810, ч. LIV, № 21, ноябрь. *Брашно* — кушанье. *Пажить* — пастбище.

Стр. 132. Веселый час. Впервые — в «Вестнике Европы», 1810, ч. XLIX, № 4, февраль.

Стр. 135. Ответ Гнедичу. Впервые — в «Вестнике Европы», 1810 г, ч. XLIX, № 3, февраль. *Цирцея* — волшебница из «Одиссеи» Гомера. В более широком смысле слова — обольстительница. *Сабинский домик* — домик римского поэта Горация, жившего в имении, которое находилось в Сабинской области. *Пенаты* — боги-покровители домашнего очага (ант. миф.). Стихотворение написано Батюшковым после возвращения из похода в Финляндию.

Стр. 136. Тибуллова элегия X. Впервые — в «Вестнике Европы», 1810, ч. L, № 8, апрель. *Скудельный* — глиняный. *Пепелище* — дом или земля отцов. *Кошница* — корзина. *Церера* — богиня посевов и плодородия (ант. миф.). *Овен* — баран. *Адский пес* — Цербер, трехголовый пес, охраняющий вход в подземное царство (ант. миф.). *Стикс* — река, обтекающая подземное царство (ант. миф.).

Стр. 139. Привидение. Впервые — в «Вестнике Европы», 1810, ч. L, № 6, март. *Зевс* — верховное божество в греческой мифологии.

Стр. 141. Стихи на смерть Даниловой. Впервые — в «Вестнике Европы», 1810, ч. L, № 7, апрель. *Данилова* (1793—1810) — известная русская балерина. *Душенька* — героиня поэмы «Душенька» И. Ф. Богдановича. *Терпсихора* — муза танцев (ант. миф.).

Стр. 142. Источник. Впервые — в «Вестнике Европы», 1810, ч. LIII, № 17, сентябрь. Вольная обработка идиллии Парни, написанной в прозе.

Стр. 144. К Петину. Впервые — в «Опытах». *Петин И. А.* (1789—1813) — офицер, поэт-дилетант, приятель Батюшкова, погибший в битве под Лейпцигом. *Индесальми* — кирка в Финляндии; близ нее

происходило сражение русских со шведами. Батюшков в день сражения был в резерве.

Стр. 146. На перевод «Генриады». Впервые — в «Цветнике», 1810, ч. V, № 2, февраль. В эпиграмме осмеян один из плохих переводов поэмы Вольтера «Генриада». *Флегетон* — огненная река в подземном царстве (ант. миф.). *Певец бессмертный Габриели* — Вольтер, сделавший любовницу французского короля Генриха IV Габриель д'Эстре одной из героинь своей «Генриады». *Сизиф* — царь Коринфа, осужденный богами на бесцельный труд в подземном царстве (ант. миф.).

Стр. 147. [П. А. Вяземскому]. Впервые — в Сочинениях Батюшкова под редакцией Д. Д. Благого (М.— Л. 1934). Стихотворение извлечено Д. Д. Благим из неопубликованного письма Батюшкова к Вяземскому. Оно вызвано восторженными отзывами Вяземского о «Видении на берегах Леты». *Иордан* — река в Палестине.

Стр. 148. «Известный откупщик Фаддей...» Впервые — в «Вестнике Европы», 1810, ч. LI, № 10, май.

Стр. 149. «Теперь сего же дня...» Впервые — в «Вестнике Европы», 1810, ч. LI, № 10, май.

Стр. 150. Истинный патриот. Впервые — в «Цветнике», 1810, ч. VI, № 6, июнь. В стихотворении осмеян показной патриотизм, характерный для известной части русского дворянства времени войн с Наполеоном. *Филарет* (ок. 1560—1633) — патриарх, отец царя Михаила Федоровича. *Ферязь* — старинная верхняя одежда. *Сальмис* — французское кушанье.

Стр. 151. Сравнение. Впервые — в «Вестнике Европы», 1810, ч. LII, № 14, июль.

Стр. 152. Из антологии. Впервые — в «Вестнике Европы», 1810, ч. LII, № 14, июль. Перевод греческого антологического стихотворения неизвестного автора. Сделан с французского переложения Вольтера. *Алкид* — Геркулес, герой, причисленный к богам за свои подвиги (ант. миф.).

Стр. 153. Совет эпическому стихотворцу. Впервые — в «Опытах». *Эпический стихотворец* — шишковист С. А. Ширинский-Шихматов, автор поэмы «Петр Великий».

Стр. 154. Отъезд. Впервые — в «Опытах». *Селадон* — герой романа «Астрея» французского писателя д'Юрфе (1568—1625). Это имя стало впоследствии обозначать слезливого, томящегося любовника. *Арахна* — девушка гречанка, осмелившаяся вызвать на состязание в ткацком искусстве богиню Афину и превращенная последней в паука (ант. миф.).

Стр. 155. Сон воинов. Впервые — в «Вестнике Европы», 1811, ч. LV, № 3, февраль. Вольный перевод отрывка из поэмы Парни «Иснель и Аслега». *Рамена* — плечи.

Стр. 157. Скальд. Автограф стихотворения — в архиве ИРЛИ, фонд 19, ед. хр. 5. Стихотворение, повидимому, относится к тому же времени, когда был создан «Сон воинов», и представляет собою очень вольную обработку той же поэмы Парни (см. публикацию в указанном на стр. 409 выпуске «Известий АН СССР»). *Скальды* — древние исландские и норвежские певцы.

Стр. 158. На смерть супруги Ф. Ф. Кокошкина. Впервые — в «Собрании образцовых русских сочинений и переводов в стихах», 1815, ч. I. *Кокошкина В. И.* (1786—1811) — жена знакомого Батюшкова, поэта-дилетанта и переводчика Ф. Ф. Кокошкина (1773—1838).

Стр. 159. Надпись к портрету Н. Н. Впервые — в «Собрании русских стихотворений», 1811, ч. V.

Стр. 160. [Н. И. Гнедичу]. Стихотворение входит в письмо Батюшкова к Гнедичу, опубликованное в «Русской старине», 1883, т. XXXVIII.

Стр. 161. Филомела и Прогна. Впервые — в «Вестнике Европы», 1811, ч. LX, № 23, декабрь. *Фракия.* — В древности так называли считавшиеся холодными и суровыми земли, лежащие к северу от Греции.

Стр. 163. [Отрывок из XXXIV песни «Неистового Орланда»]. Извлечено из письма Батюшкова к Гнедичу, опубликованного в майковском издании. Перевод отрывка из поэмы «Неистовый Орланд» итальянского поэта Ариосто (1474—1533). *Багрец* — яркокрасная краска. *В луне рассудок твой* — в XXXIV песни «Неистового Орланда» рассказывается о том, как один из героев, Астольф, находит на луне рассудок, потерянный его отцом.

Стр. 164. «Всегдашний гость, мучитель мой...» Впервые — в «Опытах».

Стр. 165. Дружество. Впервые — в «С.-Петербургском вестнике», 1812, февраль. *Тезей и Пирифой* — герои греческой мифологии, друзья, заточенные в подземном царстве. *Атридов сын* — Орест, связанный идеальной дружбой с Пиладом (ант. миф.). *Ахилл* — герой «Илиады» Гомера, отомстивший троянцам за смерть своего друга Патрокла.

Стр. 166. Мои пенаты. Впервые — в «Пантеоне русской поэзии», 1814, ч. I. *Жуковский В. А.* (1783—1852) и *Вяземский П. А.* (1792—1878) — поэты, друзья Батюшкова. *Пермесские богини* — музы (ант. миф.). *Слепая богиня* — Фортуна, богиня счастья (ант. миф.). *Аония* — часть древней Греции, где находился Геликон,

служивший местопребыванием муз (см. выше). *Стигийские берега* — берега Стикса. *Парнасский исполин* — Державин Г. Р. (1743—1816), крупнейший русский поэт XVIII в. *Суна* — река, на которой находится водопад Кивач, воспетый Державиным в оде «Водопад». *Карамзин Н. М.* (1766—1826) — писатель и историк, глава русского дворянского сентиментализма. *Платон* (427—348 до н. э.) — греческий философ. *Агатон* (V в. н. э.) — греческий трагик. *Владимир* (X—XI вв.) — великий князь Киевский. *Хариты* — то же, что грации (ант. миф.). *Автор «Душеньки»* — поэт И. Ф. Богданович. *Мелецкий* — Нелединский-Мелецкий Ю. А. (1752—1828), поэт. *Федр* (I в. н. э.) — римский баснописец. *Пильпай* — легендарный баснописец. *Дмитриев И. И.* (1760—1837) — поэт-сентименталист, автор популярных басен и лирических стихотворений. *Пиериды* — музы (ант. миф.). *Эрот* — *бог* любви (ант. миф.). *Аристипп* (IV в. до н. э.) — греческий философ, видевший цель жизни в наслаждениях.

Стр. 174. К Жуковскому. Впервые—в «Пантеоне русской поэзии», 1814, ч. II. *Белев* — город б. Тульской губернии, около которого находилось имение отца Жуковского. *Амальтеи рог* — рог изобилия (ант. миф.). *Гиппократ* (V в. до н.э.) — знаменитый греческий врач. *Громобой* — герой баллады Жуковского «Громобой». *Свистов* — подразумевается поэт-шишковист граф Хвостов (1757—1835). *Его покорный бес* — единственный слушатель Хвостова, фигурирующий в басне А. Е. Измайлова «Стихотворец и черт».

Стр. 177. Ответ Тургеневу. Впервые — в «Опытах». *Тургенев А. И.* (1784—1845) — брат декабриста Н. И. Тургенева, друг Батюшкова. *Купидон* — бог любви (ант. миф.). *Дафна* — нимфа, спасавшаяся от преследований бога Апполона и превращенная своей матерью в лавровое дерево (ант. миф.). *Любовник строгой Лоры* — Петрарка. *Воклюз* — французская деревня, где долго жил Петрарка; около нее находится источник Сорг. *Лесбосская певица* — Сафо. *Скала Левкада* — Левкадский мыс, с которого, по преданию, бросилась в море Сафо.

Стр. 179. Хор для выпуска благородных девиц Смольного монастыря. Впервые — в «Опытах».

Стр. 181. На поэмы Петру Великому. Впервые — в «Пантеоне русской поэзии», 1815, ч. IV. Эпиграмма направлена против многочисленных авторов неудачных поэм о Петре Великом (Грузинцева, Шихматова и др.). *Наш Пиндар* — М. В. Ломоносов (1711—1765), не окончивший свою героическую поэму «Петр Великий».

Стр. 182. [На членов Вольного общества любителей словесности]. Эпиграмма входит в письмо Батюшкова к Д. В. Дашкову, опубликованное в «Русском архиве», 1883, ч. I. Она направлена против литераторов, равнодушно относившихся к военным событиям 1812 г. *Дальний солнцев дом* — цитата из Державина.

Стр. 183. Разлука. Впервые — в «Пантеоне русской поэзии», 1814, ч. II. Это стихотворение стало широко распространенной песней.

Стр. 185. К Дашкову. Впервые — в «С.-Петербургском вестнике», 1812, октябрь. *Дашков Д. В.* (1788—1839) — государственный деятель, приятель Батюшкова. Послание посвящено событиям Отечественной войны 1812 г., в частности московскому пожару.

Стр. 187. Переход русских войск через Неман. Впервые — в «Славянине», 1830, ч. XIII. Переходом через Неман начался заграничный поход русской армии в 1813 г. *Царь младой* — Александр I. *Старец-вождь* — Кутузов.

Стр. 188. [Отрывок из Шиллеровой трагедии «Мессинская невеста»]. Впервые — в «Московском телеграфе», 1828, ч. 19, № 1. *Шиллер* (1759—1805) — немецкий поэт и драматург. *Полиник и Этеокл* — сыновья царя Эдипа, убившие друг друга в единоборстве (ант. миф.).

Стр. 197. Певец в Беседе любителей русского слова. Впервые — в «Современнике», 1856, т. LVII, № 5. В сочинении «Певца» принимал некоторое участие поэт А. Е. Измайлов (1779—1831). В основу стихотворения положена композиционная схема известного хора Жуковского «Певец во стане русских воинов». *Беседа любителей русского слова* (1811—1816) — литературное общество, организационный центр писателей-шишковистов. *Роллен* (1661—1741) — французский историк; его многотомные труды переводил Тредьяковский. *Николев Н. П.* (1758—1815) — писатель-шишковист. *Беседы царь* — А. С. Шишков. *Галлицизмы* — слова и обороты французского происхождения. Против их введения в русскую речь выступали писатели-шишковисты. *Славенофил* — А. С. Шишков (ср. «Видение на берегах Леты»). *Потемкин С. П.*, граф (1787—1858) — поэт-шишковист. *Жихарев С. П.* (1787—1860) — поэт-шишковист (впоследствии перешел в лагерь карамзинистов). *Шихматов безглагольный* — писатель-шишковист кн. С. А. Ширинский-Шихматов; настаивал на полном отказе от глагольных рифм. *Ошую* — по левую сторону. *Шаховской А. А.*, князь (1777—1846) — драматург и поэт, сторонник шишковистов, автор пародийной поэмы «Расхищенные шубы», направленной против карамзинистов. *Ежова Е. И.* (1787—1837) — актриса, находившаяся в связи с Шаховским. *Карабанов П. М.* (1765—1829), *Хвостов Д. И.* (1757—1835), *Захаров И. С.* (1754—1816), *Львов П. Ю.* (1770—1825), *Палицын А. А.* (ум. 1816) — поэты-шишковисты. *Поповка* — имение Палицына. *Станевич Е. И.* (1775—1835) — поэт-шишковист. Батюшков иронически сравнивает его с английским писателем Гервеем (1714—1758). *Анастасевич В. Г.* (1775—1845) — поэт-шишковист, отличавшийся

пристрастием к полонизмам — словам польского происхождения. *Соколов* — чтец «Беседы». *Политковский Г. Г.* (род. ок. 1770 — ум. после 1824) — поэт-шишковист.

Стр. 204. Элегия из Тибулла. Впервые — в «Пантеоне русской поэзии», 1815, ч. IV. *Мессала* — Марк Валерий Мессала Корвин (ок. 64 до н. э.—9 н. э.) — римский поэт и государственный деятель, покровитель Тибулла. *Феакия* — фантастический остров Схерия, на котором жил сказочный народ — феаки (ант. миф.). *Миро* — благовонное вещество. *Сатурн* — древнеримский бог земли и посевов, отец Юпитера. *Изида* — египетская богиня; ее почитали и в Риме. *Рало* — плуг. *Сидонский багрец* — пурпурная краска, производившаяся в финикийском городе Сидоне. *Нард* — растение, из которого делали благовонное масло. *Киннамон* — ароматическое растение (корица). *Мегера и Тизифона* — имена богинь мщения (ант. миф.). *Энкелад, Тифий, Иксион* — враги Зевса, осужденные последним на муки в подземном мире (ант. миф.). *Тантал* — царь, оскорбивший богов; последние осудили его на вечный голод и жажду посреди изобилия (ант. миф.). *Данаиды* — дочери царя Даная, наказанные Зевсом за убийство своих мужей; они были осуждены вечно наполнять бездонную бочку (ант. миф.). *Зеницы* — зрачки. *Пряслица* — прялка.

Стр. 208. Пленный. Впервые — в «Пантеоне русской поэзии», 1814, ч. II. *Рона* — река во Франции. *Явор* — клен. По словам Пушкина, Батюшков написал это стихотворение, узнав о том, что брат поэта-партизана Дениса Давыдова, Л. В. Давыдов, в плену у французов говорил одной женщине: «Rendez moi mes frimas» («Верните мне мои морозы»).

Стр. 211. Тень друга. Впервые — в «Вестнике Европы», 1816, ч. XXXIX, № 17 и 18, сентябрь. Стихотворение посвящено погибшему на войне другу Батюшкова И. А. Петину (см. выше). *Альбион* — Англия (в 1814 г. Батюшков посетил Англию). *Гальциона* — дочь бога ветров, превращенная Зевсом в морскую птицу. *Вежды* — веки. *Плейсские струи* — воды реки Плейссы, близ которой был убит Петин. *Беллонины огни* — военные огни. *Горний* — небесный. *Проперций* — римский поэт (I в. до н. э.).

Стр. 213. [Хор жен воинов из «Сцен четырех возрастов»]. Впервые — в «Русском архиве», 1887, № 7. «Сцены четырех возрастов» (не введенные в настоящее издание) были написаны Батюшковым совместно с другими поэтами. Хор исполняют жены воинов, возвращающихся из заграничного похода 1814 г.

Стр. 214. На развалинах замка в Швеции. Впервые — в «Пантеоне русской поэзии», 1814, ч. II. *Хлябь* — простор, бездна. *Оден* — Один, верховный скандинавский бог. *Гела* — богиня смерти

(сканд. миф.). *Нейстрия* — западная часть государства франков. *Валкала* (Валгалла) — местопребывание павших в битве (сканд. миф.). *Денница* — утренняя заря. *Галлы* — народность кельтского племени. *Руны* — древние письмена. Стихотворение связано с впечатлениями поэта от проезда через Швецию в 1814 г.

Стр. 218. Судьба Одиссея. Впервые — в «Опытах». Вольный перевод стихотворения Шиллера. *Одиссей* — царь острова Итаки, главный герой «Одиссеи» Гомера. *Сцилла и Харибда* — морские скалы-чудовища, которые, сходясь, раздавливали проходящие между ними корабли. Стихотворение написано после возвращения Батюшкова из похода 1814 г.

Стр. 219. Новый род смерти. Впервые — в «Сыне отечества», 1814, ч. 17, № 41. В стихотворении осмеяны бездарные официальные оды, писавшиеся в связи со ссылкой Наполеона на Эльбу. *Бавий* — бездарный древнеримский поэт; в данном случае — плохой стихотворец. *Каэна* — Кайенна, место ссылки, находящееся в Гвиане.

Стр. 220. Мщение. Впервые — в «Вестнике Европы», 1816, ч. LXXXIX, № 19 и 20, октябрь.

Стр. 222. Вакханка. Впервые — в «Опытах». Стихотворение тематически связано с «Переодеваниями Венеры» Парни. Пушкин отметил, что оно «лучше подлинника, живее». *Эригона* — дочь Икария, наученного Вакхом виноделию (ант. миф.). *Эвр* — теплый ветер (ант. миф.).

Стр. 223. Странствователь и домосед. Впервые — в «Амфионе», 1815, июнь. *Гарпагон* — скупец. *Мина* — денежная единица древних греков. *Амфора* — глиняный сосуд. *Мемфис* — столица древнего Египта. *Пифагор* (VI в. до н. э.) — греческий философ. *Алкивиад* (V в. до н. э.) — греческий полководец и государственный деятель. *Демосфен* (IV в. до н. э.) — греческий оратор и государственный деятель. *Кратес* (IV—III в. до н. э.) — греческий философ. *Пирей* — афинская гавань. *Тритоны, нереиды, океаниды* — морские божества (ант. миф.). *Апис, Озирид, Анубис* — боги египтян. *Поллукс* — покровитель мореплавания (ант. миф.). *Кротона* — греческий город в Южной Италии. *Юпитер* — верховное божество римлян, аналогичное греческому Зевсу. *Этна* — вулкан в Сицилии. *Эмпедокл* (V в. до н. э.) — сицилийский философ и поэт. *Эллада* — Греция. *Ристанья* — воинские игры. *Лаконские горы и Тайгет* — горные кряжи в Греции. *Илот* — здесь раб. *Арголида, Коринф, Мегарида, Аттика* — области древней Греции. *Иллис* — река в Греции. *Фонтанка* — речка и набережная в Петербурге. *Аттическая столица* — Афины. *Риторы* — в данном случае ораторы. *Софист* — приверженец одной из школ древнегреческой философии. *Архонт* — один из высших сановников древних Афин. *Фрина* — гетера, древнегреческая

куртизанка. *Эней* — главный герой поэмы «Энеида» римского писателя Виргилия, вынесший на плечах своего старого отца из горящей Трои. *Гимет* — гора в Греции, славившаяся диким медом. *Гипербореи* — сказочный народ, по преданию живший на крайнем севере в вечносолнечной стране всеобщего благополучия (ант. миф.).

Стихотворение, несомненно, имеет автобиографический характер. В этом смысле показательно то лирическое отступление, где Батюшков рассказывает о радостном волнении, с которым он возвращался в Петербург из заграничных походов, и другое, где говорится о том, как русские казаки попали в Париж в 1814 г., после разгрома наполеоновских армий.

Стр. 233. Послание И. М. Муравьеву-Апостолу. Впервые — в «Пантеоне русской поэзии», 1815, ч. VI. *Муравьев-Апостол И. М.* (1765—1851) — государственный деятель и писатель, отец казненного декабриста С. И. Муравьева-Апостола. *Мантуа* — Мантуя, город в Италии. *Минций* — река Минчио в Италии. *От милых лар своих отторженный пиит* — римский поэт Виргилий, живший при дворе императора Августа. *Титир* — пастух, герой одного из стихотворений Виргилия. *Пиериды* — музы. *Кола* и *Уна* — реки в Мурманской области. *Мрежи* — сети. *Пальмира Севера* — Петербург. *Царица светлых вод* — Волга. *Певец сибирского Пизарра* — И. И. Дмитриев, написавший балладу «Ермак».

Стр. 236. К друзьям. Это стихотворение было напечатано Батюшковым в качестве посвящения ко второй части собрания своих сочинений («Опыты в стихах и прозе», 1817). *Дедал* — древнегреческий лабиринт, названный именем его строителя. *Пафос* — в данном случае любовь.

Стр. 237. *Таврида.* Впервые — в «Опытах». *Таврида* — древнее название Крыма. *Водолей.* — Созвездие Водолея изображалось в виде человека, наливающего из сосуда воду в пасть рыбы.

Стр. 239. Мой гений. Впервые — в «Собрании образцовых русских сочинений и переводов в стихах», 1816, ч. V.

Стр. 240. Разлука. Впервые — в «Пантеоне русской поэзии», 1814, ч. II. *Тирас* — греческое название реки Днестр.

Стр. 241. Пробуждение. Впервые — в «Вестнике Европы», 1816, ч. LXXXVII, № 11, июнь.

Стр. 242. Последняя весна. Впервые — в «Вестнике Европы», 1816, т. LXXXVII, № 11, июнь. Вольный перевод элегии французского поэта Мильвуа (1782—1816). *Филомела* — соловей. *Эпидавр* — древнегреческий город, в котором господствовал культ Эскулапа, бога врачебного искусства.

Стр. 244. Воспоминания. Впервые — в «Опытах». *Как лотос, силою волшебной врачевали.* — Согласно греческому преданию,

цветы лотоса давали забвение вкусившему их человеку (см. IX песнь «Одиссеи» Гомера). *Жувизи* — замок около Парижа. *Сейна* — Сена. *Ричмон* — городок, находящийся близ Лондона. *Троллетана* — водопад в Швеции. Этот отрывок, как и ряд других стихотворений Батюшкова (см., например, «Разлуку»), отражает неудачную любовь поэта к А. Ф. Фурман — молодой девушке, жившей в семье Олениных.

Стр. 246. «Памфил забавен за столом...» Впервые — в «Российском музеуме», 1815, ч. III, № 9.

Стр. 247. Надпись к портрету графа Эммануила Сен-При. Впервые — в «Сыне отечества», 1816, ч. XXVIII, № 12. *Сен-При* (1776—1814) — генерал, французский эмигрант, поступивший на русскую службу и участвовавший в войне против Наполеона. Был смертельно ранен под Реймсом. *Лилии отцов.* — Лилии изображались на гербе французских королей. *Баярд* — Баярд Пьер дю Терайль (1476—1524) — французский полководец, считавшийся «рыцарем без страха и упрека». *Дюгесклин* (1320—1380) — французский полководец, отличавшийся необыкновенной храбростью.

Стр. 248. Надежда. Впервые — в «Опытах».

Стр. 249. К другу. Впервые — в «Опытах». Стихотворение обращено к поэту П. А. Вяземскому. *Фалерн* — фалернское вино, прославленное римскими поэтами. *Веспер* — вечерняя звезда, Венера. *Где дом твой?* — Имеется в виду московский дом Вяземского, пострадавший в 1812 г. *Клио* — муза истории (ант. миф.).

Стр. 252. Песнь Гаральда Смелого. Впервые — в «Вестнике Европы», 1816, ч. LXXXVIII, № 16, август. Вольная обработка древней северной песни, приписываемой королю Норвегии скальду Гаральду Смелому (1015—1066). Гаральд Смелый любил дочь киевского великого князя Ярослава Мудрого и женился на ней в 1045 г. *Сиканская земля* — Франция, земля, где течет Сена. *Дронтгейм* — одна из областей Норвегии.

Стр. 254. Послание к Тургеневу. Впервые — в «Пантеоне русской поэзии», 1815, ч. VI. *Попов* — офицер, семья которого лишилась имущества во время наполеоновского нашествия. *Флора* — богиня цветов, весны (ант. миф.).

Стр. 256. К цветам нашего Горация. Впервые — в «Опытах». *Наш Гораций* — поэт И. И. Дмитриев. Батюшков послал стихотворение Дмитриеву вместе с цветочными семенами.

Стр. 257. Надпись к портрету Жуковского. Впервые — в «Вестнике Европы», 1817, ч. XCI, № 3, февраль. *Он храбрым гимны пел.* — Речь идет прежде всего о знаменитом патриотическом хоре Жуковского «Певец во стане русских воинов», посвященном

событиям Отечественной войны 1812 г. *Тиртей* (VII в. до н. э.) — греческий поэт, автор воинственных песен. *Грей* (1716—1771) — английский поэт, автор сентиментальных элегий.

Стр. 258. Переход через Рейн. Впервые — в «Русском вестнике», 1817, № 5 и 6. Переход русских войск через Рейн произошел во время похода на Париж в 1814 г. *Герман* — Арминий (17 до н. э. — 19 н. э.), вождь древних германцев, сражавшийся с римлянами. *Любимец счастья, Кесарь* — римский император Юлий Цезарь (102—44 до н. э.). *Тевтонские* — германские. *Атилла новый* — Наполеон. *Улея* — река Улео в Финляндии. *Ангел мирный* — жена Александра I, баденская принцесса, родившаяся на берегах Рейна. *Маккавеи* — в данном случае поборники веры.

Стр. 262. Гезиод и Омир — соперники. Впервые — в «Опытах». Перевод элегии французского поэта Мильвуа (1782—1816). *Гезиод* (VIII—VII вв. до н. э.) — греческий поэт. *А. Н. О. Любитель древности* — Оленин А. Н. (1763—1843), писатель, художник, с 1817 г. президент Академии художеств. *Халкида* — город на острове Эвбея. *Ристалище* — арена. *Фетида* — богиня моря (ант. миф.). *Аскрея* — греческий город, родина Гезиода. *Иппокрена* — источник поэтического вдохновения, бьющий на вершине Геликона (ант. миф.). *Мелес* — речка, близ которой Гомер, по преданию, сочинял свои поэмы. *Темпейская долина* — долина в древней Греции, известная своим плодородием. *Мнемозина* — богиня памяти; ее дочери — музы (ант. миф.). *Диана* — в данном случае луна. *Геба* — богиня юности; ее напиток — нектар (ант. миф.). *Тенар* — мыс в древней Греции, где, по преданию, находился вход в подземное царство. *Труды и дни* — поэма Гезиода. *Стримон* — река в Македонии. *Юдоль* — земля. *Слепец всевидящий.* — Гомер, по преданию, был слепым. *Ольмий* — мыс в Коринфии, известный своим медом. *Страшись Эвбеи берегов.* — Гезиод был убит на острове Эвбея, в местах, где находилось святилище Немейского Зевса (Немея — долина в Греции). *Приам* — царь древней Трои, отец Гектора, убитого Ахиллом. *Оры* — богини времен года (ант. миф.). *Эгида* — атрибут Зевса, символизирующий страшную грозовую тучу (ант. миф.). *Нептун* — то же что Посейдон. *Гиады* — богини дождя (ант. миф.). *Сыны Ахейские* — греки. *Самос* — остров на Эгейском море.

Стр. 266. Умирающий Тасс. Впервые — в «Опытах». О судьбе Торквато Тассо см. выше, в примечании к посланию «К Тассу». *Тибр* — река, протекающая через Рим. *Стогны* — улицы. *Багряница* — мантия, царское одеяние. *Певец Иерусалима* — Тассо, написавший поэму «Освобожденный Иерусалим». *Квиритов пепелище* — земля древних римлян. *Сорренто* — город в Италии, родина Тассо. *Асканий* — герой «Энеиды» Виргилия, потерял мать во время ги-

бели Трои. *Весь* — селение, деревня. *Альфонсов дворец* — дворец феррарского герцога Альфонса II, при дворе которого жил Тассо. *Сион* — иерусалимская крепость. *Кедрон* — долина в Палестине. *Ливан* — страна в Передней Азии. *Готфред* и *Ринальд* — крестоносцы, герои поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим». *Тартар* — темная подземная бездна, в данном случае символ язычества. *Элеонора* — возлюбленная Тассо.

Стр. 271. Беседка муз. Впервые — в «Сыне отечества», 1817, ч. XXXIX, № 28, июль.

Стр. 273. К Никите. Впервые — в «Опытах». *Никита* — Муравьев Н. М. (1796—1843) — троюродный брат Батюшкова, декабрист, автор известной «Конституции».

Стр. 275. Мечта (окончательная редакция). Впервые — в «Опытах» (см. примечания к первой редакции стихотворения). *Аониды* — музы. *Иснель* — герой оссианической поэмы Парни «Иснель и Аслега». *Биармия* — страна, в которой развертывается действие скандинавских преданий. *Оденов дом* — дом Одина, верховного бога скандинавской мифологии, или Валгалла, куда после смерти попадали храбрые воины. *Дочери Веристы* — валкирии. *Ботнические воды* — Ботнический залив Балтийского моря. *Любовница Фаона* — греческая поэтесса Сафо. *Тибур* — город близ Рима, в котором жил Гораций. *Глицерия* — возлюбленная Горация.

Стр. 281. [К С. С. Уварову]. Впервые — в «Северных цветах на 1826 г.». *Уваров С. С.* (1786—1855) — консервативный государственный деятель. В молодости Уваров примыкал к либеральным кругам и входил в литературное общество «Арзамас», но затем стал верным и ревностным проводником реакционной политики Николая I. Послание Батюшкова обращено, конечно, к «раннему» Уварову, еще не сделавшемуся карьеристом и мракобесом. *Борзый Аполлонов конь* — Пегас, крылатый конь, ставший символом поэтического вдохновения (ант. миф.). *Солим* — Иерусалим.

Стр. 282. На книгу под названием «Смесь». Впервые — в «Опытах».

Стр. 283. Запрос Арзамасу. Стихотворение входит в письмо Батюшкова к Вяземскому, опубликованное в майковском издании. *Арзамас* (1815—1818) — литературное общество, организационный центр писателей-карамзинистов. Батюшков был заочно принят в «Арзамас» в 1815 г. *Три Пушкина* — А. М. Пушкин (1769—1825) — поэт и переводчик, В. Л. Пушкин (1770—1830) — дядя А. С. Пушкина, известный писатель-карамзинист, и А. С. Пушкин (1799—1837) — величайший русский поэт. О том, что «третий» Пушкин именно А. С. Пушкин, который в это время вел несколько «рассеянную» светскую жизнь в Петербурге, свидетельствуют слова из

письма Батюшкова к А. И. Тургеневу от 10 сентября 1818 г.: «Потомство не отличит его от двух однофамильцев, если он забудет, что для поэта и человека должно быть потомство». Позднее, в 1820 г., Карамзин, возмущенный революционными настроениями и независимым, вольнолюбивым поведением Пушкина, писал о его высылке на юг Вяземскому: «Если Пушкин и теперь не исправится, то будет чертом еще до отбытия своего в ад» (ср. строчку «Запроса Арзамасу»: «И прямо в ад ему дорога!»). В стихотворении упоминается и «четвертый» Пушкин — *Бобрищев-Пушкин Н. С.* (1800—1871) — декабрист; в 1817 г. опубликовал несколько стихотворений в журнале «Вестник Европы».

Стр. 284. [Надпись к портрету кн. П. А. Вяземского]. Надпись входит в письмо Батюшкова к Вяземскому, опубликованное в майковском издании. *Катулл* (I в. до н. э.) — римский поэт.

Стр. 285. Послание от практического мудреца. Впервые — в Сочинениях Батюшкова под редакцией Д. Д. Благого (М.—Л. 1934). Стихотворение извлечено Д. Д. Благим из неопубликованного письма Батюшкова к Вяземскому. *Мудрец Астафьический* — владелец усадьбы Остафьево поэт П. А. Вяземский. *Мудрец Пушкинический* — В. Л. Пушкин. *Эпиктет* (ок. 50—138) — римский философ-стоик. *Сенека* (3 до н. э.—65 н. э.)—римский философ и автор трагедий. *Соковнин С. М.*— поэт-дилетант, влюбленный в В. Ф. Вяземскую (жену поэта П. А. Вяземского) и преследовавший ее; Соковнин публично объяснился ей в любви на Никитском бульваре в Москве. На это и намекают слова Батюшкова об его «даре красноречия». *Ильин Н. И.* (1777—1823) — драматург и переводчик.

Стр. 286. [П. А. Вяземскому]. Впервые — в «Русском архиве», 1866 (о Боброве см. прим. к стр. 93).

Стр. 287. [Из греческой антологии]. Впервые — в брошюре «О греческой антологии» (СПБ. 1820), изданной Батюшковым и Уваровым. *Антология* — сборник избранных произведений (буквально— «цветослов»). В этот батюшковский цикл входят переводы из греческих поэтов. Не знавший греческого языка Батюшков делал свои переводы с французских переводов Уварова. I стихотворение принадлежит Мелеагру Гадарскому (I в. до н. э.), II — Асклепиаду Самосскому (около III в. до н. э.), III — Гедилу (III в. до н. э.), IV и V — Антипатру Сидонскому (III в. до н. э.), VI — неизвестному греческому поэту, VII, VIII, IX, X, XI и XII — Павлу Силенциарию (VII в. н. э.). Источник XIII стихотворения неизвестен. *Нереиды* — морские божества (ант. миф.). *Коринф* — один из главных городов древней Греции, превращенных римлянами в развалины. *Мусия* — мозаика. *Алкион* — птица зимородок (ср. образ Гальционы в стихотворении «Тень друга»).

Стр. 292. Подражание Ариосту. Впервые — в «Северных цветах на 1826 г.». Вольный перевод одной из строф поэмы Ариосто «Неистовый Орланд». Перевод подзаголовка, представляющего первую строку подлинника: «Девушка подобна розе».

Стр. 293. Послание А. И. Тургеневу. Впервые — в «Памятнике отечественных муз» на 1827 г. В стихотворении идет речь о Приютине — мызе Олениных, находившейся в Парголове, под Петербургом. *Кипренский О. А.* (1783—1836) — русский художник. *Вандик* — Ван-Дейк (1599—1641) — фламандский живописец. *Балдус* и *Тянислов* — иронические прозвища плохих поэтов.

Стр. 295. К творцу «Истории Государства Российского». Впервые — в «Полярной звезде на 1824 г.». Стихотворение обращено к Н. М. Карамзину. *Отец истории* — Геродот (V в. до н. э.), первый греческий историк. *Фукидид* (V в. до н. э.) — греческий историк.

Стр. 296. [Князю П. И. Шаликову]. Впервые — в «Новостях русской литературы», 1822, кн. II. *Шаликов П. И.* (1768—1852) — поэт-сентименталист. Стихотворение написано Батюшковым перед отъездом в Италию. *Пушкина герой* — Буянов, герой шуточной поэмы В. Л. Пушкина «Опасный сосед».

Стр. 298. «Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы...» Впервые — в «Современнике», 1857, т. LXII, стр. 82. *Байя* — древнеримский город, развалины которого посетил Батюшков.

Стр. 299. «Есть наслаждение и в дикости лесов...» Впервые — в «Северных цветах на 1828 г.». Вольный перевод из «Странствований Чайльд-Гарольда» Байрона.

Стр. 300. Надпись для гробницы дочери Малышевой. Впервые — в «Сыне отечества», 1820, ч. LXIV, № 35, стр. 83. *Малышева* — неаполитанская знакомая Батюшкова.

Стр. 301. Подражания древним. Впервые — в газете «Русь», 1883, № 23 от 1 декабря. *Понт* — море. *Немезида* — богиня, олицетворявшая судьбу, справедливость и мщение (ант. миф.). *Иемен* — страна на Аравийском полуострове. *Будь в счастье — Сципион* — то есть щади побежденных, как римский полководец Сципион Африканский (235—183 до н. э.) при взятии Карфагена. *Петр* — Петр I (1672—1725).

Стр. 303. «Жуковский, время все поглотит». Впервые — в «Сборнике статей в честь Д. Ф. Кобеко», СПБ. 1913. *Плетаев* — иронически переиначенная Батюшковым фамилия поэта и критика П. А. Плетнева (1792—1862). Батюшков пришел в страшное негодование, когда Плетнев в 1821 г. напечатал в «Сыне отечества» свою элегию «Батюшков из Рима» (эта элегия была принята многими за произведение самого Батюшкова).

Стр. 304. *Изречение Мельхиседека*. Впервые — в «Библиотеке для чтения», 1834, т. II. Повидимому, последнее стихотворение Батюшкова, написанное им до психической болезни. В автографе стихотворения стоит 1821 г. Однако, согласно свидетельству Жуковского, которое до сих пор не учитывалось исследователями, стихотворение сочинено в 1824 г. (см. «Остафьевский архив», т. III, СПБ. 1899, стр. 22). Возможно, что Батюшков ошибочно поставил под стихотворением дату. Но, может быть, он действительно написал его в 1821 г. и в 1824 г. лишь повторил Жуковскому свое старое стихотворение. Поэтому датировку (1821 г.) считаем предположительной.

В записную книжку Батюшкова «Разные замечания» (см. о ней на стр. 409) входит составленный поэтом список его стихотворений под заглавием «Расписание моим сочинениям». Приводим этот список:

Иерусалима, песнь первая 1
ibid[1] — из десятой 2
Послание к Тассу 3
Мечта 4
Воспоминания 5
Видение на берегах Леты 6
Тибуллова Елегия X (из I книги) 7
ibid — III из III книги 8
Послание к Гнедичу 9
К Петину 10

Анакреон[2]:

Веселый час 11
Ложный страх 12
Привидение 13
Источник 14
Челнок[3] 15
Счастливец 16
Элизий[4] 17
Ответ Г[недичу] 18
К Хлое из деревни 19

---

[1] Там же (*лат.*).

[2] То есть анакреонтика; так в XVIII — начале XIX в. часто называли стихотворения с любовно-эпикурейской тематикой.

[3] Стихотворение «Любовь в челноке».

[4] Стихотворение, обычно печатавшееся под заглавием «Отрывок из элегии».

Этот список показывает, что до нас не дошел целый ряд стихотворных произведений Батюшкова: «К Ч—й», «Желания», «Семь грехов», «Ода Лебрюна на старость», «Блестящий червяк», «Орел и уж», «На смерть Хераскова», «Урок красавице», «Хлоин ответ», «А. П. С. Приписание», «Лиса и пчелы», «Песнь песней», «Русский витязь».

---

[1] Может быть, «Александру Петровичу Сумарокову».
[2] См. «Сон воинов».
[3] Это говорит о том, что Батюшков перевел несколько мадегасских песен Парни.

ПРОЗАИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Стр. 307. [Прогулка по Москве]. Впервые — в «Русском архиве», 1869, стр. 1191—1208. *Корнеты, чепчики, мужья и сундуки* — слегка видоизмененный стих из послания Дмитриева к А. Г. Севериной. *Модные писатели, которые проводят целые ночи на гробах.* — Прежде всего имеется в виду писатель-шишковист кн. С. А. Ширинский-Шихматов, написавший ряд произведений мистического характера. *Дурачься, смертных род! в луне рассудок твой* — стих из поэмы Ариосто «Неистовый Орланд», переведенный самим Батюшковым. *Жанлис* (1746—1830) — реакционная французская писательница, нападавшая на философов-просветителей и выслуживавшаяся перед Наполеоном. В неопубликованной части записной книжки «Разные замечания» Батюшков писал: «Мадам Жанлис мерзавка, такая подлая, что я ее ненавижу... Можно ли этой бабе поносить Вольтера и критиковать его как мальчишку?» *Севинье* (1626—1696) — французская писательница. *Книги, писанные расстригами-попами на чердаках парижских* — книги, при помощи которых французские иезуиты и эмигранты вели католическую пропаганду в России. *Фенелон* (1651—1715) — французский писатель. *Гион* — Гюйон (1648—1717) — французская католическая писательница и проповедница, защищавшая квиетизм — пассивное отношение к жизни и подчинение человека «божественной воле». *Кратес* (IV—III вв. до н. э.) — греческий философ. *Амфитрион* — любезный хозяин. *Сен-Симон*, герцог (1675—1755) — французский писатель и государственный деятель, оставивший превосходно написанные мемуары. *Жорж* (1786—1867) — знаменитая французская актриса, гастролировавшая в Москве в 1809—1811 гг. *Издатель «Русского вестника»* — С. Н. Глинка (см. прим. к «Видению на берегах Леты», стр. 416). *Юдифь и Олоферн.* — В библейской легенде рассказывается о том, как Юдифь отрубила голову спящему ассирийскому военачальнику Олоферну. *Клеопатра* (69—30 до н. э.) — египетская царица, покончившая жизнь самоубийством. По преданию, она приложила к груди ядовитую змею. Здесь говорится об избитых сюжетах, часто использовавшихся в картинах плохих живописцев. *Тезей* и *Ипполит* — герои трагедии «Федра» — одного из лучших произведений Расина. *Скифы* — народы, населявшие территорию Южной России в I веке до н. э. *Ипполит Эврипидов* — герой трагедии Эврипида «Ипполит», где также разработан сюжет о Федре. *Покойный капитан Хин-Хилла* — герой романа французского писателя Лесажа (1668—1747) «История Жиль Блаза де Сантильяна», отставной воин.

Стр. 318. Путешествие в замок Сирей. Впервые — в «Вестнике Европы», 1816, ч. LXXXVI, № 6, стр. 136—149 (о Дашкове см. прим. к стихотворению «К Дашкову», стр. 421).

Дамас — барон, французский эмигрант, поступивший в качестве офицера на русскую службу и участвовавший в заграничном походе 1813—1814 гг. *Писарев А. А.* (1780—1848) — офицер, впоследствии генерал, писатель. *Сирей* (Сирэ) — замок в Лотарингии, принадлежавший маркизе дю Шатле (1706—1749), подруге Вольтера, одной из самых образованных женщин своего времени; в этом замке Вольтер поселился с 1734 г., спасаясь от преследований правительства, и прожил в нем до смерти маркизы дю Шатле. *Шампанские графы* — феодальные владельцы Шампани. *Французы и теперь мало заботятся о древних памятниках...* — Это примечание, как и последующий разговор автора с крестьянином, свидетельствует о том, что в 1814—1815 гг. Батюшков подвергся влиянию реакционно-монархической публицистики, осуждавшей идеи французской революции и видевшей в деятельности Наполеона их развитие. *Славная нимфа Сирейская* — маркиза дю Шатле. *Ленотр* (Le Nôtre, 1613—1700) — садовый декоратор, устроитель Версальских парков французских королей. *Король Прусский* — Фридрих II (1712—1786). *Семиан* — племянница маркизы дю Шатле. *Лебрюн* — Лёбрен (1729—1807) — французский поэт-одописец. *Попе* — Поп (1688—1744) — английский поэт. *«Заира»* — трагедия Вольтера. *Фернейский мудрец* — Вольтер; последние годы жизни он провел в имении Ферне возле французской границы. В дальнейшем Вольтер, обладавший большой творческой разносторонностью, сравнивается с Протеем, мудрым морским старцем, постоянно менявшим свой облик. *Коронованная сирена* — так называл Вольтер маркизу Помпадур (1724—1764), фаворитку короля Людовика XV. *Палиссо* (1730—1814) — французский писатель. *Шатобриан* (1768—1848) — французский писатель. *Урания* — Афродита-Урания, богиня идеальной любви (ант. миф.). Здесь Уранией названа та же маркиза дю Шатле. *Сен-Ламбер* (1716—1803) — французский поэт, друг Вольтера (о г-же Жанлис см. примечание, стр. 432). *Жоффруа* (1743—1814) — французский реакционный театральный критик, враг просветительной философии, нападавший на Вольтера. *Кейзерлинг* (1695(6) —1764) — русский государственный деятель, хорошо знавший Вольтера; в 1738 г. Вольтер написал к Кейзерлингу письмо в стихах, там и находится приведенный в очерке отзыв о маркизе дю Шатле. *«Альзира»* — трагедия Вольтера. *Певец Фелицы* — Державин, автор знаменитой оды «Фелица». *Вот и месяц величавый встал над тихою дубравой* — стихи из баллады Жуковского «Людмила». *Орловский А. О.* (1777—1832) — русский художник-баталист; в 1809 г. был удостоен звания академика за картину «Бивуак казаков». *Валленштейн* (1583—1634) — германский имперский полководец периода Тридцатилетней войны, чех по происхождению. Батюшков имеет в виду первую часть трилогии Шиллера, посвящен-

ную судьбе Валленштейна,— «Лагерь Валленштейна». *Сбиры* — так назывались в Папской области в Италии вооруженные полицейские и судебные агенты. *Сальватор Роза* (1615—1673) — итальянский художник.

Стр. 327. Прогулка в Академию художеств. Впервые — в «Сыне отечества», 1814, ч. 18, № XLIX, декабря 3, стр. 121—132, № L, декабря 10, стр. 161—176 и № LI, декабря 17, стр. 201—215. *Канова* (1757—1822) — итальянский скульптор. *Рафаэль* (1483—1520) — великий итальянский художник. *Мурильо* (1617—1682) — испанский художник. *Койпель* — Куапель А. (1661—1722) — французский художник. *Лосенков* — Лосенко А. П. (1737—1773) — русский художник, представитель классицизма. *Винкельман* (1717—1768) — немецкий археолог и историк античного искусства; его главный труд — «История искусства древности». *За ланью быстрой и рогатой*... и т. д.— стихи из поэмы Дмитриева «Ермак». *Делиль* (1738—1813) — французский поэт. *Меншиков А. Д.* (1673—1729), *Долгорукий Я. Ф.* (1639—1720), *Шереметев Б. П.* (1652—1719) — деятели петровского времени. *Обтекай спокойно, плавно*... и т. д.— первая строфа стихотворения М. Н. Муравьева «Богине Невы». *Тюльерийский замок* — дворец королей в Париже. *Томон* (1759—1813) — французский архитектор; с 1799 г. работал в России и построил в Петербурге ряд зданий, в частности биржу. *Захаров А. Д.* (1761—1811) — архитектор. *Партенон* — Парфенон, древнегреческий храм, воздвигнутый в Афинах в V в. до н. э. *Гваренги* — Кваренги (1744—1817) — архитектор, уроженец Италии, по-настоящему развернувший свои творческие силы только в России, куда он приехал в 1779 г. Построил в Петербурге и его окрестностях ряд зданий, в частности конногвардейский манеж. *Прийдут, прийдут часы те скучны* и т. д. — стихи из послания Державина «К первому соседу». *Сахарова М. С.* (1762—1828) — русская актриса. *Семенова Е. С.* (1786—1849) — русская актриса. После появления на сцене этой замечательной актрисы Сахарова была вынуждена перейти на вторые роли. *Теламоны, атланты, кариатиды* — мужские и женские статуи, поддерживающие части здания в качестве колонн. *Бальбус* (III в. до н. э.) — римский консул Гай Аттилий Бальбус. *Геркуланум* — древний город в Италии, разрушенный и засыпанный пеплом во время извержения Везувия в 79 г. н. э. При раскопках в Геркулануме были найдены выдающиеся памятники скульптуры. *Марк Аврелий* (121—180 н. э.) — римский император, философ-стоик. *Фальконетово произведение* — «Медный всадник», знаменитая конная статуя Петра I, изваянная скульптором Фальконетом (1716—1792). Памятник, законченный в 1775 г., был открыт в 1782 г. на Сенатской площади в Петербурге. *Геркулес Фарнезский* — статуя Герку-

леса, находившаяся во дворце Фарнезе в Риме. *Фавн* — бог лесов и полей, покровитель стад (ант. миф.). *Лаокоон* — античная мраморная группа (I в. до н. э.), изображающая гибель жреца Лаокоона и его сыновей, задушенных огромными змеями. *Арийя и Петус* (умерли в 42 г. н э.) — жена и муж, покончившие самоубийством в царствование римского императора Клавдия. *Ниоба* — Ниобея — жена фиванского царя, окаменевшая при виде гибели всех своих детей (ант. миф.). Батюшков имеет в виду античную группу Ниобы с детьми, найденную в XVI в. и находящуюся в музее во Флоренции. *Венера Медицис* — древнеримская статуя богини любви и красоты (I в. до н. э.). *Юпитер Олимпийский* — статуя царя богов Зевса, изваянная знаменитым греческим скульптором Фидием (V в. до н. э.). *Кто манием бровей колеблет неба свод* — стих из произведения Дмитриева «Подражание Горацию, ода 1-я книги III-ей». *Юнона* — жена Юпитера, богиня, покровительница женщин (ант. миф.). *Менелай* — спартанский царь, один из героев Троянской войны (ант. миф.). *Аякс* — имя двух участников Троянской войны (ант. миф.). *Кесарь* — Юлий Цезарь. *Наполнил грудь восторг священный...* и т. д. — стихи из послания Державина «Любителю художеств». *Пифон* — убитый Аполлоном дракон (ант. миф.). *Я с возвышенною везде хожу главой!* — стих из послания В. Л. Пушкина к Д. В. Дашкову. *Егоров А. Е.* (1776—1851) — русский художник. Его картина «Истязание спасителя», которая подробно разобрана в очерке, была выдержана в духе академического классицизма и потому не могла удовлетворить Батюшкова. В своих письмах он резко порицает эту картину. *Рубенс* (1577—1640) — фламандский художник. *Пуссень* — Пуссен (1593—1665), французский художник. *«Ифигения в Авлиде»* — трагедия Расина. *Шафгаузен* — кантон в Швейцарии. *Император* — Александр I. *Екатерина Павловна* (1788—1819) — его сестра, великая княгиня. *Филемон и Бавкида* — супружеская пара, идеальный образец счастливого брака (ант. миф.). *Тициан* — Тициано Вечеллио (1477—1576) — итальянский художник. *Лукреций* (ок. 99—55 до н. э.) — римский поэт и философ-материалист, автор поэмы «О природе вещей». *Майков В. И.* (1728—1778) — автор шуточной поэмы «Елисей, или Раздраженный Вакх». *«Энеида, вывороченная наизнанку»* — шуточная поэма Н. П. Осипова (1751—1799). *Жирар делла Нотте* (1590—1656) — голландский живописец. *Корреджио* (1494—1534) — итальянский художник. *Альбан* — Франческо Альбани (1578—1660) — итальянский художник. *Ньютон* (1643—1727) — английский математик и физик. *Есаков Е. А.* (80-е гг. XVIII в.— 1815) — скульптор и медальер. *Уткин Н. И.* (1780—1863) — выдающийся русский гравер. *Гвидо Рени* (1575—1642) — итальянский художник. *Святая фамилия* — его картина «Отдых на пути в Египет». *Куракин А. Б.*, князь

(1752—1818) — государственный деятель, писатель и любитель книг. *Кипренский О. А.* (1782—1836) — замечательный русский художник. Отказавшись от академического классицизма, он воплотил в своих произведениях романтические мотивы и вместе с тем создал портреты реалистического характера. Кипренский хорошо знал Батюшкова и написал ряд его портретов. *Николай Павлович* — великий князь, будущий царь Николай I (1796—1855). *Михаил Павлович* — великий князь, брат Николая I (1798—1828). *Дмитревский И. А.* (1734—1821) — русский актер и выдающийся театральный деятель. *Фигнер А. С.* (1787—1813) — русский партизан 1812 г. *Вафрин* — герой поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим». *Наш Фигнер старцем в стан врагов...* и т. д. — стихи Жуковского из «Певца во стане русских воинов». *Гелен* — царь Эпира (область Греции), построивший там подобие Трои (ант. миф.). *Хаония* — местность в Эпире. *Что матушки Москвы и краше и милее?* — стих из сказки Дмитриева «Причудница». *Строганов А. С.*, граф (1733—1811) — президент Академии художеств, поддерживавший ряд живописцев и писателей. *Варник* — Варнек А. Г. (1782—1843) — художник-портретист. *Нестор* — мудрый и справедливый царь, старейший из участников Троянской войны (ант. миф.). *Актеон* — охотник, превращенный в оленя и растерзанный своими собаками (ант. миф.). *Мартос И. П.* (1752—1835) — русский скульптор. *Румянцев Н. П.*, граф (1754—1826) — основатель Румянцевского музея (теперь Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина), оказывавший поддержку писателям и художникам. *Екимов В. П.* (1758—1837) — литейный мастер. *Куртель* — французский художник, живший в России (академик с 1813 г.). *Фермопилы* — горный проход в Греции. В V в. до н. э. здесь произошла знаменитая битва персидского войска с маленьким отрядом спартанцев, который героически защищался и был полностью уничтожен. *Боргезский борец* — античная статуя скульптора Агасиаса Эфесского, изображающая обнаженного воина; находилась на вилле Боргезе в Риме. *Давид* (1748—1825) — французский художник, основатель буржуазного революционного классицизма. *Менгс* (1728—1779) — немецкий художник и теоретик искусства.

Стр. 345. В о с п о м и н а н и е о П е т и н е. Впервые — в «Москвитянине», 1851, ч. II, стр. 11—20 (о Петине см. прим. к стихотворению «К Петину» (стр. 417); об Уварове см. прим. к стихотворению «К С. С. Уварову» (стр. 427); его послание, о котором говорится в начале очерка Батюшкова, было написано на французском языке). *«Военный журнал»*, издававшийся Рахмановым, выходил в 1810—1811 гг. *Наши спартанцы* — русские войска, одержавшие победу над армиями Наполеона. В конце очерка Батюшков цитирует стихи из произведения Жуковского «Певец во стане русских воинов».

Стр. 354. О характере Ломоносова. Впервые — в «Вестнике Европы», 1816, ч. LXXXIX, № 17 и 18, сентябрь, стр. 57—63. *Бюффон* (1707—1788) — французский ученый-естествоиспытатель. *Писатель, которого имя равно любезно музам и добродетели* — двоюродный дядя и воспитатель Батюшкова, писатель и государственный деятель М. Н. Муравьев (1757—1807), отец известного декабриста Никиты Муравьева. *Бестужев* — Бестужев-Рюмин А. П. (1693—1766) — государственный деятель и дипломат. *Шувалов А. П.*, граф (1744—1789) — писатель, совершивший ряд заграничных поездок. *Шувалов И. И.* (1727—1797) — государственный деятель, покровитель Ломоносова; в 1755 г. основал по плану Ломоносова Московский университет. *Лагарп* (1739—1803) — французский драматург, поэт и теоретик литературы. *Мармонтель* (1723—1799) — французский писатель. *Рихман Г.* (1711—1753) — русский физик, был убит молнией во время опытов над атмосферным электричеством, проводимых вместе с Ломоносовым. *Штелин Я.* (1709—1785) — профессор и секретарь русской Академии наук. Легендарный рассказ о «пророческом» сне Ломоносова был взят Батюшковым из биографии, приложенной к Собранию сочинений Ломоносова (ч. I, 1784 г.).

Стр. 358. Вечер у Кантемира. Впервые — в «Опытах», ч. I, стр. 50—80. *Кантемир А. Д.* (1708—1744) — первый русский сатирик, являвшийся не только замечательным писателем, но и выдающимся дипломатом, с 1737 г. был русским послом в Париже. *Монтескье* (1689—1755) — французский писатель-просветитель, мыслитель, историк и социолог; он встречался с Кантемиром в Париже и дал ему высокую оценку. *Аббат В.* — аббат Вуазенон (1708—1775) — французский писатель, близкий друг Монтескье. *Аббат Гуаско* — автор перевода сатир Кантемира на французский язык; он хорошо знал Кантемира и написал его биографию. *С вами греки и латины...* и т. д. — стихи из VI сатиры Кантемира «О истинном блаженстве». *Мудрец Сиракуз* — Архимед (ок. 287—212 до н. э.), греческий математик. Во время взятия Сиракуз римскими войсками чертил на песке геометрические фигуры и был убит на месте солдатом. *Д'Аламбер* (1717—1783) — французский математик и философ. *То, что было сказано нашим Катуллом о нашем Бавии* — стихи из послания П. А. Вяземского «К перу моему», направленного против плохих поэтов. *Трубецкой Н. Р.* (1699—1767) — государственный и военный деятель, друг Кантемира. *Персий* (I в. н. э.) и *Ювенал* (I—II вв. н. э.) — римские сатирики. *Брут* (I в. до н. э.) — римский республиканец, один из участников убийства Юлия Цезаря. *Кориолан* — полководец, фигурирующий в древней римской легенде. *Сципионы* (III—II вв. до н. э.) — два римских полководца, победоносно закончившие борьбу с Карфагеном. *Тацит* (I—II вв. н. э.) —

римский историк. *Фонтенель* (1657—1757) — французский философ-просветитель. Кантемир перевел на русский язык книгу Фонтенеля «Разговоры о множестве миров», в которой популяризовались сведения по астрономии; этот перевод был уничтожен русским синодом как «богопротивное» произведение. *Пракситель* (IV в. до н. э.) — древнегреческий скульптор. *Я принялся за Персидские письма.*— Кантемир перевел эту сатиру Монтескье, направленную против деспотизма и феодального порядка. Перевод до нас не дошел. *Гиперборейцы* — в данном случае русские. *Г-жа Жофрень* (1699—1777) — хозяйка парижского литературного салона. *Творец книги О существе законов* — Монтескье, автор философско-исторического трактата «Дух законов». *Эпименид* — жрец, заснувший в очарованной пещере и проснувшийся через много лет (ант. миф.). *Версаль* — город под Парижем, был местопребыванием французских королей. *Панония и Норик* — завоеванные римлянами области. *Пифия* — прорицательница в храме Аполлона, находившемся в древнегреческом городе Дельфы. *При льдах Северного моря... родился великий гений.*— Здесь Батюшков заставляет Кантемира «предсказать» будущую славу М. В. Ломоносова. *Русские взяли приступом Париж.*— Здесь опять-таки в сущности идет речь о более позднем времени — о занятии Парижа русскими войсками в 1814 г. *Вобан* (1633—1707) — французский полководец, инженер и писатель. *Царство Луны с утраченными надеждами Астольфа* — один из эпизодов поэмы Ариосто «Неистовый Орланд» (см. примечание к «Отрывку из XXXIV песни «Неистового Орланда»). *Корнель* (1606 — 1684) — французский драматург. *Как можно быть Персиянином* — намек на один из эпизодов «Персидских писем» Монтескье. *Ученый Феофан* — Феофан Прокопович (1681—1736) — писатель, проповедник и государственный деятель; настойчиво защищал петровские реформы. *Архимандрит Кролик* — один из приверженцев Феофана Прокоповича, вместе с последним горячо одобривший первую сатиру Кантемира.

КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

Стр. 373. Нечто о поэте и поэзии. Впервые — в «Вестнике Европы», 1816, ч. LXXXVII, № 10, май, стр. 93—104. *Монтань* — Монтень (1533—1592)—французский мыслитель и писатель, выступавший против суеверий и средневекового догматического мышления, автор «Опытов». *Аристотелевы правила* — правила, изложенные в «Поэтике» древнегреческого философа Аристотеля (384—322 до н. э.). *Камоэнс* (1524—1580) — португальский поэт, автор эпической поэмы «Лузиады».

Красноречивая женщина нашего времени — французская писательница Сталь (1766—1817), афоризм которой приводит Батюшков. *Шолье* — Шолио (1639—1720) — французский поэт. *Фонтенэйское убежище* — Шолио родился в Фонтенэ, в Нормандии, и говорил о родных местах в ряде стихотворений. *Державин воспевал водопад и бога* — имеются в виду оды Державина «Водопад» и «Бог». *Утешно вспоминать под старость детски леты...* и т. д.— стихи из басни Дмитриева «Воздушные замки». *Мандрикар и Сербин* — герои поэмы Ариосто «Неистовый Орланд». *Бард Морвена* — Оссиан (Морвен — в поэмах Оссиана — королевство Фингала). *Женгене* (1748—1816) — французский поэт и критик, автор «Истории итальянской литературы», книги, которую внимательно изучал Батюшков.

Стр. 380. Речь о влиянии легкой поэзии на язык. Впервые — в «Трудах Общества любителей российской словесности при Московском университете», ч. VI, 1816, стр. 35—62. *Демосфен* (IV в. до н. э.) — греческий оратор и политический деятель. *Вийон* — Бион (III в. до н. э.), *Мосх* (II в. до н. э.), *Симонид* Кеосский, или Младший (VI—V вв. до н. э.), *Феокрит* (III в. до н. э.) — греческие поэты. *Мудрец Феосский* и *старец Феосский* — Анакреон, родившийся в малоазийском городе Теосе. *Цицерон* (106—43 до н. э.) — римский оратор, писатель, философ и политический деятель. *Тит Ливий* (59 до н. э.— 17 н. э.).— римский историк. *Данте* — Данте Алигьери (1265—1321) — итальянский поэт. *Маро* (1495—1544) — французский поэт. *Франциск I* (1494—1547) — французский король. *Валлер* (1605—1687) — английский поэт, воспел свою возлюбленную под именем Захариссы. *Гагедорн* (1708—1754) — немецкий поэт. *Творец Мессиады* — Клопшток (1724—1803) — автор эпической поэмы «Мессиада». *Полиник... бросается к стопам разгневанного Эдипа* — имеется в виду трагедия Озерова «Эдип в Афинах» (4-е явл. IV д.). *Капнист В. В.* (1757—1823) — поэт и драматург. *Востоков А. Х.* (1781—1864) — филолог, поэт и переводчик. *Долгорукий И. М.*, князь (1764—1823) — поэт, автор сборника «Бытие моего сердца». *Воейков А. Ф.* (1777—1839) — поэт, переводчик, критик и журналист. *Пушкин* — дядя А. С. Пушкина, поэт В. Л. Пушкин. *В отважном мальчике грядущего поэта!* — стих Дмитриева из «Послания от английского стихотворца Попа к доктору Арбутноту». *«Россиада»* — эпическая поэма Хераскова. *Муравьев* — см. примечания к статье «О характере Ломоносова». *Янус* — бог входов и выходов (ант. миф.). Храм Януса в Риме был открыт, когда государство находилось в состоянии войны. *Строганов А. С.* и *Румянцев Н. П.* — см. примечания к «Прогулке в Академию художеств». *Рихтер В. М.* (1767—1822) — врач, профессор Московского университета, домашний врач друга Батюшкова П. А. Вяземского. *Буринский З. А.* (1780—1808) — поэт. *Глебов* — Глебов-Стреш-

нев (ум. 1817 г.) — генерал, известный своей храбростью; участвовал в сражении русской армии с войсками Наполеона под Прейсиш-Эйлау (город в Восточной Пруссии).

ОТРЫВКИ ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

Стр. 391. Разные замечания. Автограф — в архиве ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. I. Сообщение о книжке и цитаты из нее опубликованы нами в указанном на стр. 409 выпуске «Известий АН СССР». Некоторые отрывки печатаются впервые. *Академия* — Российская академия, основанная в 1783 г. для очищения и обогащения русского языка, составления грамматики, словаря и правил стихотворства. Во времена Батюшкова в ней группировались реакционные писатели-шишковисты. *Аретин* — Аретино (1492—1556) — итальянский писатель, драматург и публицист. Его остроумные комедии иногда непристойны. *Гольбак* — Гольбах (1723—1789) — французский философ-материалист и атеист. *Орлеанская Девка* — направленная против религии поэма Вольтера «Орлеанская девственница». *Метафизика д'Аламберта* — имеются в виду основные философские труды Д'Аламбера: «Элементы философии», предисловие к «Энциклопедии» и др.

Стр. 393. Чужое — мое сокровище. Впервые — в майковском издании сочинений Батюшкова, т. II, СПБ. 1885, стр. 288—367. *Раевский Н. Н.* (1771—1829) — генерал, герой Отечественной войны. Батюшков был адъютантом Н. Н. Раевского во время заграничного похода русской армии 1813—1814 гг. и передавал его распоряжения в ходе знаменитой «битвы народов» под Лейпцигом, где были разбиты армии Наполеона. *Писарев А. А.* — см. примечания к «Путешествию в замок Сирей». *Давыдов Л. В.* — адъютант Н. Н. Раевского, брат поэта-партизана Дениса Давыдова. *Медем*, барон — русский офицер. *Алфьери* — Альфиери, граф (1749—1803) — итальянский драматург. *Леда* — красавица, возлюбленная Зевса. По преданию, дочь Леды Елена произошла из яйца, оплодотворенного Зевсом, который принял вид лебедя (ант. миф.). *Сим, Хам и Иафет* — сыновья Ноя — герои библейской легенды, в данном случае — символ глубокой древности. *Болтин И. Н.* (1735—1792), *Елагин И. П.* (1725—1794) — русские историки. *Собеседник* — «Собеседник любителей русского слова», журнал, выходивший в Петербурге в 1783—1784 гг. при участии Екатерины II. *Петров В. П.* (1736—1799) — поэт-одописец. *Он памятник себе воздвиг чудесный, вечный* — несколько видоизмененный начальный стих «Памятника» Державина. *Переводы Кострова и Гнедича* — переводы «Илиады» Гомера, сделанные поэтами Н. И. Гнедичем и

Е. И. Костровым (ок. 1750—1796). *Пушкин* — В. Л. Пушкин. *Сумароков Панкратий* — Сумароков П. П. (1765—1814), поэт, журналист и издатель. *Издания Жуковского и потом Кавелина* — «Собрание русских стихотворений». Пять частей этого издания выпустил в 1810—1811 гг. Жуковский, шестую — в 1815 г. приятель Жуковского Д. А. Кавелин (1778—1851). *Письма И. М. из Нижнего* — «Письма из Москвы в Нижний-Новгород» И. М. Муравьева-Апостола (см. о нем в прим. к «Посланию И. М. Муравьеву-Апостолу», стр. 424), напечатанные в 1813 г. в журнале «Сын отечества». *Макаров М. Н.* (1789—1847) — писатель и журналист. *Никольский П. А.* (1791—1816) — журналист и переводчик. *«Вестник»* — журнал «Вестник Европы». Карамзин редактировал его до 1804 г. *Каченовский М. Т.* (1775—1842) — русский историк и критик, с 1805 г. редактировал журнал «Вестник Европы». *Радищев А. Н.* (1749—1802) — великий русский революционер, автор «Путешествия из Петербурга в Москву». Батюшков собирался написать специальную статью «О сочинении Радищева». Далее Батюшков упоминает поэтов, продолживших традицию Радищева, И. П. Пнина (см. о нем в прим. к стихотворению «На смерть И. П. Пнина», стр. 412), А. П. Бенитцкого (см. о нем в прим. к стихотворению «О Бенитцком», стр. 415) и Колычева Е., печатавшего свои стихи в «С.-Петербургском журнале», который в 1798 г. издавал Пнин. *Новиков Н. И.* (1744—1818) — общественный деятель, писатель и журналист. *Батте* (1713—1780) — французский теоретик искусства. *Бутервек* (1766—1828) — немецкий философ и историк литературы. *Виланд* (1733—1813) — немецкий писатель. *Кант* (1724—1804) — немецкий философ-идеалист. *На светлоголубом эфире...* и т. д. — слегка видоизмененные первые строки стихотворения Державина «Видение мурзы» (у Державина: «На темноголубом эфире»). *Глагол времен, металла звон!* — первая строка оды Державина «На смерть князя Мещерского». *Кроссар*, барон — французский эмигрант, в 1812—1814 гг. находился на русской службе и получил чин генерал-майора. В 1829 г. издал «Военные и исторические записки», где называл Н. Н. Раевского «храбрым и искусным» генералом. *В петлице Мария Терезия* — австрийский орден. Мария Терезия (1717—1780) — эрцгерцогиня австрийская, императрица так наз. Священной Римской империи. *Анахарсис Бартелеми* — роман французского писателя аббата Бартелеми (1716—1795) «Путешествие младшего Анахарсиса по Греции»; в романе нарисован быт и политический строй древней Греции. *Петров А. А.* (начало 60-х гг.— 1793) — друг Карамзина, посвятившего его памяти статью «Цветок на гроб моего Агатона». *Г. Р.* — Гавриил Романович Державин. *Платон* (Левшин) (1737—1812) — митрополит московский. *Неплюев С. А.* — сенатор, сослуживец Державина по межевому департаменту. *Карл V* (1500—1558) — император так наз. Священной Римской империи.

Филиппы — город в Македонии; около него в 42 г. до н. э. произошла знаменитая битва, в которой потерпели поражение Брут и его сторонники. *Сервантес* (1547—1616) — испанский писатель-классик, автор «Дон Кихота». *Лепант* — Лепанто, город в Греции; в 1571 г. испанско-итальянский флот в морской битве разбил турецкий флот, стоявший в Лепанто.

В записной книжке Батюшкова «Разные замечания» есть составленный им список «Сочинения в прозе», имеющий большое значение для осмысления творчества писателя. Приводим этот список:

Содержание этого списка говорит о том, что ряд прозаических произведений Батюшкова потерян. К их числу относятся повесть «Корчма в Молдавии» (как свидетельствуют письма Батюшкова, он собирал материал о быте Молдавии), «Венера» и «Стихотворец судья». В архиве ИРЛИ находится также автограф начала неизвестной исторической повести Батюшкова «Лавинии» (ф. 19, ед. хр. 2).

Н. ФРИДМАН

---

[1] «Отрывок из писем русского офицера о Финляндии».

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

К. Н. Батюшков. Сочинения

Редактор *А. Вакслова*. Художник *В. Телепнев*
Худож. редактор *К. Буров*. Технич. редактор *Д. Ермоленко*
Корректор *Р. Гольденберг*

Сдано в набор 1/VII-55 г. Подписано к печати 22/IX-55 г. А05156. Бумага
84 × 108 1/32 — 28 1/4 печ. л. = 23,16 усл.-печ. л., 19,61 уч.-изд. л. + 1 вкл. = 19,66 л.
Тираж 75 000. Заказ № 641. Цена 7 р.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности.
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова. Москва, Ж-54, Валовая, 28.